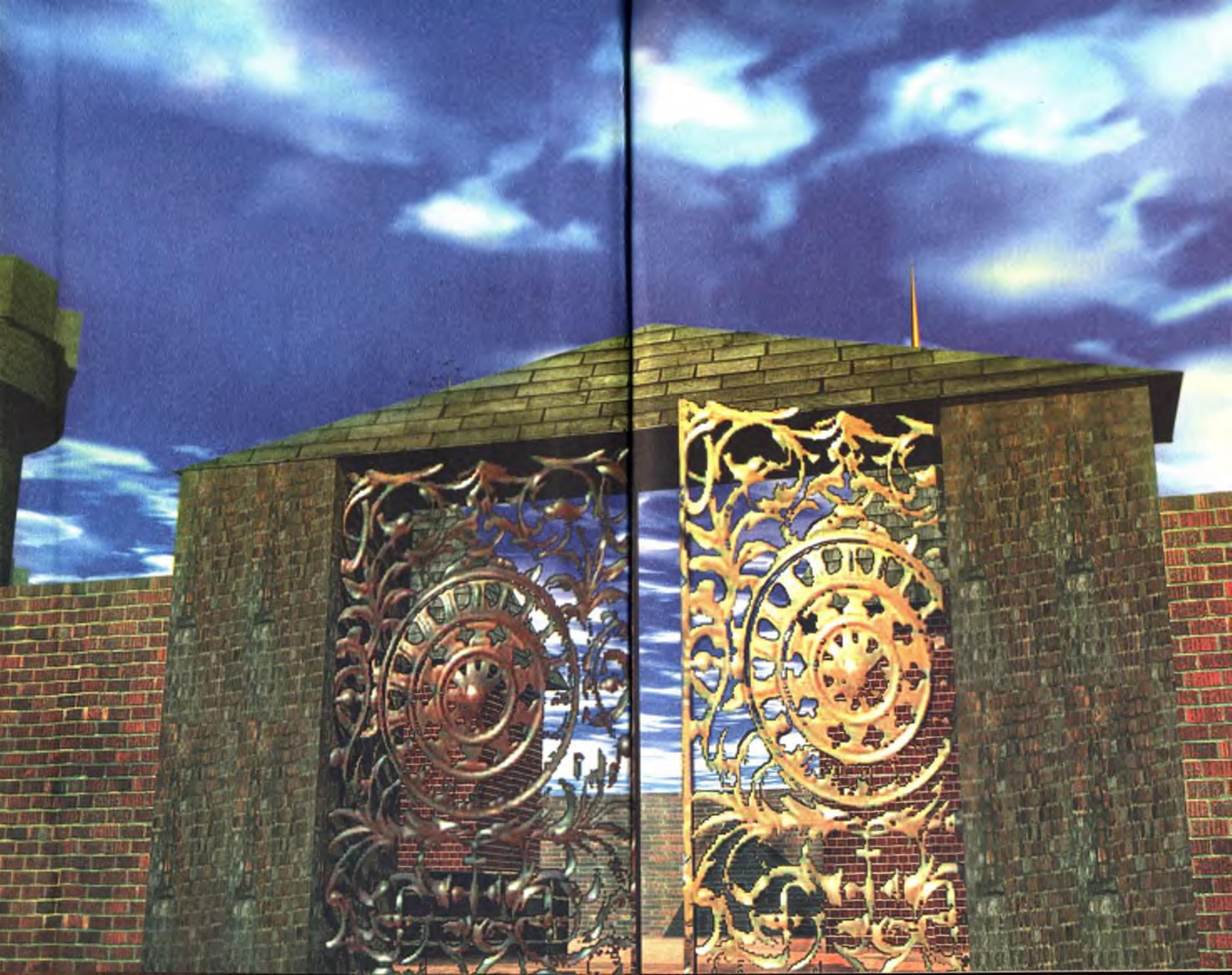




ЛУИ ДЕ ВОЛ

АТТИЛА











Луи де Вол

АТТИЛА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЗКМО
1986
МОСКВА

ББК 84.7 США
В 67

Разработка серийного оформления
художников *Е. В. Кипяткова,*
А. Г. Саукова, А. А. Хромова

Художник *Luis Royo*
Слайд используется с согласия художника
и его агента *Александра Корженевского*

Серия основана в 1995 году

Louis de Wohl
Attila the Hun

Вол, Л.
В 67 **Аттила: Роман/Пер. с англ. И. Н. Гиляровой. — М.: ЭКСМО, 1996. — 400 с. (Серия «Олимп»).**

ISBN 5-85585-508-2

Немного было в истории личностей такого масштаба, столь могущественных и устрашающих, столь ненавидимых и в то же время... обожаемых! Таков был Аттила, предводитель гуннов. Пол-Европы было завоевано его неистовыми воинами, ему покорялись города и страны, ему принадлежали все женщины — ни одна не осмелилась противостоять его необузданной страсти.

В 4703040100—094
ЛР 061309—96

ББК 84.7 США

ISBN 5-85585-508-2

© Издание на русском языке, оформление.
АОЗТ издательство «ЭКСМО», 1996 г.

Книга первая

1

— Выкурить его дымом! — приказал князь Этцель.

Загонщики с охапками валежника побежали к пещере, в которой засел медведь. Вот они сложили сучья по обе стороны от входа, и вот уже факельщик поднес к ним пламя. Однако поджечь их оказалось не так-то просто: все было сырым — лес, земля, деревья и листва. Наконец старания загонщиков увенчались успехом, и повалил густой дым. Однако ветер относил его в сторону.

— Эй, вы не медведя выкуриваете, а моих людей! — насмешливо бросил князь Бледа. Он на год и четыре месяца был старше брата и возглавлял эту охоту. Сморд от дыма смешивался с острым запахом грибов, и ноздри Бледы трепетали. Люди, стоявшие возле пещеры, надсадно кашляли. Этцель вновь не упустил случая заявить о себе и крикнул:

— Гоните дым к пещере, глупцы! Плащами гоните! — Он упивался восторгом момента, еще больше его радовало недовольство брата, однако самым приятным было то, как покорно выполнялись его приказы.

«У простого человека две руки, — говорил когда-то отец, — у великого человека десять тысяч рук». Но отец уже умер...

Медведь выскочил из темной дыры так стремительно, что не все охотники успели отскочить в сторону. Полуголый загонщик, все еще сжимавший плащ, рухнул под тяжестью зверя.

Вид скопища людей ошеломил лесного великана; встав передними лапами на грудь жертвы, он огляделся, как бы оценивая свое положение. Раздался долгий хриплый крик несчастного охотника.

Князь Бледа натянул тетиву рогового лука, коснувшись ею подбородка, и послал стрелу, быструю как молния. Выстрел делался наверняка, потому что медведь все еще стоял неподвижно; стрела сына великого хана, как ей и подобало, полетела точно в цель.

Зверь оскалил клыки, дрожь пробежала по его неуклюжему туловищу. С шумом он грохнулся оземь, придавив лежавшего под ним беднягу.

Для десятка низкорослых коренастых мужчин, очень похожих друг на друга, с желтоватобурой кожей, морщинистой, как старый колчан, в остроконечных войлочных шапках, грязных, вытертых одеждах из звериных шкур и в постолах с загнутыми носами и на тонкой подошве,

наступил миг восторга, дикого триумфа: В такие моменты гунны криками возглашают свою победу.

Но сейчас не раздалось ни звука. Все пораженно молчали, затаив дыхание. Потом начали подходить, осторожно, крадучись, словно стая некрупных зверьков, к поверженному лесному владыке.

Не то чтобы они боялись, ведь сомнений в том, что опасный хищник уже мертв, не возникало. Они знали, что он уже не поднимется. Не волновал их и пострадавший сородич, чьи ноги прекратили свой предсмертный танец. Всегда кто-нибудь погибал при медвежьей охоте. Что ж, на этот раз не повезло Суглу.

И все-таки в глазах всех охотников читалось крайнее потрясение, почти ужас. Каждый из гуннов обладал острым зрением, не хуже, чем у рыси. И все видели, что случилось нечто невероятное, почти невысказанное. В воздух были выпущены две стрелы. Две.

Первая глубоко застряла в горле у медведя, принеся ему мгновенную смерть. Вторая — охотники изумленно открыли рты — была нацелена точно так же; она попала в первую, расщепила ее и лишь после этого, уже потерявшая силу, вонзилась в добычу. По черному оперению стрелы — цвету князя-наследника — было ясно, что выпущена она из лука князя Бледы. На первой же оперение было красным, ярко выделявшимся на шкуре гиганта. Послал ее князь Этцель.

Все знали, что оба молодых князя так же ошеломленно глядят на стрелы, как и их сопле-

менники. Нарушено священное право первородства. В воздухе запахло смертью.

Князь Бледа бросил суровый взгляд на брата, тот послал ему ответный взгляд. На их лицах не отразилось ничего. Тогда Бледа произнес тонким спокойным голосом:

— Нас рассудит хан.

Рука князя Этцеля отпустила ониксовую рукоять кинжала. Он улыбнулся.

— Приготовить к переносу медведя и Суглу, — распорядился все так же спокойно Бледа. — Килчал, коня мне! Всем следовать за мной, когда будете готовы.

Лошади были привязаны неподалеку от места охоты, низкорослые, с длинными гривами и хвостами. Челядь наследника вскочила на вороных, гнедые принадлежали людям князя Этцеля.

Бледа прыгнул на коня и поскакал прочь, не сказав больше ни слова. Через четверть часа за ним тронулся и Этцель с остальными охотниками. Медведя везли две лошади на сооруженном между ними подобии носилок; тело Суглу было привязано к третьей.

Лицо Этцеля сохраняло непроницаемое выражение; он знал, что его поступок не вызвал одобрения у сородичей. Еще знал, что Бледа направился прямо к хану. Правда, он и должен был ехать туда первым, ведь он старший. И все-таки сам Этцель был доволен. Бледа хороший стрелок, но без фантазии; всегда, если есть возможность, целится в горло, немного правее трахеи. И было забавно попасть именно в это место за миг до него. Уже и прежде Этцель

не раз гадал, сможет ли когда-нибудь сделать такое. И тут подвернулся удобный случай.

Соскочив с коня перед своим шатром, он понял, что вышедшие его встречать женщины уже знают про случившееся. Он увидел это по их лицам — Пилай, конечно же, была встревожена, а Крека светилась гордостью. После того выкидыша через год после рождения Эллака Пилай беспрерывно из-за всего тревожилась. Бестолочь. Ведь Эллак был крепышом, да к тому же и первенцем. Сын у Креки должен появиться на свет через три месяца. Мысль о том, что у нее может родиться девочка, даже не приходила князю в голову.

Он схватил кусок сырой конины с золотого подноса, который протянула ему Пилай, — мясом по обычаю приветствовали возвращение охотника, — и съел его. Четырехлетний Эллак — глазки-щелочки, носик плоский — взглянул на него и засмеялся.

Я и сам был таким в его возрасте, подумал Этцель и слегка улыбнулся в ответ. Он продолжал жевать, хотя мясо это было ритуальным и не предназначалось для еды. Но хан скоро призовет его к себе, и с едой придется повременить. Да и мясо было вкусным. Пока он ел, женщины, разумеется, хранили молчание. Но, когда доел и направился к входу в шатер, они кинулись к нему с хвалой и причитаниями. Нетерпеливым движением руки он отстранил их и вошел внутрь.

Седовласая морщинистая маленькая Будрул следила за подготовкой к трапезе. Будрул

вынянчила его после смерти матери, носила на руках, когда он был не больше белки.

— Привет тебе, о расщепитель стрел! — прокаркала старая. — Приветствую грозу медведей! — Тысяча морщин, считавшихся ее лицом, разбежалась в беззубой усмешке. — Впервые ты посягнул на право первородства своего брата. И будешь делать это и дальше, мой герой; ты будешь делать это многожды. Три раза ты отберешь у брата то, что тебе не принадлежит. — Она улыбнулась. — Мне снился такой сон прошедшей ночью.

— Дрыхнешь слишком много, — грубовато отозвался Этцель и опустил на низкую скамью, покрытую персидским ковром. Но Будрул продолжала посмеиваться.

— А я вещие сны смотрю, герой ты мой, и тебе это известно лучше, чем всем остальным.

— Слишком много дрыхнешь, — раздраженно повторил Этцель, и смех ее увял.

Он вытер измазанные в жире пальцы о постолы, используя их вместо полотенца. Так было заведено; все гунны делали это с незапамятных времен. Обувь нуждалась в хорошей смазке. Слова старухи озадачили его. Будрул была ведьмой, сомневаться в этом не приходилось, хотя пару лет назад он сам спас ее от мести сородичей. Ее обвинили в том, что она навела порчу на скотину, и он отдал пострадавшему двух коров из своего хлева, чтобы тот замолчал. Он любил свою старую няньку. И уж на *его* коров она никогда не станет наводить порчу. Старуха, несомненно, видела вещие сны. Именно она предсказала с точностью до

одного дня рождение Эллака, да и выкидыш тоже. И все-таки нельзя позволять женщине слишком много мнить о себе.

Подошла Крека с серебряным кубком, полным вина. Она бормотала хвалу величайшему из охотников, слегка покачивая бедрами, как те танцовщицы, которых он видел пару лет назад в Наиссе, когда слуги хана сожгли полгорода в отместку за неуплату денег за наемников, присланных восточному императору. Однако кожа у танцовщиц была бело-розовой, а у Креки цвета желтой глины, и к тому же она ожидала ребенка.

— Чу, надвигается! — воскликнула вдруг Будрул, и Этцель с Крекой оглянулись на нее, не понимая, что она имела в виду. Она же повернулась к ним своей иссохшей спиной и сделала вид, что занята исключительно приготовлениями к трапезе.

Издалека донеслись звуки рога.

Этцель, Крека и Будрул застыли на месте.

Раз — два — три — четыре — пять.

Ханский призыв. Хан требует явиться к себе всем отпрыскам царской крови. Поднимаясь, Этцель заметил, как улыбка тает на маленьком личике Креки. Он кивнул ей и вышел из шатра. На Пилай он не поглядел, но услышал ее сдавленный стон.

— Цигур!

Слуга подвел коня. Этцель вскочил на него и поскакал к ханскому шатру.

Там и сям стояли кучки людей. Они провожали его взглядами, и трудно было понять, что у них на уме.

Все гунны глубоко верили в божественность власти, в святость древних прав. Если бы Бледа застрелил брата своей следующей стрелой, они бы оправдали этот поступок. Если хан собирался взять его жизнь, они едва ли станут противиться. Первородство есть первородство, и надо быть ведьмой, чтобы радоваться его нарушению. Ведьмы же вне закона. Да и потом Бледу все любили. Шли к нему со своими бедами, когда хан отправлялся в поход, и молодой князь всех выслушивал. Этот Бледа был всеобщим другом.

Вот они тут и стояли, друзья Бледы, и никто не крикнул приветствие человеку, убившему медведя. А ведь медведь приносил им немало вреда, пока он его не убил.

Что же задумал хан? Он мог поступить как угодно. Ведь он был ханом. И прежде всего ханом, а уж потом его дядей, его и Бледы. Предвидеть что-то абсолютно невозможно. Да и какая разница! Главное, он сделал то, что хотел сделать. Человек может бросить в пруд камень, но он не в состоянии сделать так, чтобы от камня не расходились круги.

Перед Этцелем высился шатер, украшенный пятью черными конскими хвостами, вокруг которого раскинулись шатры челяди, они были заметно ниже ханского. Неподалеку, на расстоянии броска камня, находилось судное место.

Ханские слуги в черных остроконечных шапках разместились в стороне. Этцель увидел охотников, что принимали участие в медвежьей охоте. И медведь был тут же. И — Бледа.

Разумеется, верхом на коне, как Этцель и все остальные.

Слуги подвели к шатру вороного ханского коня, почти в тот же момент из-за полога появился хан и с легкостью юноши вскочил на него.

Хану Руа шел семьдесят второй год. Пучок седых волос выбивался из-под черной плоской шапки, другой рос на верхней губе. Как у всех гуннов, у него были острые косые скулы, узкие глаза и плоский небольшой нос; как все гунны, он ездил верхом без седла и шпор. Однако в нем ощущалось спокойствие властного человека, привыкшего видеть беспрекословное повиновение подданных. Длинный кривой кинжал торчал у него за поясом из черной кожи; рукоять была инкрустирована драгоценными камнями.

Этцель облизнул пересохшие губы. Если хан отнесется к происшествию всерьез, кинжал может оказаться для него роковым. Только царская кровь может судить царскую кровь, и только царская кровь может пролить царскую кровь. Таков закон. Тот же самый кинжал пронзил когда-то сердце двоюродного брата хана, совершившего блуд с золовкой.

— Бледа, — произнес хан хриплым голосом. — Этцель.

Оба молодых человека приблизились к нему на вороном и гнедом конях.

Маленькие глазки хана, прикрытые нависшими веками, испытующе взглянули на них.

— Я выслушал жалобу Бледы. Он утверждает

ет, что ты выстрелил в медведя, нарушив его право на первую стрелу. Верно ли это?

— Это так, хан.

— Медведь подмял охотника Суглу. Может, ты поторопился с выстрелом, чтобы спасти его жизнь, Этцель?

Молодой князь удивленно поднял почти безволосые брови.

— Я и не думал об этом, хан, — ответил он. — К тому же Суглу был уже мертв.

Хан кивнул.

— Ты ловкий лжец, Этцель, но не пытайся морочить мне голову. Почему ты так поступил?

— Мне хотелось проверить, могу ли я это сделать, хан.

Хан кивнул снова, а Бледа издал яростное шипение.

— И теперь ты убедился, что можешь это сделать, верно, Этцель?

— Да, хан.

— Ты ошибаешься. Ты не можешь делать этого. Твой выстрел не считается. Бледа застрелил медведя. И оружие, при помощи которого ты пытался отобрать его право и не сумел, оружие, из которого был убит медведь, принадлежит Бледе. Медведя убил он, потому что оружие, убившее зверя, это его оружие. И ты вернешь его брату.

Лучший роговой лук. Дороже дюжины коней.

Этцель слабо улыбнулся.

— Я повинуюсь, хан.

— И кроме того, — неумолимо продолжал хан, — ты испортил стрелу. Ты должен возместить ее золотом, равным весу стрелы.

— Да, хан.

— Я судил тебя милосердно, — хан прищелкнул языком, — ведь от маленького человека можно ожидать лишь мелких провинностей.

Тут Этцель дернулся и закусил губу. Слабая краска растеклась по его щекам.

Старик заметил это с хорошо скрытым удовлетворением.

— Ханский суд справедлив, хвала хану, — угрюмо произнес Этцель.

— Ханский суд справедлив, хвала хану, — сказал Бледа. — Медведя я отдам вдове Суглу. И золото. Себе оставлю лук.

— Делай как знаешь, — кивнул хан. — И на этом закончим дело. Между вами мир, так я велю.

— Между нами мир, — с готовностью поддержал Бледа. Этцель повторил эти слова немного медленней.

— Сейчас останетесь при мне вы оба, — распорядился хан. — Будем принимать важных гостей со всеми почестями. На пути к нам находятся послы от нового императора Запада. Высокие гости. Бутай, сигнал!

Бутай, стоявший в углу двора, протрубил в рог. Трижды. На какой-то миг все замолкли. Затем послышался топот копыт по жесткой сухой степи — поначалу как журчание ручейка, затем речки, а уж после этого обрушился лавиной. Конница хана хлынула внутрь двора и заполнила все пространство фырканием, ржанием, стуком копыт, лязгом металла, скрипом кожи. Свободной осталась только узкая дорож-

ка, что вела прямо к хану и двум юным князьям царской крови.

Через некоторое время вдалеке снова дважды прозвучал рог, и Будаи тут же отозвался один раз. И опять тишина, пока все не услышали шум приближавшегося посольства.

— Вот и ответ, — произнес Масурий, когда они слышали отзыв на свой сигнал. — Один раз. О нас возвестили, нас приветствуют. Теперь они собрались все, все их немытое, вонючее, вшивое воинство вместе с их ханом. Я-то знаю. Знаю гуннов, встречался с ними и раньше. С этим племенем я еще незнаком, но ведь один гунн в точности похож на другого.

— Да что ты говоришь! — сухо отозвался Аэций. Немытые, вонючие, вшивые — все равно они казались ему лучше, чем этот чванливый придворный. Ведь подумать только: мужчина — если его можно назвать мужчиной — обладает не только ужимками, но и багажом гадитанской блудницы: столько косметики, что хоть открывай лавку, ворох шелковых одежд и целый набор благовоний с Востока. Запах немытых гуннов казался благодатью после этих недель, что он провел в обществе приторного Масурия. Хотя, впрочем, речи лукавого сановника, попытка рассказать ему, на кого похожи гунны, явно были шуткой...

Масурий слегка приосанился в своем роскошном седле. Эскортировать важных военных персон всегда неприятно, поскольку они неизменно оказываются примитивными грубиянами с отвратительными манерами. Да к тому же

всегда знают все лучше других. Да еще большинство из них не любят проигрывать в кости. Лишь боги или, возможно, святые знают, почему легат Аэций послан сюда и чем провинился Тит Масурий, раз был наказан тем, что оказался в обществе шести футов мышц, заключенных в сыромятную кожу и металл.

— Да они все очень похожи, уверяю вас, — настаивал он. — Я видел их тысячи. И двигаются одинаково. И запах схожий. Все едят сырую конину — и вам тоже придется это делать в ближайшем будущем, Аэций, — добавил Масурий.

— Этак можно утверждать, что и римляне похожи между собой, потому что все едят хлеб. — Воин пожал плечами. — А конина не так уж и плоха. Ты когда-нибудь пробовал ее, Масурий?

— Бог миловал...

— Она намного вкуснее, чем мясо крыс или мышей, — заверил его Аэций. — Сразу видно, что тебе не доводилось сидеть в осаде, за исключением, конечно, осады, устраиваемой красотками.

Забавно было бы рассказать Масурию, что он прожил среди гуннов без малого три года как заложник и было это не столь уж и давно, но такая откровенность может задать работу хитрым мозгам. Пожалуй, он даже призадумается, почему бравый римский легат отправился на Дунай к гуннам вместо того, чтобы обучать рекрутов в Равенне. Так пусть уж лучше думает и дальше, что цель поездки — закупка лошадей... словно римский всадник в полных доспе-

хах сумеет воевать на коне, вращенном гуннами. Нет, плохими они не были, вовсе нет, но слишком легкими, даже для нумидийцев. Да и вообще отговорка достаточно хороша для этого надушенного болвана.

Гунны день и ночь следили за ними последние двое суток. Это означало, что хан Руа знал об их прибытии за много часов, а не только тогда, когда передовые отряды посольства дважды протрубили в рог. Гунн на коне движется втрое быстрее римского всадника, да к тому же их движение сильно замедлялось обозом. Ведь племена гуннов нельзя посещать без предупреждения.

И вот уже виден лагерь гуннов — ряды черных войлочных шатров; они протянулись вдоль речного берега с холма на холм с присущим гуннам легкомыслием, без всяких стратегических соображений, которые, впрочем, им и не требовались. Ни один враг не мог приблизиться к лагерю, не будучи замеченным бессменными дозорными еще за несколько дней пути, а если бы это и произошло, весь лагерь через полчаса уже был бы построен в боевую формацию.

Одиночные всадники галопом носились взад и вперед, как собаки, показывая дорогу процессии.

Затем появилась конница, словно грозовая туча, все больше и больше сгущаясь, и наконец показался ханский двор, битком набитый воинством, с проходом посередине — подобное здесь видели и раньше. А вот и сам хан Руа, по бокам сыновья, все, разумеется, на конях —

как иначе еще может хан гуннов встречать гостей?

Внушительный старикан, тонко очерченный старый лик.

Говорят, что все гунны похожи между собой. Какая чепуха! Взять лица этих двоих княжичей — можно сказать, что они примерно ровесники, но уж, конечно, не близнецы: трудно найти более разных людей. Один на гнедом — злобный дьяволенок, честолюбивый смутьян; другой на вороном — держится с достоинством, уравновешенный, почти мягкий для гунна. Но вот заговорил старый Руа...

Хан Руа приветствовал гостей на медленной, с запинками латыни, его пронизательные глаза, затененные нависшими веками, остановились на Аэции. Казалось, он слегка удивился, когда Масурий отвечал ему от имени императора Западной Римской империи, представляя «благородного легата Аэция, доблестного военачальника при великом императоре Валентиниане III».

На этот раз Аэций не устоял от искушения.

— Я приветствую великого хана, — произнес он на языке гуннов. — Я всегда был другом его народа и сейчас рад воспользоваться возможностью, чтобы возобновить дружеские связи между нашими народами.

Масурий онемел. Где только этот военный покупатель лошадей научился говорить на языке варваров, скажите на милость? Неужели он настолько недооценил Аэция? Правда, он никогда и не верил до конца его словам — зачем это понадобилось посылать за лошадьми

легата? А теперь вот он лопочет о чем-то с ханом, а Тит Масурий не понимает ни единого словечка и вынужден стоять болван болваном...

Старый хан благосклонно улыбался, и по тому, как он пригласил их спешиться и войти в его шатер — жест был ясен, — было видно, что главным в этой миссии он считал воина, а не сановника.

Внутри все было готово для торжественного пиршества: стол накрыт на сорок человек — разумеется, мужчин. Женщины получают то, что останется от пира, в своих покоях. Не такой уж и плохой обычай, если хочешь наслаждаться угощением, а не отвлекаться все время на глупые беседы, а уж дамы из римского высшего общества в отношении болтовни самые не-носные. Впрочем, им было что сказать в эти годы больше, чем когда-либо, ведь они практически правили империей. Поглядите только на Пульхерию на Востоке и особенно на Галлу Плацидию на Западе. По сути, императором являлась она. Аэций был представлен от имени Валентиниана III, однако тот еще ничего не понимал в государственных делах, поскольку был ребенком. А вот Плацидия разбиралась в них. Возможно, знала она и то, зачем явился сюда этот Аэций, даже могла и сама направить его к гуннам «покупать лошадей».

Без всяких колебаний хан посадил чиновника слева от себя, а Аэция справа; оба княжича уселись напротив них.

Угощение оказалось не таким уж и плохим, как опасался Масурий, хотя состояло преимущественно из мяса. Сами же гунны питались

одним мясом. Ему припомнилось гуннское присловье: «Трава для животных, а животные для человека». Вино — из Паннонии — показалось ему превосходным. Если бы только не дикарский обычай этих до безумия грязных варваров потчевать гостей собственноручно. Разумеется, считалось, что это большая честь, а почести не всегда бывают приятными: решительно мерзко чувствовать у себя под носом воняющую конским потом лапу гунна, которая пихает в твой беззащитный рот кусок полусырого мяса. Аэций, по всей видимости, ничего не имел против, но что можно ожидать от человека, чье ремесло состоит в том, чтобы испаривать брюхо противника быстрее, чем тот проделает это с тобой.

Что ж, всегда можно прополоскать оскверненный рот добрым вином. К их чести будет сказано, хозяева зорко следят, чтобы кубок гостя не пустовал, а вино не становилось хуже в разгаре пира, что не всегда бывает даже в некоторых римских домах, где он пировал.

О чем же говорит Аэций? Теперь он перешел на латынь, поздравляя хана с такими замечательными сыновьями. Лицо старого хана, казалось, застыло.

— Трое моих сыновей погибли на поле брани — здесь мои племянники.

Аэций почувствовал не только отеческую боль за этой короткой фразой. Даже для простого гунна большое несчастье остаться без сыновей, для хана из великого рода это катастрофа. Гунн ищет плотских удовольствий от женщин, которые входят в его часть добычи, получаемой

в покоренных городах; от жен он ожидает сыновей. Аэций спросил:

— Надеюсь, что это случилось не от рук римских воинов?

Хан ответил:

— Двое погибли в битве с акацирами, а один из-за коварства грузов.

Аэций недоуменно покачал головой.

— Мне неизвестны такие племена.

— Они больше и не существуют, — ответил хан.

Наступило долгое молчание. Аэцию было понятно, о чем говорил хан. Нет в мире ничего страшней, чем месть гуннов. Она не щадит никого и ничего — ни мужчин, ни женщин, ни детей, ни стариков, ни коров, ни коней, ни шатров или домов врага, все повергается в прах и рассеивается по ветру. Он знал это лучше, чем кто-либо в Римской империи, и он единственный представлял, насколько гунны опасны, если их вынудить к этому. Лучшим, да и единственным выходом было бы приманить к Риму как можно больше их знати денежными подачками, а остальных натравливать друг на друга. Предвиделась и иная возможность, поскольку римляне нуждались в могучих союзниках в борьбе против множества других врагов: заключить дружбу с некоторыми ханами и заручиться их поддержкой, коли таковая понадобится. Делать это было крайне опасно и к тому же недешево: у гуннов ценилось только золото. Да и человек должен был обладать немалой властью, если он намеревался иметь дело с гуннами. К счастью, властные люди все-таки попадают.

Кроме того, этот человек должен знать своих гуннов, чтобы быть уверенным, что они, взяв золото, не предадут его, когда он потребует от них поддержки. Аэций знал своих гуннов. План его созрел, но прежде всего необходимо было устранить с дороги этого осла Масурия. Тот уже был изрядно пьян и продолжал осушать кубок за кубком. Светлое паннонское вино кажется очень легким, пока сидишь на месте. А вот коли попытаешься подняться...

— Хан, мои подарки лежат в обозе. Это дары, достойные великого правителя. Там и дары моего императора, и мои собственные. — Он перешел на язык гуннов. — Человек, приехавший со мной, вашего языка не понимает. Он думает, что я приехал купить лошадей для войска. И он ошибается.

— Я так не считаю, — спокойно ответил хан.

Аэций удивленно взглянул на него.

— Что ты хочешь этим сказать, хан?

— Я уверен, что ты и впрямь явился сюда покупать лошадей. Лошадей с всадниками на их спинах.

В улыбке Аэция промелькнуло восхищение. Бледа улыбнулся тоже, а некоторые гунны, сидевшие достаточно близко, чтобы расслышать ханские слова, открыто захохотали.

— Ты сказал им какую-то шутку, верно? — стал допытываться Масурий нетвердым голосом. — Или он тебе? О чем там речь?

Но ему никто не удосужился ответить, поскольку князь Этцель отрывисто сказал:

— Рим постоянно нуждается в лошадях со

всадниками. Если лошадь теряет всадника, никого из римлян это не волнует.

Наступила минута неловкого молчания. Аэций посмотрел на молодого князя долгим испытующим взглядом.

— Я римлянин, — произнес он медленно. — И воевал против готов, рипуарских франков, бургундов, вандалов, да и еще против многих племен. Иногда бывал ранен, в другой раз нет.

Упрек прозвучал очень мягко.

Однако Этцель продолжал:

— Гунны должны сражаться за себя, а не за других.

«Этот, — подумал Аэций. — Определенно этот, а не другой». Он промолчал.

Хан тоже не сказал ничего, но Бледа увидел, что его руки на мгновение замерли. Этцель был глупцом. Ему бы следовало попридержаться своих лошадей после всего, что случилось утром. А ему все мало, снова лезет вперед. Он никогда не желал признавать свое поражение. Даже мальчишками, когда они боролись и он, Бледа, одерживал верх, брат вновь и вновь на-скакивал на него.

Один из сподвижников хана с грохотом свалился под стол, напившись до бесчувствия.

Масурий засмеялся. Он продолжал смеяться и тогда, когда хан поднялся — пир был закончен. Попробовал встать и он, но пошатнулся. Хан, гости, стол, шатер, казалось, закружились вокруг него. Попытавшись сделать шаг, он споткнулся и упал. Двое слуг подхватили его под руки и вытащили на улицу.

— Он отдохнет в гостевом шатре, — бесстрастно сказал хан.

Аэций кивнул.

— Я могу поговорить с тобой с глазу на глаз, хан?

Скупым жестом старик отпустил собравшихся. Затем поднял угол полога из коричневой шерсти — Аэций узнал шерсть одногорбого бактрийского верблюда, — и они прошли в спальню. Персидские ковры, постель с несколькими подушками из кожи, ящик, который служил одновременно столом и шкафом для посуды, пара низких скамеек — покои хана никак не отличались от жилья его подданных. Правда, ковры были хорошими, вот и все.

Они присели.

— Ты правильно понял, хан. Я приехал, чтобы заключить сделку и купить лошадей со всадниками.

Хан Руа ничего не ответил; он ждал.

Аэций рассказал про свою давнюю дружбу со степными племенами, про то, как ему хотелось укрепить эту дружбу, чтобы она превратилась в надежный союз...

— Твой новый император, — отвечивал хан, — ребенок, еще менее опытный, чем сын моего брата, Этцель. Мне говорили, что бразды правления находятся в руках женщины. Я не могу иметь дело с детьми и женщинами.

— Этцель — это тот горячий юноша, который хочет вести собственные битвы? Что ж, возможно, когда-нибудь так и будет. — Аэций давным-давно научился не ждать от гуннов византийской вежливости. Знал он и то, что

никогда нельзя сдаваться. В этом схожи все дикари: если ты сделаешь один шаг назад, они шагнут вперед на два шага. — Это ты сказал про женщин и детей, а не я, хан. Я же предлагаю союз мужской. Между тобой и мной. Когда страной правят женщины и дети, мужчина должен заботиться о себе. Двадцать пять тысяч лошадей с седоками на три года, а уж будут они использоваться в бою или нет — посмотрим. Триста пудов золота за каждый год, платеж в день праздника конской богини.

Молчание. Затем старик сказал:

— Есть ведь и другие ханы...

— Да. Хан Куртургу в верховьях Дуная, хан Гулляк к западу от тебя. Куртургу я еще не видел, а вот Гулляк согласился. Конечно, есть еще множество ханов помельче, но они будут делать то, что сделаешь ты, а также Гулляк и Куртургу. Заметь, что я, возможно, и вовсе не обращусь к тебе за помощью, и тогда мое золото достанется тебе даром.

Хан слегка кивнул.

— Еще одно условие, — продолжал Аэций. — Чтобы ты прислал своего старшего сына, я хотел сказать — старшего племянника в Равенну на срок нашего союза. Я позабочусь о том, чтобы он жил во дворце с другими знатными юношами его ранга.

— Нет, — коротко бросил хан.

Аэций устремил на него удивленный взгляд.

— Нет? Почему нет? Хан Гулляк тут же согласился на это условие. Юноша многому научится в Равенне...

— Нет, — непререкаемо повторил хан.

— Уж точно, — упорствовал Аэций, — это будет очень полезно для такого живчика, как Этцель.

— Этцель... — Хан умолк. Рот его слегка скривился.

Аэций украдкой следил за ним, как кот за добычей. В какой-то миг ему показалось, что по лицу хана промелькнула усмешка, но с этими дикарями ничего нельзя знать наверняка.

— Я согласен, — внезапно переменял решение хан.

Они помолчали.

— Замечательно, — произнес Аэций. Он изо всех сил старался скрыть свое изумление. — Ну, тогда все улажено. Завтра в полдень мы оба дадим клятву. Князь Этцель может отправляться вместе с Масурием — тот возвращается в Равенну. Я отправлю с ним письмо императрице, касающееся Этцеля. И заплачу тебе первые сто пудов золота, хотя время праздника конской богини еще не наступило. А теперь не хочешь ли взглянуть на подарки, хан?

— Я погляжу на них завтра, — последовал ответ старика. — Это терпит.

Он поднялся, вслед за ним встал и римлянин. «Почему-то он радуется нашей сделке; — подумалось Аэцию. — Но почему? Мудрая старая черепаха. Ладно, я получил то, что мне требовалось. Так что же мне беспокоиться?»

Он вежливо распрощался и удалился. Гунн-слуга проводил Аэция до гостевого шатра, где его ждала завешенная пологом комната, очень напоминавшая ханскую. Но там было то, чего он не увидел у хана. Молодые, едва достигшие

шестнадцати-семнадцати лет девушки, показавшиеся ему очень хорошенькими. Обе были славянками: округлые формы тела, круглые лица с пухлыми губами и курносыми носиками, блестящие черные волосы, уложенные в бесчисленное множество локонов и украшенные цветами и гребнями. Одежда на них была из прозрачных тканей, которые привозились с греческих островов, расположенных возле Малой Азии. Остров Кос платил ими все свои налоги.

— Ладно, — произнес Аэций, когда славянки склонились перед ним в низком поклоне. — Передайте своему хозяину, что я крайне признателен и что лучшего выбора просто невозможно сделать, но я устал и хочу отдохнуть в одиночестве.

Девушки снова низко поклонились, желая ему приятных сновидений и явно пораженные тем, что он заговорил с ними на их родном сарматском языке.

С амфорой вина и серебряным кубком вошел его помощник Буррус.

— Благодарю. Они следили за тобой и людьми из обоза? Все время? Хорошо. Возвращайся назад и не спускай глаз с даров. Я не хочу никакого воровства. Если кто-нибудь попытается что-то стащить, скажи ему, что я предпочитаю делать подарки хану лично. Все.

Буррус пожелал спокойной ночи и вышел.

Снаружи кто-то трубил в рог — три, четыре, пять раз.

Ханский призыв. Старый Руа созывал кня-

жичей на совет. Скорее всего юного Этцеля ожидает неприятный сюрприз.

Из соседнего помещения в гостевом шатре донесся негромкий визг — женский — и взрыв пьяного хохота. Масурий, видимо, очухался и воспользовался старым обычаем гуннов идти навстречу всевозможным потребностям гостя.

На сей раз хан принял обоих княжичей у себя.

— Почему должен ехать я? — спросил Этцель с плохо скрываемым гневом. — Почему не Бледа? Ведь он обладает правом первородства, разве не так?

Хан нахмурился.

Бледа захохотал.

— Тебе ведь всегда хотелось быть всюду первым. Так что же ты жалуешься, когда тебе дают такую возможность?

— Спокойно, Бледа, — ответил хан. — Он и впрямь обладает правом первородства — для Рима.

Княжичи в недоумении уставились на него. Они ничего не понимали.

Хан слегка улыбнулся.

— Тут виноват сам Этцель, — продолжил он. — По его поведению римлянин решил, что он наследник-первенец. И попросил его в заложники, поэтому его и получит. И я заклинаю тебя, Этцель, именем Пуру: ты не должен говорить, что ты младший. Пусть римлянин думает то же, что и сейчас. Если же он обнаружит все сам, тогда пусть явится ко мне за объяснениями.

— Я приветствую перворожденного, — насмешливо произнес Бледа.

Глаза Этцеля сверкнули. В них читалась такая угроза, что рука Бледы непроизвольно потянулась к кинжалу.

— Ты отправишься в путь завтра после полудня со вторым римлянином, — спокойно произнес хан. — А теперь ступай, мне нужно поговорить с Бледой.

Этцель вышел, не удостоив брата взглядом.

Хан слегка вздохнул.

— Наступает время прославить тебе свое имя среди мужчин племени. Не теряй его даром, Бледа.

Молодой человек заколебался. Казалось, он все еще не понимал происходящего.

— Твоя стрела впредь будет первой, — сказал хан. — Постарайся, чтобы она всегда такой и оставалась.

2

— Императрица иногда запаздывает, — произнес епископ Ницетий с легкой усмешкой. — Ведь она невероятно занята, и удел ее никак не назовешь простым. В империи достаточно хлопот, чтобы полностью поглотить время даже самого энергичного монарха — я уж не говорю про женщину. По всей вероятности, даже церкви придется подождать.

— Церковь может позволить себе подождать, — спокойно заметил архидиакон Лев.

Старый епископ окинул его любопытным взглядом; он слышал про архидиакона уже

немало лет, да и кто же не слышал о нем? Но лишь сегодня епископ получил возможность лицезреть его во плоти. Тот выглядел немислимо молодым для такого важного сана. Ведь архидиакон считался правой рукой самого папы и чаще всего становился его преемником. Вот и в этом году, когда папа Целестин отбыл в лучший мир, архидиакон Сикст взошел на трон апостола Петра. И уже ходят упорные слухи, что его новый архидиакон Лев является властью за этим троном. А ведь ему не больше сорока лет. Но и до того, как он достиг теперешнего положения, о нем много говорили по всей империи, как на Западе, так и на Востоке. Это он, еще будучи аколитом, был послан с миссией в Карфаген, побывал у епископов Северной Африки, включая великого Августина из Гиппона, которого теперь почитают как святого, побудил Иоанна Кассиана написать знаменитый трактат «De Incarnatione», и он же оказал немалое влияние на решения Эфесского собора десять лет назад. Так в чем же секрет такого раннего успеха?

Сегодня утром он прибыл из Рима по какому-то делу. Однако епископу Ницетию уже пора было спешить в императорский дворец, он не мог так сразу вникнуть в длинные свитки пергамента, привезенные архидиаконом, и вместо этого предложил ему отправиться во дворец вместе с ним.

— Я представляю тебя императрице, она весьма замечательная персона, действительно весьма замечательная.

На это необыкновенный архидиакон ответил:

— Это неплохая мысль, ведь мне в любом случае нужно ее повидать.

Ему нужно ее повидать в любом случае! Как будто он мог пойти и повидать императрицу Плацидию словно... словно хворую прихожанку среди своей паствы, не больше и не меньше! На какой-то миг ему и впрямь показалось, будто молодой архидиакон одержим грехом, про который великий Августин говорил, что он является корнем всех прочих грехов, — гордыней. Но затем епископ вынужден был признать, что прибывший держал себя не просто вежливо, но и смиренно — даже зашел настолько далеко, что не заговорил первым, пока к нему не обратились. Кроме того, в отличие от большинства церковных сановников, одет он был очень скромно. Тут чудилось нечто другое — епископу Ницетию пришлось усилением воли собраться с мыслями, чтобы уяснить себе: этот человек по имени Лев приехал не с каким-то незначительным разговором. И говорил он лишь тогда, когда ему было что сказать. При чем говорил он очень четко — да, вот наконец найдено слово. Если он что-то говорил, слова звучали ясно, точно и в них уже ничего нельзя было изменить.

«Церковь может позволить себе подождать».

Внезапно епископ представил, как они выглядят со стороны — две маленькие фигурки в гигантском зале для аудиенций. Порфиновые колонны устремлялись ввысь, а мраморный сверкающий пол простирался далеко, очень да-

леко, до портика. Оттуда выйдет императрица, когда у нее появится время, хозяйка этого дворца, императорского дворца в Аквилее, а также тысячи других дворцов в тысяче других крупных и мелких городов великой империи — женщина, но женщина такая, по слову которой сотни тысяч мужчин отправляются маршем, куда укажет ее перст. Пожалуй, она величайшая из женщин, каких рождал Рим почти за двенадцать веков своего существования, — Галла Юста Плацидия, дочь великого Феодосия. Даже полководец Аэций вынужден ей подчиняться, о чем ясно свидетельствовали недавние события. Он мог затеять ссору с другим могущественным военачальником, мог даже отважиться на своего рода частную войну, как сделал это против графа Бонифация год назад и разбил его войско. Однако он раболепно склонялся перед императрицей. Как и все остальные.

— А я не уверен, — нарушил затянувшееся молчание епископ Ницетий, — что церковь может позволить себе ждать. Все очень хорошо, когда ты молод. Но церковь насчитывает почти четыре сотни лет. И, возможно, остается совсем немного времени до того часа, когда Господь явится нам вновь во всей Его славе. — Он невольно поглядел на свои руки с искривленными подагрой, слегка дрожащими пальцами.

— У церкви нет возраста, — спокойно возразил архидиакон Лев. — Это только мы стареем, а кто мы такие?

— И вправду, — вздохнул Ницетий, огляды-

ваясь по сторонам. — Здесь я всегда чувствую себя карликом.

— Когда все это будет разрушено, — сказал Лев, — когда тут камня на камне не останется, церковь будет по-прежнему жива.

На миг епископ Ницетий ужаснулся. Может, этот молодой честолюбивый клирик видит себя пророком, раз осмеливается возглашать о падении и разрушении Аквилеи, как сам Господь, пророчествовавший о падении Иерусалима?

И тут двери в глубине портика отворились, появился главный дворцовый распорядитель — молодой придворный Евгений — и звонко ударил в пол серебряным посохом. Потом он сделал шаг в сторону и склонился словно танцор перед высокой статной женщиной в сверкающих одеждах, которая величаво входила в зал вместе с четырнадцатилетним мальчиком, нежным и грациозным, словно юная девушка.

Она приближалась, как корабль с надутыми ветром пурпурными парусами, величественная и прекрасная; гроздья рубинов в волосах, на шее и на запястьях горели и переливались расплавленным огнем.

«А вот *ее* зал отнюдь не делает карлицей», — с восхищением подумал епископ Ницетий, согнувшись в низком поклоне, а вслух произнес:

— Позволит ли милостиво великая императрица представить архидиакона Льва, который только что прибыл из Рима?

Императрица острым, зорким взглядом окинула архидиакона, и тут же наступила неловкая тишина. С легким испугом Ницетий

отметил, что Лев не поклонился императрице — или все-таки поклонился? Глаза епископа тревожно забегали.

«Волевая женщина, — с удовлетворением подумал Лев. — Влиятельная благодаря своим достоинствам, а не недостаткам. Самомнение пока еще не сломлено, несмотря на все неудачи. Великолепный инструмент, коль скоро она верит, что все вершится по ее воле. Такую можно иметь в союзниках».

«Кого он мне напоминает? — думала императрица. — Может, отца? Но это смешно. Этому человеку нет и сорока, а ведь сорок лет — надо же! — уже и мне самой. Он молод, мужчина в сорок лет еще молод. Вот только глаза у него старые—старые, как Троя. Облик могучего гордого орла, но глаза печальные. Да, они напоминают отцовские, когда тот сидел среди нас и все-таки был одинок — лишь теперь я понимаю, насколько одинок. Так зачем приехал этот человек?»

— Я явился, — словно услышав ее мысли, произнес архидиакон Лев, — чтобы передать тебе апостольское благословение святого отца. — И очень спокойно добавил: — Преклони колено.

Глаза епископа Ницетия расширились от изумления, когда весь этот блеск рубинов и шуршащий пурпурный шелк опустился вниз — сверкающее, переливающееся пятно на беломраморном фоне.

Архидиакон Лев широко осенил императрицу крестным знаменем, а в следующий момент уже превратился из посланца папы рим-

ского в самого себя, утчивого и галантного. С нежной обходительностью помог Плацидии подняться на ноги, поклонился ей и — не так низко — мальчику, который стоял рядом, удивленно разинув рот. Еще никогда в жизни юный император не видел, чтобы мать становилась на колени перед кем бы то ни было. Это его немало огорчило, и он был близок к слезам. Мать, которая всем приказывала, перед которой склоняла голову даже его сестра Гонория, та самая Гонория, которая дерзила всем остальным, — мать встала на колени перед этим человеком. Значит, это самый ужасный человек, каких он встречал в жизни, да и человек ли он? Может, джинн, дух, которого когда-то закрыл в медном сосуде царь Сулейман и запечатал своей властительной печатью? Парибану, нянька из Персии, рассказывала много сказок о таких чудовищах. Но этот человек одет священником, и даже не так богато, как старый епископ Ницетий. Немыслимо!

«Он выглядит моложе своих лет, — отметил про себя Лев. — Ему дашь всего лет десять, а никак не четырнадцать. И похож скорее на девочку, чем на мальчика. Почему она одевает его так ярко, как попугая? И лицо ему накрасила. Такие вещи делают на Востоке, как известно, но ведь тут Италия. Это неправильно».

Он не мог прямо обратиться к мальчику, потому что тот был императором Валентинианом III, тем более что мать явно предпочитала как бы не замечать его присутствия. Может, она хотела научить его смирению? Маловеро-

ятно. Между тем молчание затягивалось, создавалась неловкая ситуация.

Плацидия вновь обрела присутствие духа.

— Мы весьма рады приветствовать тебя в Аквилее, архидиакон, — произнесла она с вежливой улыбкой, — и надеемся, что у тебя найдется время погостить здесь.

— Три дня, о великая, — ответил Лев. Ровно столько времени требовалось ему, чтобы сделать все дела с таким медлительным стариком, как епископ Ницетий. Задерживаться тут дольше не имело смысла, к тому же в Риме его ожидало множество дел. Папа Сикст был милым, кротким человеком. Взойдя на трон Петра, он сказал Льву:

— На этом месте я чувствую себя калекой: я недостойн его. Господь да поможет мне! А ты — ты должен стать моей правой рукой.

И он обещал ему это. Три дня в Аквилее. Не больше.

— Я попросил архидиакона произнести сегодня проповедь во время мессы, — сообщил епископ Ницетий.

Реакция Плацидии последовала немедленно.

— Сейчас позже, чем я думала, — ответила она, бросив взгляд на водяные часы великолепной работы, что стояли неподалеку на резном столике. — Месса начнется через четверть часа, не так ли? Если ты, Ницетий, желаешь уйти сейчас, чтобы надеть облачение, мы позволяем тебе это сделать. Я увидаюсь с тобой после мессы, и мы поговорим насчет нового склепа. Ты тоже беги, Валентиниан, тебе пора

на массаж. Только передай Парибану, чтобы она делала его осторожней... Ведь он очень хрупкий, — пояснила она, когда мальчик ушел. — Всегда таким был — совсем не похож на сестру. Пожалуй, ему следовало бы родиться девочкой, а ей — мальчиком. Не то чтобы дочь выглядела, как мальчик, нет, она женственна и красива, но у нее по-мужски энергичный характер, чего недостает брату...

Епископу Ницетию эти слова еще были слышны — он нарочно уходил самым медленным шагом. Сейчас Плацидия говорила, как простая мать. И что за человек этот архидиакон, раз смог за считанные минуты так обворозить самую пронизательную и властную женщину во всем римском мире? Да, он красив, умен, несуетлив, уверен в своей силе, он не горд — не так, как все. Пожалуй, епископу стало бы легче, если бы он смог назвать папского посланца одержимым гордыней — и дело с концом. Старик торопливо перекрестился. «Вот ты каков, пытаешься навязать порок на человеческую душу. И почему? Чтобы объяснить себе, почему ты не достиг в жизни того же. Да, ты мельче. Зависть, вот как это называется, а она почти такой же грех, что и гордыня. Зависть — грех, приведший к первому убийству в истории, да и к бесчисленному множеству других в последующие времена. Впрочем, она у тебя не зашла особенно глубоко», — защебетал тихий оправдывающий голос, который он столь хорошо знал как в себе, так и в других. И ему на самом деле не слишком хотелось бы поменяться местами с архидиаконом Львом. Сражаться

против ересей не только в диоцезе, но и по всему свету и, более того, подбирать теологические материалы, ниспровергающие их, готовить церковные конференции, проводить их и высказываться по сотне предметов месяц за месяцем, принимать посольства, пилигримов, докторов теологии, аббатов, решать их проблемы, быть тенью папы, его правой рукой, его грозным взглядом, его улыбкой, и тысяча других обязанностей — короче, быть властью за тронем. Нет, ему решительно не хотелось бы этим заниматься. И почему? Потому что он был ленивым стариком, которому вовсе не улыбалось осложнять себе жизнь, вот почему. Таким образом, один порок исключал другие, по крайней мере частично. Да, если бы он не был так ленив, то завидовал бы ему. Не слишком все это хорошо, и тут можно сделать только одно — предложить архиdiaкону Льву провести мессу и молиться, чтобы он никогда не поддавался гордыне и чтобы Божий слуга Ницетий одолел свою леность, но не стал бы после этого завистливым.

Он посмеялся себе под нос, выходя из огромного зала. Он все еще чувствовал себя карликом, но веселым карликом.

— О чем ты намерен сказать в своей проповеди? — поинтересовалась императрица. Она чувствовала себя уязвленной. Архиdiaкон не отозвался ни единым словом на ее доверчивую речь о детях, и она почувствовала, что он чего-то не одобрял и что это касалось Валентиниана. Вероятно, он ожидал, что она будет готовить из своего четырнадцатилетнего сына воина, как

это делали Аэций, Альбин и остальные, или воспитывать как государственного деятеля, будущего императора. Ведь в конце концов священник был мужчиной, а все мужчины твердо верят в абсолютное мужское начало в руководстве. Семирамида и Клеопатра, возможно, и не существовали на самом деле. Только на Востоке встретишь мужчин-правителей, которые умеют соединять мужскую силу с интуицией и ясностью женского рассудка. Тут же этого не понимает даже священник, даже такой, как этот. И все-таки он мог бы сказать что-нибудь лестное о Валентиниане. В его молчании слышалась критика.

— Я буду говорить о граде Божиим, — ответил Лев.

— Град Божий — кажется, я слышала где-то об этом...

— Так называется книга великого Августина из Гиппона.

Она нахмурилась; ее густые черные брови сошлись в сплошную черту.

— Великий Августин, так ты его назвал? И все же я слышала и другое: его называют распространителем самого опасного учения. Даже твой друг Иоанн Кассиан очень резко выступил против его постулатов.

Путешествие в область теологии вызвало легкую усмешку на лице архидиакона.

— Ты совершенно права, великая императрица, — признал он. — И мне остается лишь надеяться, что в настоящее время мой друг Кассиан изменил свое мнение. В галльском монастыре у него было время для этого. Для

нового учения полезно некоторое количество противоречий, пусть даже достаточно большое. Они помогают разобраться во всем и выработать окончательную версию. В случае с епископом из Гиппона мы можем уверенно сказать, что там все уже проверено и одобрено. Память о нем будет расти в свете веков, и не исключено, что о нашем времени будут вспоминать в дальнейшем лишь при упоминании имени Августина.

Императрица хотела остановить скоропалительные восхваления, но сдержалась. Священника нужно прощать, если он думает о другом священнике лишь тогда, когда речь заходит о славе в веках. Вместо этого она сказала:

— Вероятно, ты избрал его в качестве примера для своей проповеди?

— Нет.

Она испытующе посмотрела ему в лицо, понимая, что такой поспешный ответ таил какой-то скрытый смысл. Она также знала, что спрашивать об этом совершенно бесполезно. И вновь ей пришел на ум отец. Тот же непререкаемый тон и та же резкость.

Она никогда не встречала их в других мужчинах. Ни в Атаульфе, ее первом супруге, который сделал ее королевой вестготов. Ни в Константине, втором ее муже, уж определенно не в Константине — когда тому требовалось убедить ее, что она вмешивается не в свои дела, он просто становился грубым. А потом? Любовники, тщательно выбиравшиеся время от времени, молодые люди, крепкие скорее чреслами, чем умом, немедленно убирались, если осмели-

вались проявлять интерес к императрице, а не к женщине Плацидии.

Она сердито одернула себя.

«Еще минута, и я, пожалуй, пожалею, что этот человек священнослужитель», — подумала она и принудила себя вернуться к их беседе.

— Отчего вы, священники, постоянно открываете какие-то новые грани учения? — поинтересовалась она. — Разве слова Христова для нас не достаточно?

— Оттого, — последовал суровый ответ, — что, каким бы ни было учение, сейчас или в будущем, оно должно расти из слова Христова, как цветок вырастает из стебля. Однако мудрость Логоса неисчерпаема — до конца времен она будет занимать ум человеческий. Христос не дал нам окончательной и застывшей догмы. Он не намеревался этого делать, иначе оставил бы книгу, написанную Его собственной рукой. Но вместо этого Он создал живой организм, Его церковь, чтобы она прокладывала себе дорогу через века, отбирала вероучения, боролась с ересью и заблуждениями, сияла внезапными озарениями Духа Святого. Растущее, постоянно растущее мистическое тело, простирающееся назад и вперед за временные пределы.

Императрица кивнула.

— Небесное царство имеет свою опору на земле. Ты в безопасности. Но мы, которым вверено царство земное, мы вынуждены работать без небесного покровителя.

— Но не без Его помощи.

— Не уверена, — ответила императрица. Теперь она шла к внешней колоннаде, а он мед-

ленно следовал за ней. — Я очень часто задумываюсь, интересуется ли Всевышнего всерьез большинство наших земных дел, во всяком случае, заботится ли Он о нас в той мере, как думает наш милый старый Ницетий? Да, я знаю, ни один воробей не выпадет из гнезда и прочее и прочее, но уж точно это не означает, что Бог делает так, чтобы он выпал из гнезда. А это значит, должно значить, что Бог ведаёт обо всем, что происходит. Как иначе может все быть? А наши молитвы? Возьми прошлогоднее сражение, когда бедный Бонифаций был разбит Аэцием — когда два моих собственных полководца развязали гражданскую войну... — Ее дыхание немного участилось. Преступление это она так и не простила. Аэций до сих пор не в императорском фаворе, несмотря на его почти суверенную позицию в Южной Галлии. — Как ты думаешь, архидиакон, разве обе армии не молились перед битвой всем сердцем? И что же тогда делать Богу, если Ему действительно есть до нас дело? Несомненно, нужно было сделать одно — чтобы сражение не состоялось, чтобы сломалось оружие у обеих сторон, а их военачальники почувствовали такую тягу к миру, против которой не могли бы устоять...

«Что Господь должен был сделать, — подумал Лев, — так это, видимо, то, чего хотела императрица Платидия и о чем скорее всего молилась сама. А ведь она была любовницей Бонифация. Бедная женщина! Однако ее вопрос заслуживает ответа».

И он сказал:

— Ты требуешь от Господа непрерывного вмешательства в людские дела. Требуешь, чтобы Он делал невозможным любое злонамеренное действие и чтобы такое вмешательство совершалось немедленно. И если ты будешь последовательной, то должно потребовать, чтобы язык клеветника и лжеца не мог произнести клевету и ложь, чтобы вор, протягивающий руку за соседским добром, тут же морально преобразался, и чтобы чувства блудодея угасали, как только его глаза остановятся с вожделем на чужой жене. Да, после этого зло на земле немедленно перестанет существовать, но только вместе с родом человеческим. Ведь мы превратимся в марионетки, лишившись возможности выбирать. Наша воля окажется парализована, и мы не сможем любить Господа, ведь любовь предполагает свободу выбора, любовь должна быть добровольной, иначе это не любовь. А любовь к Господу — это самое главное в нашей жизни.

Императрица тяжело вздохнула.

— Кажется, я просила невозможного, — произнесла она с бледной улыбкой. — Но это лишь подтверждает сказанное мной ранее: Бога не интересует большинство наших дел. И ты мне объяснил, почему это так.

Лев покачал головой.

— Я объяснил, почему Он не всегда вмешивается. Заботится же Он настолько, что сам принял облик человека, чтобы умереть на кресте, искупив грехи земные — все грехи. Он унес твои грехи, и мои, и каждого из воинов, что сражались в той несчастной битве, и каждого

воина в каждой битве, когда-либо происходившей, и во всех будущих. И вся радость, которую когда-либо испытывали люди, это Его свободный дар. И всякое добро, когда-либо делавшееся, совершается по Его воле. Лишь свобода выбора остается за нами.

— Но молитвы воинов с каждой стороны...

— Они услышаны. Все они. Они даже были вызваны изначально Господом. Однако мы их смешиваем с нашими мелочными амбициями, самодовольством и алчностью, с нашим жалким извращенным умом, лишенным мудрости. Порой мы вновь и вновь испрашиваем у Него яда и вечных мук. Даже тогда Он нас слышит, но ответ Его неизменен: нет! Возможно, поэтому Христос научил нас той молитве, которая всегда уместна.

— Что ты имеешь в виду?

— Слова «Да будет воля твоя».

Они достигли конца колоннады. Тяжелая, покрытая позолотой крыша осталась позади, и теперь они шли по широкой террасе. Крики и смех донеслись до них из расположенного внизу внутреннего двора, где группа молодых людей занималась тем, что казалось шуточной битвой или своего рода военными упражнениями.

— Готы, рипуарские франки, сарматы, — пояснила Плацидия. — И дюжина других народов. Кажется, тут даже найдутся гунны. Все они состоят на службе у Рима, защищая нашу империю от самих себя. Можно ли считать их помощь помощью Господа?

По террасе словно разноцветные птички пронеслась стайка придворных дам.

— Время для мессы, — поспешно произнесла императрица, прежде чем Лев успел ответить. — Мы послушаем твою проповедь, архидиакон Лев, а потом будем ждать тебя к столу.

Она одарила его легким милостивым кивком и повернула к своим подчиненным. Процессия сложилась очень быстро и устремилась по другому краю террасы туда, где мраморные ступени вели к дворцовой церкви.

Лев остался один. Он не торопился. Его проповеди предшествовала месса для новообращенных — катехумен, к тому же, в отличие от епископа Ницетия, ему не требовалось надевать особого облачения. Поэтому он спокойно наблюдал за упражнявшимися во дворе молодыми воинами, многие из которых были теперь разделены на пары для дружеских поединков под надзором наставника-гиганта.

Это был гот, один из громадных рыжеволосых существ с горой мышц. Его точные движения свидетельствовали о превосходном контроле над собственным телом. А разум? На широком звероподобном лице, несомненно, угадывалось добродушие — тот сорт добродушия, которое при малейшем поводе могло мгновенно перейти в жестокость. Между ним и остальными, по крайней мере теми, кого мог видеть Лев — существовал разительный контраст. Верно, большинство из них тоже были сильными, хорошо сложенными, однако они явно относились к другому классу. У них были благородные лица, правда, кроме благородных черт и движений,

больше их ничто не объединяло. Все остальное — лбы, глаза, носы и подбородки были у всех различными, волосы росли по-разному, слух воспринимал различный акцент и интонации.

Типичным для Льва было то, что он сначала увидел это, а уж потом заметил, что одежда и даже оружие у каждого были тоже свои. Светловолосый человек с густыми желтыми усами сражался против коренастого рыжего. Блондин был одет в пестрые штаны и короткую тунику с широкими рукавами, а вооружен длинным мечом и круглым щитом с густым металлическим орнаментом. Это был кельт из Арморики, сын самого влиятельного и знатного там человека, рыжеволосый был рипуарским франком — в длинной синей тунике и легких доспехах, в руках он держал огромный тяжелый щит и удобный боевой топорик «франсиску». Вестготский граф, стройный, с каштановыми волосами, с семифутовым копьем, напал на иллирийского вождя, покрытого доспехами и обнажившего кривую саблю. Там было десять, двенадцать, двадцать таких необычных пар, и за ними наблюдала горстка сановников.

Теперь Лев понял, в чем дело. Все это были заложники — знать со всех концов света, которых уговорами, обманом, угрозами заплучили на службу под знамена империи или просто в полуофициальный плен. Экзотические птички, живущие в золотой клетке, прутья которой слишком прочны даже для их крепких клювов и когтей. А вместе с ними, чтобы показать, что они рассматриваются как почетные гости, а не

как заложники, находились молодые офицеры из гвардии Палатина, в большинстве своем вестготы, к которым императрица всегда питала большую симпатию, ведь когда-то даже вышла замуж за одного из них.

От горстки сановников отделились двое: римлянин средних лет, одетый с изысканной тщательностью, другой же такого типа, каких Льву до сих пор не приходилось встречать. Немного ниже среднего роста, однако жилистый, широкоплечий, с сильными руками; верхняя часть тела, слишком мощная и тяжелая, лишала его облик гармонии, и весь он выглядел каким-то необычным и нескладным. Возможно, дело было в цвете тела — желтовато-коричневым, как старая шкура, или в его остро выступавших скулах и раскосых глазах, или в том, как он двигался, медленно и нерешительно, словно жук, обнаруживший перед собой неожиданное препятствие. Или все это вместе. Казалось невозможным угадать его возраст, хотя скорее всего это был совсем молодой человек — где-то лет двадцати—двадцати двух. Низко надвинутая шапка из черного войлока закрывала его лоб, и непросто было отличить, где кончалась она и начинались спутанные черные волосы. Надета на нем была рыжевато-коричневая туника без рукавов. Никаких доспехов. Маленький круглый кожаный щит, на кожаном поясе болтался короткий кривой меч. Этот странный неловкий человек явно чувствовал себя здесь не в своей тарелке, словно привык жить совсем в другом мире — в мире воды, нет, пожалуй, огня, либо... либо на конской

спине! Да, именно так. Верхом на коне. Вот в чем его необычность — он просто не приспособлен ходить по твердой земле, он привык скакать верхом. И Лев, внезапно вспомнив недавние слова императрицы, понял: это гунн. Первый гунн, которого он увидел. Кочевое племя, живущее где-то на берегах Дуная и дальше к востоку, коротконогие, косоглазые дикари с желто-коричневой кожей, дикие, жестокие и примитивные, многоженцы и многобожцы, не вспахавшие ни клочка земли за всю свою историю. Пастухи и воины. Предполагалось, что военный магистр Аэций заключит с ними союз на случай, если понадобится дополнительное войско. Возможно, это всего лишь несколько племен номадов, продающих своих воинов и коней для нужд других народов. А может, они первые вестники желто-коричневой лавины? Никто не знает, что происходит там дальше, к востоку от Дуная...

Вот к нему, к этому необычному человеку, и направлялся сейчас гигант-германец, а с ним римлянин.

— Гударик, — сказал Масурий, — это князь Этцель, сын или племянник предводителя гуннов. Он будет жить во дворце. Присматривай за ним. До сих пор он жил в Равенне.

— Ладно, — неспешно отвечал германец. — Гунн, а? Никогда до сей поры не доводилось видеть гунна без коня, пешего. Где ты оставил свою лучшую половину, князь?

— Там, где место и тебе, — последовал быстрый ответ. — В конюшне.

К огромному облегчению Масурия, германец не обиделся, а захохотал.

Кое-кто из знатной молодежи, заинтересовавшись, подошел к ним, и Масурий воспользовался возможностью: шепнул на прощание пару слов — не вполне ясно, кому, молодому гунну или Гударiku, — и ретировался, вознося хвалу всем богам и святым, что наконец-то отделался от юного чудовища. Этот детина Гударик выглядел так, словно мог одолеть самого Цербера, вероятно, он и с гунном сумеет справиться. Силы у них равные.

Тем временем Гударик представил Ювенция, офицера гвардии Палатина, графа Гербода, бургунда, и Хлодомера, сына герцога франков; они все говорили на латыни, каждый со своим причудливым акцентом. Вполне естественно, что молодого гунна пригласили присоединиться к их играм. Все трое были большими друзьями и знали друг друга много лет. Этот нескладный коротышка был для них чем-то новым, и они глазели на него с неприкрытым любопытством.

— Пригласи его на поединок, граф Гербод, — предложил Гударик. — И помни, что это большая честь для тебя. Ведь он князь, вот что. — Он расхохотался. Подобно многим германцам, он позволял себе быть бестактным, саркастичным, но приходил в ярость, когда его жертва отвечала тем же. Он не забыл замечания гунна насчет конюшни. Идея поставить в пару Этцеля и Гербода показалась ему забавной: бургунд был ростом почти семь футов.

Гербод сам почувствовал, что выбор не

вполне удачен, и что-то пробормотал о неравенстве, но наставник лишь пожал плечами:

— В настоящем сражении ты ведь не будешь выбирать себе партнера, верно?

— Тогда ладно, — без особого желания протянул бургунд, — хотя то, что ты называешь поединком, будет похоже на коня, отгоняющего комара.

— Комар, — очень спокойно произнес Этцель, — может пустить кровь коню, однако мне не доводилось видеть коня, который мог бы причинить вред комару. А я кое-что смыслю в лошадях.

Граф Гербод посмотрел на него сверху вниз.

— Кажется, мне предстоит узнать кое-что новое о комарах. Ладно, начнем. Попробуй разок.

— Тебе бы лучше поостеречься, Гербод, — с насмешкой заметил Хлодомер. — Эти племена едят сырое мясо.

— Чушь! — рассмеялся Ювенций. — Гербода невозможно переварить. Давай-ка, князь, доставай свой кухонный нож. Боже, да он острый! Придется побольше намотать на него лент. Вот так-то лучше. Как там твое копьё, Гербод?

— Все в порядке. Я им еще не сражался ни разу. Вообще-то это копьё предназначено лишь для тренировок.

— Готовы? — спросил Гударик. — Хорошо. Вы понимаете смысл поединка? Именно так и происходит в обычной жизни: два человека сражаются друг с другом, каждый тем оружием, какое у него есть. Следи за ними, Ювенций, а я

пойду посмотрю на тех двух кельтов. Они, как всегда, вошли в азарт.

Он зашагал прочь.

— Давай, комар! — захохотал Гербод, поднимая тяжелый деревянный щит и потрясая копьем.

Но Этцель оставался на месте. Он даже не поднял своего маленького кожаного щита. Ему было известно, что все эти люди лишь играют в поединок, вот почему они намотали ленты на его меч и на длинное копьё этого олуха. И поэтому происходящее не слишком его занимало.

— Видно, мне самому придется подойти к тебе, крошка, — усмехнулся Гербод, приближаясь. И когда подошел достаточно близко, замахнулся копьем и — пронзил воздух. Гунн же, казалось, не сдвинулся с места.

Бургунд быстро отступил и снова ринулся вперед, на этот раз с большей энергией. И снова копьё пронзило воздух, а гунн вроде бы и не шевелился. Гербод понял, что силой своей атаки ставит себя в опасную позицию — его правый бок открывался для удара противника. Он сделал дикий прыжок в сторону. Гунн не последовал за ним. Лицо его оставалось бесстрастным, напоминая желто-коричневую маску; он выглядел так, словно его вовсе и не касалось происходящее.

На какой-то момент бургунд удивленно замер, затем с криком бросился на противника в третий раз, выставив вперед щит, с бычьим напором, чтобы просто сбить коротышку с ног. Но его уже не было на прежнем месте. Гунн отпрянул в сторону в тот миг, когда столкновение

казалось неминуемым, и Гербод пролетел мимо, едва не врезавшись в Хлодомера.

— Ты куда это бежишь? — с ухмылкой поинтересовался франк.

Гербод сердито глянул на него и повернул назад. Гунн, как и прежде, стоял к нему лицом, сохраняя все тот же безучастный вид.

— Комары проворней лошадей, дружище, — засмеялся Ювенций.

— Я не считаю это поединком, — разозлился бургунд. — Парень просто пляшет вокруг.

— Да, но хорошо пляшет, Гербод. Ладно, сделай еще попытку... вот так...

На этот раз они столкнулись; к немалому удивлению Гербода, гунн сумел устоять. Гербоду показалось, будто он налетел на жесткий ствол дерева; его щит был задержан маленьким кожаным щитом гунна, а копье — кривым коротким мечом. Голова противника была ненамного выше сердца Гербода. Бургунд попытался оттолкнуть Этцеля назад, но не смог. Короткие ноги гунна, казалось, вросли в утрамбованную землю. И снова Гербод отскочил на несколько шагов назад.

«Этот парень глуп, — с презрением подумал Этцель. — Большой, как бык, а не умеет пользоваться своей силой. Ну ладно, в следующий раз...»

Но на этом его мысль оборвалась. Он стоял всего лишь в нескольких шагах от низкой террасы, с которой Лев следил за поединком. А по террасе шла богиня.

Она была совсем юной — не старше шестнадцати, и ее волосы цвета зрелого лесного

ореха подчеркивали матовую бледность кожи. Тонкий профиль заканчивался маленьким упрямым подбородком, хотя, возможно, впечатление это возникало из-за того, как гордо она держала голову. И, пожалуй, она не шла, а выступала, будто молодая лань, прекрасно сознающая свою грацию. Длинное золотое платье колыхалось вокруг стройных лодыжек, крошечные сандалии были инкрустированы жемчугом, плечи накрывал короткий плащ имперского пурпурного цвета. За ней следовали две девушки — одна совсем ребенок, другая — миловидное создание того же возраста, что и госпожа.

Этцель остолбенел. «Пастбище в цвету», — еле слышно выдохнул он. Прекрасную девушку, благородного коня, подвиг великого героя — все это гунны издревле называли «пастбище в цвету».

Он знал женщин с ранних лет. Не только своих жен — Пилай и Креку; длинноногие танцовщицы с Гадеса и Самофракии, нежные рабыни из многих стран, юные жены и дочери в покоренных городах — со многими из них он изведal сладость любовных утех.

Знал он женщин, одетых в звериные шкуры, пахнувших конским мясом и потом, скакавших на мохноногих лошадях не хуже любого воина из их племени, женщин желто-коричневых и грязных, которые рождали сыновей племени, и других, наряженных в шелка из далекого Китая, звеневших браслетами и ожерельями, источавших аромат цветов, таких нежных, что они боялись близко подойти к лошади; знал послушных ласковых рабынь и таких, что кри-

чали от гнева и их приходилось учить покорности.

Но если все те были женщинами, то эта, золотым облаком плывшая по террасе, казалась совсем иной, вовсе не похожей на других.

При виде женщин его всегда бросало в жар, кружилась голова, одолевал ненасытный голод — словно ты выпил вина и ничего не ел после этого. Но тут он почувствовал себя способным разорвать на клочки весь мир, только чтобы увидеть ее снова, чтобы просто увидеть, просто смотреть на нее. Как-то в детстве он поймал бабочку, красивую, с красными, синими, золотыми разводами, а когда прибежал показать ее Бледи и разжал руку, там оказалась лишь пыль, серая и коричневая, бесформенные обрывки крылышек. Наверно, то же может случиться и с богиней, если мужчина не захочет удовлетвориться простым ее лицезрением, мимолетным обожанием...

И в этот миг словно дерево обрушилось на него, он взлетел высоко вверх и увидел в воздухе собственные ноги, услышал оглушительный шум, земля под ним качнулась, поплыла, а потом ударила жестко и больно.

Его сознание на миг померкло, а когда прояснилось, богиня была первой, кого он увидел. Она остановилась и с сочувствием глядела на него.

Оглушительный шум не прекращался, это был смех, хохот многих мужских глоток, и смеялись они над ним.

Разумеется, он знал, что произошло: этот огромный бычина-бургунд воспользовался мо-

ментом, когда он отвлекся. Он пошарил глазами вокруг себя, не для того, чтобы посмотреть на смеявшихся над потомком Мундзука, а отыскивая свой меч. Вон он воткнулся в землю и еще слегка подрагивает. Его пальцы сомкнулись, он почувствовал ладонью прохладу и гладкость рукоятки, увидел, что ленточная обмотка на лезвии ослабла. Стряхнув ее совсем, он поцеловал металл. Человек должен всегда иметь при себе оружие. У него может не быть женщины, шатра, соплеменников и даже коня. Но оружие должно быть при нем.

Затем он повернул голову, медленно, очень медленно, и поглядел на смеявшихся мужчин.

Бургунд гоготал вместе с остальными, его огромное тело ходило ходуном, дрожало от веселья.

Лишь один человек понял, что сейчас произойдет, — Гударик, наставник, который только что разъединил двух кельтов и теперь поспешил сюда. Он увидел глаза Этцеля и заметил в них жажду крови.

— Эй вы, глядите в оба! — закричал он.

Его крик и атака Этцеля случились одновременно.

Гунн потерял свой щит, но это его не заботило. Он думал лишь об одном, и когда Гербод не слишком проворно выставил щит перед собой, тот был расколот надвое, а следующим ударом Этцель нанес глубокую рану в плечо бургунда. Тут вмешались полдюжины мужчин и среди них Гударик. Меч Этцеля вспыхивал, как синее пламя, встречая преграду; с быстро-

той молнии он описывал странные магические круги и полукружия.

— Прочь с моей дороги! — воскликнул Гударик. — Дайте я разоружу его!

В следующий миг гигант-германец отшатнулся назад, бессмысленными глазами глядя на левую руку, на которой теперь не хватало двух пальцев.

— Он сошел с ума!

— Убейте его! Убейте его!

Теперь их было человек двадцать, и все они наступали. Хлодомер старался поддержать Гербода, чтобы тот не упал, когда сам получил рубящий удар по шлему и рухнул, увлекая за собой Гербода. Однако многие из прибывших содрали обмотку со своих копий и мечей, и более дюжины рук уже тянулись к маленькому телу гунна.

— Немедленно остановитесь! — раздался громкий повелительный голос.

Все эти люди были воинами, все они побывали в битвах, и потому в них жило неколебимое уважение к дисциплине. Властные слова были произнесены человеком, привыкшим командовать повсюду, где бы он ни появлялся.

Копья, мечи, руки и тела застыли в неподвижности.

Даже Этцель, освободившись от натиска, повернул голову в направлении голоса. Его глаза, налитые кровью, потеряли ясность видения, но он сквозь красный туман разглядел все же мужчину, высокого и прямого, в длинном развевающемся одеянии. Оружия при нем не было. И этот человек отдавал краткие точные

приказы. Все бросили оружие. Подбежали савновники, был вызван лекарь.

Однако человек смотрел на него одного. Этцель усмехнулся.

— Они больше не гогочут, — хрипло произнес он.

— Тут не над чем смеяться, — сказал архидиакон Лев. — Несколько человек серьезно ранены. Ты нарушил мир, и это неправильно. Ты не христианин, я знаю. Но даже ты должен понимать, что это неправильно.

— Это неправильно, — подтвердил Этцель, — потому что их было слишком много. Но все прошло неплохо, пока шел бой. — Его взгляд устремился вверх. Но терраса уже была пуста.

— Ты мог бы убить кого-нибудь из них, — заметил Лев. — Слава Богу, этого не случилось.

— Да, — кивнул Этцель. — Одно это нехорошо.

Его глаза сверкнули так, что священник внутренне содрогнулся. Виду, однако, он не подал.

— Ты отомстил за себя, потому что был атакован, когда отвлекся. Но почему ты отвлекся? Ведь ты гунн, разве нет? А я-то считал, что гунны, сражаясь, думают о бое, а не о женщинах.

Яростно рыкнув, Этцель сильнее сжал свой меч. Пальцы его задвигались.

— Гунн или римлянин, — продолжал спокойно Лев, — мужчина должен уметь выслушивать правду.

Этцель смерил его долгим взглядом.

— Когда я сожгу этот город, — произнес он наконец, — пожалуй, я пощажу тебя.

Тут подошли воины с пиками под командой офицера высокого ранга, который сухим деловым тоном потребовал у гунна его меч. Во двореке находилось не меньше двухсот человек. Этцель увидел, что всех заложников уже увели прочь. Он позволил офицеру забрать меч и увести себя без дальнейших разговоров.

Лев вновь поднялся на террасу. Имелась ли хоть малейшая надежда, что такие вот дикари воспримут когда-нибудь слово Христово? Наверняка так должно случиться. «Ступайте и учите все народы». Но сомнений не оставалось, что дело это будет нелегким. Он спокойно взошел по ступеням, что вели к церкви. Пятью минутами позже перед сверкающей нарядными аудиториями, возглавляемой императрицей, юным императором и его красавицей сестрой, августой Гонорией, он уже произносил проповедь о граде Божиим.

Она была тщательно подготовлена, как и всегда, а это означало, что ему не требовалось никаких записей. Он умел держать в памяти ключевые выражения, наиболее важные фразы, вокруг которых мысли собирались, словно мотыльки вокруг пламени. И одновременно он всегда изучал лица слушающих, чтобы видеть, находят ли важнейшие положения проповеди отклик в их душах и какой. Если он видел, что его не понимают, то он или повторял мысль, или пояснял ее. Происшествие во внутреннем двореке он изгнал из памяти, когда сделал себе мысленно заметку, что

лучшим подходом к гунну может служить обращение к его воинской чести. В отличие от политиков церковь может взывать лишь к достоинствам человеческой природы. А их можно найти в любом человеке, если дать себе труд поискать внимательно.

Спокойно он продолжал закладывать одну крупницу правды за другой в мозги одетых в золото придворных, закованных в железо воинов, холеных имперских вельмож и накрашенных дам.

В восточном крыле дворца Хлодомер наткнулся на Ювенция, командира гвардии Палатина.

— Ну как, справились с гунном?

— Конечно. Стал кротким, словно агнец.

— Если уж он агнец, — усмехнулся франк, — то не хотел бы я встретиться с волком. Что, гунны все такие?

— Надеюсь, что нет, — развел руками Ювенций. — И вообще, сейчас он уже послушный.

— Да, послушный, как семь бешеных псов! Разве ты не видел, как сверкали его глаза, когда он бросился на беднягу Гербода? Волчьим огнем. Тебе сейчас хорошо стоять вот тут и смеяться, Ювенций. На тебя не падал верзила-бургунд. Клянусь Одним, у меня есть в этом кое-какой опыт. Как-то я был погребен под собственным конем целых три часа, когда мы сражались с аламанами лет пять назад. И думаю, что Гербод потяжелей. Так что ярость

гунна мне понятна. И еще я не верю, что может быть укрощенный гунн! И что его ждет дальше?

— Пока не знаю. Ведь он заложник, как тебе известно. Решать императрице или, по крайней мере, дворцовому распорядителю.

— Надеть цепи на его проклятые руки — вот что надо!

— Только после соответствующего приказа, Хлодомер. Пока что он и без них неопасен. Находится один, дверь заперта, часовой возле нее. К тому же он весь избит.

— Что ж, приятно слышать, — немного поутих франк. — Я не удивился, когда он кинулся на Гербода. Одного не могу понять: как это он прозевал грозившую ему атаку? Он же видит все на свете — глаза как у рыси.

— Вот он и увидел то, что не надо было видеть, — ослабился Ювенций. — В это время проходила наша горячо любимая маленькая Гонория и смотрела на поединок. На нее-то он и загляделся.

Хлодомер присвистнул.

— Гонория... Забавно! Этот маленький ядовитый жук и Гонория! Но ведь она даже и головы не повернет никогда...

— На тебя, что ли?

— Или на тебя. Да на всех.

— За исключением Евгения.

— Не будь глупцом. Только не на эту нелепую физиономию!

— Я не хотел сказать ничего плохого, — торопливо проговорил Ювенций. — Вполне естественно, что ему приходится видеться с ней чаще, чем нам, ведь он дворцовый распоряди-

тель. Но если бы пришлось выбирать между ним и этим звероподобным коротышкой-гунном, сделанным из конской шкуры...

— То она выбрала бы Ювенция! — рассмеялся Хлодомер.

— Хотелось бы, — вздохнул Ювенций. — К несчастью, ее выбор намного более широк. Или скорее наоборот, выбора нет вообще. Разве ты не слышал последнюю новость? Она скоро получит сан августы.

— А что это означает?

— Это означает, темнота, что она может выйти замуж только за монарха первого порядка — скажем, за великого царя Персии. А выйти за него она на самом деле не выйдет, потому что он не христианин. Практически она ни за кого не сможет выйти замуж.

Франк разинул рот от удивления.

— Но почему? Они что, не хотят, чтобы у нее был муж?

— Милый мой, это политика, которую нам не понять. Ну ладно, мне надо еще посмотреть, как там бедняги Гударик и Гербод и все остальные. Не думаю, что в ближайшем будущем мы снова сможем так же упражняться. Нам ведь не нужно новых дипломатических осложнений. Заложники теряют свою ценность, если становятся калеками. Как удачно, что тот священник вовремя вмешался!..

— Сегодня день сплошных неожиданностей, — произнес Хлодомер. — Кто когда видел, чтобы священник выступал в такой роли?

— Что ж, разве они не должны приносить мир, а?

Франк потряс длинной каштановой гривой.

— Прыгнул прямо с террасы во двор в своих длинных одеждах, кинулся в самую середину схватки и остановил ее буквально несколькими словами. Не говори, что каждый священник способен на такое. Я их знаю. Молиться, поститься, петь, произносить проповеди и принимать торжественный вид — это да. Но остановить кровавую драку, просто встав посередине и сказав свое слово... Знаешь, этому человеку можно дать под команду легион.

— Так ведь это новый архидиакон из Рима, да будет тебе известно. А предыдущий архидиакон стал папой.

— Ну и этот станет со временем, — великодушно произнес Хлодомер. — И все-таки мне кажется, что этому человеку нужно командовать легионом.

3

— Помоги мне выбраться из этих противных тряпок, — сказала Гонория. — Нет, не ты, Ирис. Пусть попробует Илдико. Она тоже должна знать, как это делается. Подойди сюда, детка, сначаланими плащ, вот пряжка — правильно, отдай ее Ирис. Теперь диадему — красивая, верно? Говорят, что сапфиры, которые вставлены в середине, находились в египетской короне, а это значит, что их, возможно, носила Клеопатра. Вообще-то я не очень люблю сапфиры, но эти совсем другое дело. — Она потянулась и зевнула. — Месса с проповедью, торжественный банкет с еще одной проповедью, которую

на этот раз произнесла мать. Можно подумать, что мать готовит меня в монахини, святые мученицы или еще того хуже. Теперь поскорей избавимся от платья, Илдико, моя овечка, раз — два — очень хорошо! Пошли! Чтоб провалились эти серьги, чтоб их фурии забрали — всегда цепляются и застревают!

— Фурия их и носит, — проворчала Ирис.

Илдико с выражением ужаса на лице оглянулась на Ирис — милovidную молоденькую придворную даму. Разумеется, Гонория не могла это услышать — голова ее все еще была закрыта складками тяжелого платья, но все равно, разве можно так говорить? Ирис заговорила подмигнула и поднесла палец к красивым чувственным губам. Она потеряла осторожность и понимала это. Илдико была новенькой, к тому же совсем еще ребенком, и ей ничего не стоило проговориться. А чувство юмора у Гонории было весьма ограниченным.

— Уф, наконец-то! — произнесла императорская сестра, выныривая из золотого одеяния. — Не утруждай себя, не складывай его, моя сладкая: рабыни о нем позаботятся. Им позволено прикасаться к моим одеждам, но не к моему телу. Таково одно из нелепых здешних правил — ты скоро привыкнешь к ним. А я вот никогда не привыкну.

Она стояла обнаженная, с естественной грацией языческой богини.

— Какая ты красивая! — Илдико всплеснула маленькими руками с безграничным восхищением и непосредственностью своего возраста. Ирис почтительно поддержала ее.

— Быстро из тебя получилась маленькая подлиза, — засмеялась Гонория. Она дотронулась длинным тонким указательным пальцем до подбородка Илдико и приподняла ее лицо. — Ты сама станешь очень красивой девушкой, когда немного подрастешь.

Сейчас Илдико была красивым ребенком с белой кожей, нежным румянцем, длинными волнистыми золотыми волосами и серьезными серыми глазами. Дочь какого-то вождя франков с непроизносимым именем. Странная идея матери — сделать придворной дамой такого ребенка. Но лучше уж эта восхищенная малявка, чем угодливые аристократки из Савии или земель этрусков, лстящие в глаза и предающие, не успеет она отвернуться. Конечно же, она не могла давать волю своему гневу в присутствии ребенка, и вероятно, это и было мотивом или одним из мотивов матери. Делая что-то, она обычно преследовала несколько целей, а не просто поступала так, как ей хотелось.

— Передай мне ту зеленую домашнюю тунуку, которую рабыни приготовили для меня. А сандалии я оставлю на ногах, и вообще, я терпеть не могу переодеваться по семнадцать раз на дню. Ирис, какие-нибудь слышала новости?

— Гвардия взбудоражена, — сообщила Ирис, — из-за того события, что произошло, когда мы направлялись в церковь. Серьезная получилась стычка. Шестеро заложников ранены, а вместе с ними и Гударик. Князь гуннов, затеявший все это, находится в одиночном

заклучении в восточном крыле. Бедняге Гер-
боду досталось больше всех.

— Мы сами все это видели, — фыркнула
принцесса, пожимая плечами. — Разве не так,
моя маленькая овечка?

— Я не смотрела, — ответила Илдико, со-
дрогнувшись.

— А тебе нужно было смотреть, — упрекну-
ла ее Гонория. — Нет смысла идти по жизни,
не зная, что происходит вокруг. Мужчины
всегда сражаются. И это была только игра.

Но Илдико изо всех сил затрясла маленькой
головкой.

— Нет, не игра. Я знаю, что не игра.

— А откуда ты знаешь, если не смотрела? —
воскликнула Ирис. — Ты солгала, мое сладкое
дитя.

Илдико замахала руками, словно ее ужали-
ли. Глаза ее вспыхнули, щеки заалели.

— Я никогда не лгу. Возьми свои слова
назад, Ирис. Я никогда не лгу!

— Ладно, ладно, не ссорьтесь. — Гонория
нежно погладила Илдико по голове.

— Я не смотрела в ту сторону, — настаивала
девочка. — Я слышала. Да еще Ирис сказала,
что шесть человек ранены. Ведь это не игра,
если людей ранят.

— Я не так в этом уверена. Тебе повезло,
Илдико, что отменили игры гладиаторов на
арене, когда они убивали друг друга целыми
гуртами.

— Или когда умирали мученики, — к обще-
му удивлению, сказала Илдико. — Я... я не
могла не вспомнить сегодня про них в церкви,

даже когда святой человек произносил проповедь, потому что... потому что...

Однако Гонория и Ирис вскричали со смехом:

— Какие мученики? Кого ты считаешь мучеником? Гербода или гунна? Ох, это просто комедия...

Илдико разразилась слезами и кинулась прочь. Она уже находилась на полпути к двери, когда Гонория крикнула ей:

— Стой! Вернись немедленно!

Девочка повиновалась.

— Разве так тебя учили вести себя? — сурово спросила Гонория. — Нельзя покидать императорскую особу, не спросив разрешения.

— Я... я виновата, — растерялась девочка.

«Она хорошенькая, даже когда плачет, — подумала Гонория. — И у нее не краснеет нос, как у Ирис».

— Ладно, можешь идти. И побереги свои слезы для... для святых великомучеников. Ладно, ладно, довольно. Я не сержусь на тебя. Ступай, дитя.

Когда та ушла, Гонория вздохнула:

— Бедняжка! Полагаю, что ей непросто привыкнуть к таким переменам. Ведь она еще не вышла из детского возраста.

— Слезливая глупышка, — пожалала плечами Ирис. — Мученики — скажите на милость!

Но Гонория не собиралась соглашаться с нею.

— Она необычный ребенок, Ирис. Возможно, так ее воспитали. Знаешь, она действительно любит молиться. Дважды я неожиданно вхо-

дила к ней в комнату и заставляла ее на коленях, вчера же, когда она в первый раз находилась при мне перед сном и я обучала ее всем полагающимся церемониям, она меня спросила, позволю ли я ей прочесть вместе со мной перед сном молитвы. И была ужасно разочарована, когда я рассмеялась и отослала ее прочь.

Ирис неловко заерзала.

— Слезливая маленькая притворщица, — раздраженно сказала она.

— Возможно. Хотя я не уверена. Посмотрим. — Невысокий белый лоб Гонории озабоченно наморщился. — Разумеется, я совсем по-другому отношусь к молитвам. Я не думаю, что следует обращаться к Богу с пустяками, если тебе не нужно чего-нибудь очень важного. Так не подобает делать.

— Конечно, — с готовностью поддержала ее Ирис. — Я ведь не стану приставать к тебе с каждой мелкой просьбой.

— Невероятная лесть, — насмешливо сощурила глаза Гонория. — Интересно, какая это у тебя появится «большая» просьба, умная ты моя. Ведь в тебе течет египетская кровь, разве нет, Ирис, дорогая?

— С материнской стороны — да, и она восходит к тем же истокам, что и твои сапфиры, о повелительница.

Ответ прозвучал неподобающе высокомерно, и Гонория нахмурилась.

— А твоим отцом был Цефегий — чистейший римлянин. Ну а твоя прапрапрабабушка — с материнской стороны — пыталась смешать свою кровь с римской, но результат получился

не слишком удачным, и ребенок довольно рано отправился в мир иной. Как видишь, результат не стоил усилий.

Они обе засмеялись, хотя Ирис слегка побледнела.

— Это было очень давно, августейшая повелительница.

— Ах, очень!.. — Гонория критически поглядела на себя в зеркало из полированного серебра. — Кстати, я даже рада, что маленькая овечка ушла к себе в комнату. Я... мне хочется немного прогуляться.

— Что? При свете дня?

— Ах, ничего опасного, не то, что ты подумала. Нам не потребуется переодеваться.

Ирис хихикнула.

— Никогда не забуду, как мы переоделись... ну, простыми девушками, и бедный старик Рутилиан обнаружил нас в дворцовом крыле у прислуги и выбросил вон...

— Да, и мы воспользовались этой возможностью и отправились в кабак. Боже, какие грубияны там оказались! Я никогда и не слышала таких слов прежде.

— Нам еще повезло, что они не проявили свою грубость по-другому. Если бы я не увела тебя, тот всадник ухитрился бы совершить покушение на августейшую особу...

— Я не хотела, чтобы он целовал меня. Он выпил слишком много дрянного вина. От него так и несло перегаром, да еще он был небрит. Ужасный мужлан! Кстати, о дикарях — мне хочется нанести визит тому коротышке-гунну.

— Потрясающее безумие! — воскликнула

Ирис. — Да каким же образом ты намерена это сделать? Ведь он опасен и...

— Чушь! Я хочу и пойду. К тому же он наверняка ранен, и мой долг навестить больного — так всегда говорит мать.

Ирис принялась размышлять вслух:

— Одиночное заключение в восточном крыле. Это означает, что придется иметь дело с графом Радиготом. Ну его-то мы всегда обведем вокруг пальца. А вот если наткнемся на императрицу...

— Не наткнемся. Все внимание матери занято сейчас совещаниями и прочими делами. Нечего раздумывать, пошли!

Коридоры, лестницы, опять коридоры, колоннады главного внутреннего двора, большой зал аудиенций, помещение для гвардии, ворота в сад, мимо маленького павильона — и вот перед ними дверь в восточное крыло. Не успели они пройти мимо часовых, как повстречались с командиром гвардии вестготов — графом Радиготом, семи футов роста, с бородой огромной ширины, каскадом ниспадающей на грудь.

— Ну, и кого я тут встречаю? — прогрехотал старый великан, отдавая приветствие, полагающееся императорскому пурпуру. — Ты случайно не заблудилась, августейшая Гонория?

— Я не вошь в твоей бороде, дядя, — засмеялась Гонория, очень ласково погладила дорогой орнамент на его доспехах и направилась дальше, не тратя времени на дальнейшие объяснения. Ирис семенила за ней, замирая от восторга.

— Я уверен, что ничего хорошего ты не задумала, — добродушно проворчал им вслед граф Радигот. Еще хорошо, что этого молодого шельмеца Ювенция нет поблизости, иначе хватило бы сплетен на всю ночь. Но что она могла затеять? Жилище слуг, несколько жалких узников, кухня — видимо, кухня. Девчонки любят поесть в самое неподходящее время, а во время обеда жеманятся и стесняются к чему-нибудь притронуться, чудачки.

Часовым возле помещений узников был нумидиец, полунагой, с огромными золотыми кольцами в ушах. Изобразив широкую улыбку, он поднес древко копыя ко лбу.

— Я желаю повидать гунна, — коротко сказала Гонория. — Открой мне.

Нумидиец повиновался.

— Ты останешься снаружи, Ирис.

— Но ведь...

— Делай как велено.

Дверь распахнулась. Она вошла внутрь.

Там на простом топчане сидел он. Красно-коричневая туника висела ключьями, открывая мускулистое, мощное тело, странное на вид, словно это было тело не человека, а скорее огромной медово-коричневой ящерицы. Он сидел к ней лицом, и она увидела, как он закрыл глаза, а потом открыл их снова. Это да еще что-то вроде тихого вздоха были единственными признаками удивления, которые он выказал. Затем легкая тень пробежала по его лицу, он молча встал и слегка поклонился.

— Я пришла посмотреть, как у тебя дела, — сказала Гонория. — Ты сильно ранен?

— Кто, кто ты? — хрипло спросил гунн.

Гонории даже не приходило в голову, что он может не знать, кто она такая. И разумеется, он пошел против всех правил, когда задал свой вопрос, не ответив на ее. Однако раз он не знал...

— Я императорская сестра Гонория.

Он немного поднял брови.

— Всего лишь императорская сестра, — произнес он. — А я думал, что богиня.

Она попыталась улыбнуться, но не смогла. Его слова звучали, как слова придворного, но тон, каким были сказаны эти слова... Как будто гунн вовсе и не намеревался льстить ей, а просто-напросто констатировал факт. И тогда она немного рассердилась на себя.

— Ты не ответил на мой вопрос, а вместо этого задал свой. Никому не позволено так делать, кроме моей матери.

— В моей стране я князь, — спокойно произнес Этцель. — Поэтому я равен тебе. Я мужчина и, следовательно, выше тебя. Но все же я отвечу на твой вопрос. Я не ранен. — Неожиданно он улыбнулся, показав очень белые крепкие зубы. — Но другие ранены — немного. Это ты виновата.

— Я виновата? — переспросила она, покраснев от негодования. — Как ты смеешь говорить мне подобные вещи! Что ты имеешь в виду?

Но она знала, что он имеет в виду, и вдруг почувствовала, что он догадывается об этом. О, это был самый наглый человек, каких она только встречала! Его следовало выпороть, четвер-

товать, убить немедленно. В какой-то миг она всерьез подумала, не кликнуть ли ей нумидийца, чтобы он проткнул копьем этого грубияна. Нет сомнения, что тот исполнит ее приказание. Мать, конечно, придет в ярость, но это не имело значения.

Он все еще улыбался, когда ответил:

— Ничего. Я написал свое имя на плече одного и на руке другого. Мы ставим клеймо на наши стада, чтобы все знали, что они принадлежат нам.

У Гонории от этих слов перехватило дыхание. Она услышала свой голос:

— Все гунны такие, как ты?

— На меня не похож никто, — бесстрастно заявил Этцель.

Она невольно рассмеялась.

— От скромности ты не умрешь, верно?

— Нет, — раздался вызывающий ответ. — Зачем?

— Ты, быть может, и князь, — сказала снисходительно Гонория, — но в настоящий момент ты заложник, а это не намного лучше, чем узник; узники же должны вести себя скромно.

— Какие глупые речи! — отрывисто возразил Этцель. — Я — это я. Я не был захвачен в плен на поле сражения. Великий хан Руа добровольно послал меня сюда. Он друг Рима и его союзник — в настоящий момент.

Она решила сесть, и он тут же последовал ее примеру. У нее почти не оставалось сомнений, что этот юноша — настоящий дикарь. И нельзя было ожидать, что он понимает свое положение.

— Расскажи мне, как ты жил там, откуда приехал?

Странно тяжелое желтовато-коричневое лицо слегка передернулось.

— Как мы живем? Мы не тратим времени на глупые игры и глупые разговоры. Мы скачем, стреляем и спим с женщинами. Мы живем.

Гонория задохнулась. Каким он был безобразным! Восхитительно безобразным! Широкие влажные ноздри, как у коня. Мускулы на руках словно вздутые. Он был человеком и все-таки не был им. Он обладал силой могучего зверя и гордыней демона. «Скачем, стреляем и спим с женщинами». Ее дыхание участилось, и она ощутила легкое головокружение.

— Мне пора, — с усилием произнесла она. — Мне сделать что-нибудь для тебя?

— Приходи еще, — сказал он, посмотрев ей прямо в глаза. Это прозвучало как приказ.

Она встала, а он продолжал сидеть.

— Возможно, я приду. — Ее голос задрожал. Она сделала последнее усилие. — Я отдам приказание, чтобы за тобой как следует смотрели. — Кивнув ему, она вышла.

Когда дверь захлопнулась за ней, Этцель вскочил на ноги, сделал два шага вперед, и руки его протянулись к чудесному видению, которое уже исчезло. Тяжкий стон родился и замер в его груди.

За дверью с облегчением вздохнула Ирис.

— Никто не проходил, — шепнула она.

Но принцесса не услышала, даже не обратила на нее никакого внимания, а просто прошла

мимо. Будто они пришли сюда не вместе. Что с ней такое?

Всю обратную дорогу Гонория не произнесла ни слова.

Возле маленького павильона они повстречали молодого Евгения. Главный дворцовый распорядитель склонился с почтением, его прекрасное, ангелоподобное лицо осветилось улыбкой, благодаря которой он пользовался большим успехом среди женщин двора. Он ждал, когда с ним заговорят.

Гонория взглянула на него, и Ирис заметила в ее глазах жестокую насмешку, почти граничащую с презрением; она небрежно кивнула, издала короткий смешок и, вскинув голову, удалилась, оставив обходительного молодого человека в состоянии крайнего потрясения.

Это очень удивило Ирис. Из всех молодых придворных Евгений был единственным, кого видела Гонория, для кого у нее всегда находилось и приветливое слово, и ласковая улыбка. Бывали даже моменты, когда можно было подумать... Что с ней такое случилось? И почему такое неестественное молчание, когда она вышла из комнаты этого чудовища? Святые великомученики и нимфы, а вдруг этот гунн напустил на нее порчу? Он прибыл из страны, где вовсю гуляют злые духи, это всем известно. А если она начнет болеть, слабеть, таять, становиться все бледней и бледней и кашлять кровью, как юная Деметрия, когда на нее наслала порчу соперница? Ирис решила внимательно наблюдать за принцессой и при необходимости сообщить обо всем императрице.

Подозрительным было и то, что Гонория почти не ела за ужином, а лишь рассеянноковыряла вилкой в тарелке и почти не участвовала в беседе. Раз только Ирис перехватила ее взгляд, направленный на красивое лицо юного императора, взгляд холодный и насмешливый. Персидский посол, сидевший рядом с Гонорией, надушенный и украшенный драгоценными камнями, напрасно старался привлечь ее внимание.

Она рано удалилась к себе, попросив Илдико помочь ей раздеться.

Девочка, краснея, извинилась за свое поведение в этот день и получила прощение, сопровождавшееся улыбкой.

— Ты умеешь хранить секреты? — спросила Гонория тихим голосом. — Можешь? Обещаешь? Ладно... Я навестила гунна в его заточении.

Илдико поглядела на нее почти с благоговением.

— Ах, как хорошо ты сделала, просто замечательно! — Она поцеловала полу шелковой ночной рубашки Гонории. — Я так и знала, что ты добрая, — заявила она. — Невозможно быть такой красивой и не быть доброй.

— Ты глупая девочка, — раздраженно сказала Гонория. — Я... ты мне нравишься. Мне бы хотелось, чтобы ты была не такой... э... Ну, ты хороший противовес к ней... к Ирис, во всяком случае. — Между ее бровей появилась маленькая прямая морщинка. — Я не лучше и не хуже, чем все остальные, как мне кажется.

— Ты добрая, — настаивала Илдико. — Посе-

щать узников хорошо. Ведь они так одиноки, и никто о них не заботится. И у них нет ничего, что они любят. Я знаю это.

— Отправляйся спать, — распорядилась Гонория, — пока я не рассердилась, маленькая глупышка. Ты такая милая. Спокойной ночи.

Она лениво зевнула, словно кошка, и повернулась на другой бок. Илдико на цыпочках вышла из комнаты.

Она, пожалуй, придет еще. И когда придет... У него снова появилась та же самая мысль. А мужчина не должен постоянно думать об одном и том же. Старая Будрул была права.

«Будь осторожен, князь Этцель, солнышко мое, будь осторожен; на твоей руке есть женщины. Женщины выгрызут сердце из твоей груди, если ты позволишь им это, они убьют тебя, если смогут. Оставь их, оставь! Верь старой Будрул — она-то знает».

Жива ли еще старая ведьма? Конечно, она была права. И конечно же, жива еще. Она всегда будет жить, беззубая и мудрая, каркая свои похвалы и предостережения. Мужчины из других племен будут приходить и выслушивать ее пророческие слова, мужчины, а не только женщины. Женщины, те готовы слушать кого угодно. Они глупы и доверчивы что тут, что дома. И какие только злые духи дают им власть воспламенять мужскую плоть? Вот если бы он мог сжать сейчас ногами бока коня и скакать, скакать, скакать, пока тот не упадет от изнеможения. Или еще раз броситься с мечом на кучку высокомерных верзил во дворе. А вместо этого

он узник, шесть шагов вперед, поворот, шесть шагов назад, поворот, шесть шагов вперед. Так не может продолжаться долго. Что-то непременно произойдет.

Но, что бы ни случилось, до чего же все-таки отрадно вспоминать, как они перепугались, эти верзилы! Эге, это было хорошо! Это было лучшее с тех самых пор, как он приехал со сладко пахнувшим глупцом Масурием сначала в Равенну, а потом сюда, в Аквилею. В Равенне ему нравилось только одно — болота. Стоячие воды, тростник, птицы — все как дома. Там можно лежать часами и вспоминать о приятном. Дважды все думали, что он убежал, потому что он не являлся вовремя к трапезе. Им было невдомек, что человек предпочитал пение птиц на болоте их назойливым голосам, облака над головой — позолоченным крышам, сколько бы они ни украшали их мозаикой из камней, чуткие повадки птиц и зверей — изысканным манерам римлян. Звери и птицы делали то, что им хотелось, римляне же — лишь то, что полагалось.

Равенна укреплена неплохо. Как и Аквилея. Римляне гордятся тем, как укрепили свои города. Однако стены, пусть даже самые мощные и высокие, не могут служить защитой без воинов, а их воины набраны из каких угодно стран под солнцем, за исключением их собственной. У него на родине нет стен, да и городов тоже. Гунн может разбить свой лагерь где угодно. Даже в Равенне. Даже в Аквилее, посреди императорского дворца. И он не намерен долго оставаться тут пленником. Хотя из дома не

было никаких вестей, никаких. Возможно, хан Руа умер и племенем правит Бледа, а про него все забыли, нарочно не вспоминают. Возможно, они собираются воевать с квадами, либо с маркоманами, либо с тюрингами, у них там битвы, почести, добыча, а он отошел для них в мир теней, мало кто о нем помнит, и все с презрением глядят на Пилай и Креку, которых считают вдовами, и на Эллака, растущего без отца. Шесть шагов вперед, поворот, шесть шагов назад.

Считается, что Пуру, бог войны, может одновременно находиться во многих местах и наслаждаться шумом битвы и на берегах Дуная, и на персидских рубежах, переносясь с одного места на другое с быстротой мысли. Вот бы хоть на один день обрести его силу и посмотреть, что они там делают, проскакать вместе с племенем и взглянуть на Эллака, да и на ребенка Креки тоже. Почувствовать ноздрями запах костров. Услышать песни женщин, умиротворяющих речных духов. А ночью полететь назад, в ее покои, прижаться губами к ее белоснежной шее.

Дверь... Кто-то отпирает дверь.

Он повернул лицо. Но это была не Гонория. Явился офицер гвардии Палатина, тот самый, что привел его сюда. За ним еще два офицера.

— Именем императора, — растягивая звуки, произнес Ювенций. — Расследование при- скорбного события, имевшего место два дня назад, завершилось. Решено не предавать его широкой огласке. Советники священной императорской особы пришли к единодушному

мнению, что дух военных игр чужд твоему народу и поэтому в будущем тебе надлежит воздерживаться от таких игр. Мы отведем тебе другие покои во дворце, более подходящие твоему рангу.

«Ханский суд справедлив — хвала хану», — подумал Этцель и спрятал презрительную усмешку.

«Проклятый дикарь! — подумал Ювенций. — Я мог бы с таким же успехом обращаться к куску желтой древесины». И он продолжил, немного резче:

— Одновременно считаю своим долгом предостеречь тебя, что все дальнейшие попытки насилия в пределах дворца лишат тебя преимуществ положения заложника и сделают подверженным полному действию закона. Теперь все.

Никакой реакции. Совершенно никакой.

— Следуй за мной, — сердито произнес Ювенций и вышел из помещения.

Встретившись в тот же день за обедом с Хлодомером, он дал волю своему возмущению:

— Надо было видеть этого гунна, отвратительную жабу, как он шел с нами, словно мы были почетной гвардией при его королевской особе.

— А разве это не так? — поинтересовался франк с самым невинным видом.

— Ну, будь так любезен, поверни голову чуть-чуть больше к окну, — попросил Стимпал. — Да, так лучше, намного лучше. Вот если

бы тебе удалось посидеть в этом положении какое-то время...

Этцель выглянул в окно. Насколько интересней смотреть на деревья в саду, чем созерцать дурацкую рожу художника-грека, глядевшего на него словно на зверя за железной решеткой, как в зверинце, устроенном ради удовлетворения любопытства жителей Аквилеи.

Он почти уже сожалел, что дал позволение на то, чтобы сделали его портрет. Почти. Не окончательно. Три дня назад тот самый Евгений, дворцовый распорядитель, вошел к нему, виляя бедрами словно танцовщица и благоухая духами еще больше Масурия, и привел с собой маленького грека. Это случилось почти сразу же после того, как его поместили в новые комнаты в другом крыле дворца, такие просторные, что коню потребовалось бы два прыжка, чтобы от одной стены добраться до другой.

— Это Стимпал, величайший художник нашего времени. Милостивая императрица выразила желание, чтобы он написал твой портрет, князь Этцель.

— Зачем?

Улыбка Евгения была такой фальшивой, что при виде ее начинало казаться, будто нюхашь гнилое мясо.

— Потому, князь Этцель, что наша всемилостивейшая императрица желает иметь у себя портреты всех великих правителей и князей мира. — Он начал перечислять имена и ранги. Их оказалось так много, что впору было составить племя из одних правителей и князей.

Этцель фыркнул.

— У вас их и так уже много.

Однако Евгений легко не сдавался.

— Быть может, ты хочешь поглядеть на искусство нашего выдающегося друга, князь Этцель? Покажи князю те картины, которые только что показывал мне, Стимпал.

Маленький грек повинился и вытащил две деревянные дощечки. На них были нарисованы головы хана Руа и Бледы. Сходство казалось невероятным — просто какое-то колдовство.

— Вот видишь, — торжествующе произнес Евгений, — мы не пожалели ни усилий, ни затрат. Стимпал был послан на берега Дуная, чтобы сделать эти картины. И, уж конечно, ты не захочешь исключить себя, ведь нам сказали, что ты обладаешь правом первородства.

Тогда он согласился.

Однако было очень скучно сидеть и терпеть на себе взгляд этого маленького человечка, похожего на испуганную мышь.

Сейчас ему пришлось позировать в третий и последний раз.

Снаружи, во дворе, опять шли эти игры-поединки, однако отсюда ему ничего не было видно — деревья загораживали обзор.

Раздалось шуршание и шум торопливо отодвигаемого стула. Он повернул голову. Художник вскочил и склонился в низком поклоне, а там... там была Она, сверкающий призрак, сплошь золото, серебро, драгоценные камни, а с ней две юные девушки — нет, девушка и ребенок. Она пришла снова. Но пришла не одна.

Он тоже медленно поднялся.

Те минуты, которые последовали, ему никогда потом не удавалось как следует вспомнить. Она говорила какие-то хвалебные слова о его комнатах, а маленькому греку — о картине. Что-то сказала о том, что навестила тех, кто был ранен во время недавней схватки. Пришедшая с ней девушка с улыбкой уставилась на него, а другая, ребенок, старалась держаться поодаль. Запомнилось только одно: Она подошла к окну и сделала вид, что куда-то смотрит. А затем прошептала: «Вот видишь, я вернулась», а он услышал собственный тихий голос: «В следующий раз я приду к тебе». И тогда Она посмотрела на него таким загадочным и пронзительным взглядом, что ему показалось, будто он прикоснулся к острию копья. Вновь прозвучали вежливые речи, платья зашуршали, и комната опустела. Осталась лишь испуганная мышь — художник. Тогда он ткнул перстом и сказал ему: «Ступай».

В следующие четыре дня он опять дважды виделся с Ней. Один раз — на пиршестве, на которое пригласили всех заложников. Бургунд тоже был там, громадный буйвол, а не человек, однако был он бледен и под роскошными одеяниями еще виднелись бинты. Они не столкнулись нос к носу — слишком уж много было за столом приглашенных.

Она сидела возле императрицы, и все женщины, бывшие в зале, казалось, лишь отражали ее красоту. Глаза их повстречались только один раз. Евгений все время занимал Ее, болтая, как обезьяна.

Во второй раз это случилось, когда он вер-

нулся домой с верховой прогулки вместе с несколькими работниками из имперских конюшен. Ее же в это время несли на паланкине в термы, и он так и не понял, видела Она его или нет.

Все произошло в ту ночь. Он основательно изучил дорогу и препятствия. Из своей комнаты он вышел через полчаса после того, как смолкли все шумы, — около полуночи, когда возле главного портала уже не разъезжали колесницы, а стража в маленькой башне сменилась в последний раз перед рассветом. Сам дворец, казалось, погрузился в сон.

До главного коридора он добрался без помех, а там страж стоял даже ночью. Этцель был одет в темную тунику, на ногах сандалии из гладкой кожи без каблуков. Луны не было. Он бесшумно скользил в тени стен.

Коридор. Страж, опершийся на копьё.

Этцель достал маленький камешек, который захватил с собой, и бросил его в угол бокового прохода, что вел в восточное крыло. Страж поднял голову. Если он предпочтет остаться на месте, нужно будет выждать несколько минут и бросить второй камешек.

Но тот зашевелился, позвякивая доспехами, и направился в боковой проход, чтобы посмотреть, что там происходит. Теперь можно было без труда проскользнуть вперед и спрятаться за тяжелой занавесью, что находилась в пятнадцати шагах впереди. И затихнуть. Страж вернулся, что-то пробормотал, огляделся по сторонам и успокоился.

Этцель стал пробираться дальше. Следую-

щим препятствием был ночной патруль из трех человек. Они начинали обход каждый раз, когда раб, стоявший у водяных часов в маленьком дворике возле зала для аудиенций, выкликал начало нового часа, и на это у них уходило минут двадцать. Скоро они уйдут, и тогда больше не останется препятствий вплоть до самого императорского крыла.

Он решил дождаться их здесь — в зале для аудиенций, куда рабы к ночи снесли стулья и лежаки, чтобы на рассвете можно было приниматься за уборку. К счастью, они не заперли двери. Он проскользнул внутрь и спрятался за грудой мебели. Через некоторое время появился патруль — три нумидийца с копьями и мечами. Они бесшумно ступали босыми ногами, чтобы не тревожить сон знатных вельмож и дам.

Прежде чем снова пуститься в путь, он выждал некоторое время и после того, как они закрыли за собой наружную дверь. До сей поры, если бы его обнаружили, он мог бы оправдываться тем, что заблудился. Но дальше это уже не подействует.

Новые коридоры. Впереди еще один сторожевой пост, как раз там, где начинаются покои придворных дам. Сменяется он каждый час. Четыре человека. Однако они тоже прохаживаются взад и вперед, что дает шанс. Вот они — осторожней! Бронзовая лампа, наполненная ароматическим маслом, рассеивала нежный синеватый свет, отражавшийся от их доспехов. Германцы. Все племена защищают сердце империи. Но если взять на себя труд изучить их

обычай достаточно пристально, можно придумать, как пробраться к этому сердцу.

И вот...

Он совершил молниеносный бросок и оказался в круглой зале с тремя коридорами. Средний вел в покои императрицы, другой — к юному императору. В конце этих коридоров стояло по пятьдесят стражей во главе с офицером высокого ранга, а вот в третьем не было никого, иначе все его старания оказались бы напрасными. Мягкие ковры. Тяжелые драпировки.

Наконец он узрел свою добычу.

Она спала, сердце империи, и она была ребенком — стройная, белокожая, хрупкая; ее руки лежали под щекой, а потоки каштановых прядей волной покрывали подушки.

Он тупо уставился на нее. Ребенок. Не богиня и не принцесса — ребенок. Он рисковал жизнью дюжину раз, чтобы пробраться сюда, и все ради того, чтобы обнаружить перед собой ребенка.

Она закричит, если проснется, и через миг вокруг него окажется настоящий муравейник, и муравьи растащат его по кусочкам, ему придет конец. Никому не позволено увидеть этого ребенка в его спальне и остаться в живых.

Но вот она... она проснулась! Он не издал ни шороха, но она проснулась. Глаза ее открылись. Она увидела. Она увидела его...

Она не кричит. Возможно, она думает, что ей снится сон.

Ему даже не хватило ума поднести палец к губам. Вместо этого он произнес:

— Я обещал прийти.

Она оставалась неподвижной. И думала, что не должна делать одного — садиться. Пока она не шевелится, как сейчас, все в порядке. Но если сядет, мир моментально разлетится вдребезги, грянет гром и засверкает молния. И все-таки она знала, что ей придется сесть, что ей даже хочется сесть, хочется этого больше всего в жизни.

— Безумец, — шепнула она. — Безумец!

Теперь в любой момент она может закричать, подумал он. Это был первый и единственный раз, когда женщина могла решить судьбу Этцеля, сына Мундзука, могла лишить его чести, достоинства и жизни. Он отдал право решать ей в руки. И от этого волна ужасной неконтролируемой ярости пробежала по его телу. Как было бы хорошо убить ее, растерзать, убить до того, как она закричит! И в этот момент она заговорила снова:

— Тебя увидят, если заглянут внутрь. Отойди от двери.

Лишь теперь он заметил, что до сих пор испуганно сжимает в руке плотный мягкий занавес. Отпустив его, он сделал шаг вперед.

— Ты такая разная, — сказал он хриплым голосом. — Богиня, принцесса, ребенок — и женщина. Кто же ты?

— Не знаю, — ответило загадочное создание, теперь полностью проснувшись. — Как ты пробрался мимо всей стражи? Ты никого ведь не убивал, а?

— Нет, — ответил Этцель, и на его лице вспыхнула улыбка. Он уловил перемену в ее голо-

се и глазах и инстинктивно понял, что это значит, почти так, как понимают собаки. Она ответила, что не знает, но все равно ответила на его вопрос.

Снова она поймала себя на мысли о том, как же он безобразен, прекрасно безобразен! От этой мысли по ее телу пробежала дрожь. «Приди, гром!» — подумала она. Потом приподнялась со своих подушек и ковров, откинула голову назад и засмеялась, как часто делала это во сне перед лицом страшной неминуемой опасности.

И тут же молния сверкнула, и гром пророкотал у нее в ушах, и смех ее прервался, когда жаркие яростные губы впились ей в шею, а властные железные лапы стиснули так сильно, что она не могла даже пошевелиться.

Конечно же, в древние времена так было на Крите, когда дев приносили в жертву священному быку. Старый Телесипп рассказывал ей про это. Ритуал имел символическое значение, говорил он, и все происходило по велению быка, который на самом деле был не бык и вообще не животное, а зодиакальный символ, и старые мудрые израэлиты знали про это и говорили о том периоде, как о «времени золотого тельца», знали это и египтяне, поклонявшиеся великому Апису в образе быка. А она всегда думала, что чувствует дева, которая оказалась во власти безобразного, сокрушительно мощного Минотавра, как она его успокаивает и убажывает, пока он не становится тихим и почти ручным. Почему-то она всегда была уверена, что

ей удалось бы играть с быком так, как захочется. Но теперь такая уверенность растаяла. Она столкнулась с чем-то окончательным. Все изменилось. Мир, так хорошо ей знакомый, оказался где-то далеко, а новый мир вокруг был странным, чуждым, и она ничего в нем не могла понять.

Несомненно, истории старого Телесиппа были абсолютно верны — Юпитер действительно похитил Европу из дворца ее царственного отца. Белый бык с золотыми рогами. Но хотя божество знало ее и читало ее самые сокровенные тайны, сама Европа не познала бога и не познала его мыслей.

Она ощущала жар и трепет его тела, его дыхание устремлялось ей на плечи подобно знойному ветру Африки; он был ей нужен, дороже и ближе всех на земле, и все-таки он был далек от нее, и возможности приблизиться к нему она не видела.

Что было ей делать? Что могла она сделать? Если она оставалась смертной, если не было моста между ней и богом, как могла она жить дальше?

— Расскажи мне что-нибудь, — шепнула она. — Я должна знать больше о твоей стране. Мне хочется почувствовать ее. Расскажи.

— Тут нечего особенно рассказывать... — Его голос звучал тихо и прерывисто, будто с большого расстояния. — Мы непохожи на вас. Мы простые. Когда говорим правду, то говорим ее, а если лжем, то лжем. Мы не грешим полуправдой-полуложью, не крутимся, не извиваемся, как вы тут.

Она задумалась над его словами. Но так ничего и не поняла.

— Откуда вы пришли? Я спрашивала мать, но она не знает, и тогда я спросила у персидского посла Гуламеша, и он ответил, что вы пришли с «крыши мира» или даже из еще более далеких краев. Что это за «крыша мира»? И что находится за ней?

Тихий смех.

— Персы знают все, почти все. Он прав — очень близок к истине.

— А ты сам видел ее, «крышу мира»?

— Нет, и хан Руа тоже не видел, и мой отец Мундзук. Это было очень давно, много-много весен назад, когда мой народ видел «крышу мира». Они тогда вели войну с Ки-таем, а тот народ живет дальше «крыши мира».

— Что ты знаешь про Ки-тай?

— Это люди, которые делают тончайший шелк, и твои купцы продают его здесь. Он привозится из Ки-тая через Индию и Персию в твою империю — по «шелковому пути», как и подобает шелку. Мои люди не ходят этим путем. Они одержали много побед в битвах, и тогда трусливый Ки-тай возвел стену вокруг своей страны, и это величайшая из стен, какие были и будут. Если всех людей в твоей империи согнать вместе и заставить строить и строить, они все равно не смогут построить стену подобную той и за сотню весен. Против моего народа они использовали коварство, натравливая одного хана на другого и подстрекая их на войну с соседями. Мои люди таяли будто снег под солнцем, пока не осталось лишь одно

племя, и Ки-тай преследовал его, пока оно не укрылось в долине, окруженной высочайшими горами в мире.

— Но ведь я видела высочайшие горы в мире, — серьезно сказала Гонория. — Между Италией, Рецией и Галлией. На их вершинах снег и лед не тают даже жарким летом.

Снова он засмеялся.

— Это просто кротовые холмики. Многие из нас их видели. Но это ничто по сравнению с «крышей мира», где настоящие горы начинаются там, где кончаются твои. Дыхание снежных богов наполняет воздух, и ни один человек не может дышать таким воздухом. А если он все же поднимется выше, чем позволяют боги, то кровь хлынет через его горло и нос и он задохнется и умрет. И все-таки мой народ обнаружил тропу в долину и остался в ней, а Ки-тай вернулся назад в свою страну, за великую стену. Но потом наше племя стало расти, множиться, и долина уже не могла всех вместить, уже не хватало еды, и старейшины поняли, что настало время возвращаться на плодородные равнины.

— И они сделали это?

— Не сумели. Никто не знал, где находится тропа, по которой наши предки пришли туда. Тысячи молодых воинов были посланы на поиски ее, но «крыша мира» одолела всех. Многие не вернулись назад. А нужда людей росла месяц за месяцем. Наконец племя решило пробиваться сквозь горы, чего бы это ни стоило. Стали рубить деревья в долине. Там было семь лесов, и в этой работе должны были участво-

вать все, каждый мужчина, ребенок, каждая женщина. Срубленные деревья складывали у подножия западной горы.

— Продолжай, — сказала Гонория полусонным голосом. — Я хочу услышать все до конца. Не останавливайся. Продолжай.

— Никогда никто не видывал такой широкой и высокой башни, как та, которую возвел мой народ, чтобы вырваться из голодной долины. И когда она была закончена и поднято на самый верх последнее дерево, старейшины подожгли ее.

— Подожгли?

— Она горела с таким жаром, что опалила всех. Мы отступили на восточный конец долины, и все-таки нестерпимое пекло настигало и там. Гора на западе раскалилась. В сердцевине у нее находилось железо, и жар деревянной башни заставил железо плавиться. На это и надеялись старейшины. Жидкое железо подточило гору, расколело ее и вылилось на другой стороне красным огненным потоком, который понесся вниз и хлынул на равнину.

Мы дождались, когда земля немного остынет. А потом сели на коней, все мы, и поскакали через образовавшуюся расщелину. Каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок племени прошел по тропе из красного железа. И с тех пор ничто не может остановить гуннов. А железо с тех пор считается у нас священным, и люди, которые плавят железо и делают из него мечи и наконечники для копий и стрел, высоко ценятся среди моего народа.

Казалось, что ветер ворвался в спальню с «крыши мира», в ней стало трудно дышать.

Гонория почувствовала, как его руки протянулись к ее телу и властно привлекли к себе. Жаркий рот обжигал ее шею, глаза, щеки, губы, и вновь она покорилась неистовой силе, горя и пылая так, словно внутри была наполнена расплавленным железом.

4

— Полководец Флавий Аэций, — объявил придворный.

— Пусть войдет.

Пройдя мимо согнувшегося в поклоне савонника, Аэций испытующе взгляделся в красивое бесстрастное лицо императрицы. Ее полные чувственные губы, казалось, сомкнулись навсегда, а подбородок был горделиво вздернут еще выше обычного.

«Я пока не прощен, — подумал Аэций. — В конце концов, Бонифаций был для нее не тем, кем для меня: не второразрядным воякой, пытавшимся пробраться на первоклассную позицию, он был ее любовником. А я убил его. Женщине нелегко пережить такое потрясение, даже если она волей судьбы императрица».

Но этот краткий эпизод гражданской войны случился уже достаточно давно. В нем, безусловно, был корень зла. Но не все зло. И он это понимал.

Пока совершался обмен знаками вежливости, которых требовал строгий придворный этикет, он продолжал разглядывать все еще пре-

красное женское лицо. Он не только не был прощен, но ярость императрицы, казалось, удвоилась. Вероятно, снова какие-нибудь сплетни. Ведь она женщина. Что ж, долго ждать ему не придется.

— Мы рады видеть тебя в Аквилее, — произнесла Плацидия ледяным тоном. — И мы с удовольствием отметили, что жители нашего доброго города, кажется, рады еще больше нас, судя по шуму, который раздается весь день...

— Простолюдины всегда ищут и находят возможность пошуметь по какому-нибудь поводу, — бесстрастно ответил Аэций, — пусть даже по такому незначительному поводу, как возвращение воина.

— Верно, — кивнула императрица. — Они кричали бы так же громко, если бы им довелось смотреть на твою казнь.

— Сброд, что с него возьмешь! — покладисто согласился Аэций. — Но не думаю, что мои воины тоже присоединились бы к ним, о великая императрица.

Он знал, что теперь, после ответного выпада, напряженность на аудиенции возрастет. И был готов к этому. Отряд телохранителей в количестве шести тысяч человек давал шанс против любой блажи, на которую способна разъяренная женщина.

— Твои воины, — повторила императрица.

— Солдатский язык, о великая, — улыбнулся Аэций. — Верность императорскому дому твоего покорного слуги, а также вверенных под его начало воинов и военачальников находится вне сомнений, как я надеюсь.

— Я тоже на это надеюсь, — ответила всем же ледяным тоном Платидия. — Однако нахожу достойным сожаления, что люди, кажется, превращают в событие государственного масштаба то, что могло бы быть частной аудиенцией. Ведь не с триумфом же ты возвращаешься, Аэций, хотя, посмотрев на улицы Аквилеи, именно это и можно подумать.

— Если я не возвращаюсь с триумфом, — прозвучал спокойный ответ, — то просто потому, что не было войны. Как видевший много сражений солдат, дело которого защищать свою страну, считаю, что нам следует быть благодарными за это судьбе.

— Хотелось бы мне, чтобы ты всегда так думал, — почти беззвучно произнесла Платидия.

— К несчастью, — продолжил он, — жизнь в будущем грозит стать не такой мирной, как сейчас.

Она подняла голову.

— Я к этому подхожу. Такова главная причина, почему я пожелала услышать персональный доклад о ситуации. Нас информировали, что багауды замышляют новые беспорядки и что на этот раз одна из чужеземных стран весьма заинтересована в новом их мятеже.

— Совершенно верно, — кивнул Аэций. — Багауды — мятежники по своей натуре и даже по имени: само слово «багад» означает шумное собрание; а после шумных собраний и начинаются обычно беспорядки. Крестьянин в Галлии будет последним человеком, который может пойти на такое: у него слишком хорошие

мозги, чтобы предаваться массовой истерии. Но при этом он легко возбудим и всегда готов слушать кого-нибудь, кто осыпает его обещаниями, даже если будет понимать, что сдержать эти обещания невозможно. Это вроде болезни, как мне кажется. Сто пятьдесят лет назад у них действительно имелись основания для жалоб — к галльской знати в то время принадлежали тупые и нетерпимые люди, настаивавшие на каких-то устаревших привилегиях, а налоги были суровыми. Теперь же все по-другому. Налоги высоки, но не непосильны, а знать научилась сдерживать свои порывы. Но вот крестьяне там ведут торговлю с городами, малыми и большими, и их весьма привлекает городская жизнь. Они больше не хотят целыми днями горбатиться, обрабатывая землю, а предпочитают болтаться в городах, играть в кости, смотреть игры и чтобы кто-нибудь другой готовил для них пищу. И все же есть народ, заинтересованный в том, чтобы недовольство багаудов вспыхнуло и переросло в открытый мятеж. Тут чувствуется рука вестготов. Мне жаль говорить это, но им не помешает основательная взбучка, пока все не зашло слишком далеко.

Императрица вздохнула.

— Я так надеялась, что по крайней мере эта часть империи будет сохранять мир, Аэций. Надеялась, что твое имя предотвратит волнения.

Он пожал плечами.

— Я только полководец, имеющий под началом войско, о великая императрица. И могу

быть завтра отозван. И я не способен разговаривать на равных с королем вестготов.

Он выждал, однако Плацидия предпочла не клеветать на наживку.

В его голосе звучала нотка легкого раздражения, когда он продолжил:

— Великая императрица понимает, что в такой ситуации помощь дополнительных сил приобретает особое значение. Моя политика в отношении гуннов в прошлом зачастую неправильно истолковывалась...

— Я предпочитаю, — сказала Плацидия, — чтобы в Западной империи была только одна политика — моя, пока император не войдет в возраст.

— Разумеется, — поклонился Аэций.

— Союзники-гунны были призваны, но от чьего имени? Впрочем, пусть будет так — пока. Завтра днем я намерена созвать своих военных советников для обсуждения возможности войны против вестготов. И прошу тебя сообщить о своем видении ситуации.

— Ситуация, как я ее вижу, о великая, почти безнадежна, если не призвать на помощь гуннов.

— У тебя будет достаточно времени, чтобы объяснить это военному совету.

— На моем пути сюда, — сказал Аэций, — я услышал важную новость. Будет ли мне позволено засвидетельствовать свое почтение новой августе — благородной Гонории?

Глаза императрицы сузились.

— Это чисто внутрисемейные дела, — сказа-

ла она. — А августа Гонория сейчас в Равенне. Я не жду ее назад раньше завтрашнего дня.

Аэций прокашлялся.

— Это семейное дело, только когда смотришь в одном аспекте, если великая императрица позволит мне сказать. Титул августы ставит благородную Гонорию вне досягаемости даже для поклонника королевской крови, не говоря уж...

— Не говоря уж о надеждах сверхчестолюбивого полководца. Да, я полностью отдаю себе в этом отчет, Аэций. Впрочем, я ни на миг не поверю, что такие безумные надежды мог питать кто-то, у кого кровь не...

Их глаза скрестились будто мечи.

— История знает примеры, — очень медленно произнес Аэций, — когда королевская и даже императорская кровь смешивалась с кровью скромного человека, добившегося выдающихся успехов на военном поприще, которые послужили делу укрепления империи.

— Выдающиеся успехи на военном поприще могут быть продемонстрированы лишь на войне, — ответила Платидия так же медленно. — А мы еще не воюем — пока.

— Раньше или позже, — сказал Аэций своим искренним — «я-лишь-простой-воин» — тоном, который не раз обманывал многих из его политических оппонентов, — ты поймешь, о великая, что в империи есть всего двое настоящих мужчин и даже из этих двоих один находится слишком далеко от тебя...

— Уж не себя ли ты имеешь в виду, а?

— Я имею в виду архидиакона Льва. Пола-

гаю весьма вероятным, что он в один прекрасный день поднимется на трон Святого Петра. Но на какой бы трон он ни поднялся, он все равно останется человеком, с которым следует считаться. Он обладает величием, а это, о великая, редкое качество в мужчине. Способные, умные, старательные мужчины, талантливые организаторы, выдающиеся полководцы на поле брани, хорошие политики, даже независимо мыслящие, — не такая пока еще редкость. Но вот величие означает нечто большее, что-то вроде колдовства. Означает способность концентрироваться на деталях, ни на миг не утрачивая целого во всей его сложности.

— К уроку о величии, — сухо сказала императрица. — Я согласна с тобой насчет архидиакона Льва. Он нанес нам визит три месяца назад, и он именно таков, как ты и говоришь, пожалуй, даже больше. Другой же великий человек, разумеется, полководец Флавий Аэций. И нам дается понять, что мы не ценим его по достоинству. Вероятно, это так и, возможно, так будет не всегда. Однако, Аэций, существует нечто, с чем тебе придется смириться: что Господь дал женщине ум так же, как и мужчине. Даже тот факт, что женщины всегда держались в подчинении у мужчин, много веков, не мешает женщине обладать величием. Я знаю, как тебе трудно понять это. Но у тебя выбор таков: либо понять это и подчиниться, либо слепо подчиниться. Я правительница. И я вознаграждаю тех, кто мне служит, по справедливости, а не по прихоти и даже не по соображениям целесообразности или выгоды. И лишь выдаю-

щиеся услуги могут претендовать на выдающееся вознаграждение.

Она повернулась к своему изящному письменному столу, инкрустированному черепашим панцирем, где лежал пергаментный свиток, скрепленный тяжелой печатью.

— Вот документ, который делает тебя патрицием Флавием Аэцием, — сказала она.

Это была высочайшая милость, на какую мог рассчитывать человек, не принадлежащий к императорской фамилии, она несла с собой множество привилегий.

Аэций против воли почувствовал радость, когда принимал драгоценный свиток. Ему всегда хотелось стать патрицием, и вот теперь это желание сбылось. Разумеется, он понимал, что Плацидия ведет собственную игру и ведет ее хорошо. Она нравилась ему за это, он даже восхищался ею. Она поняла, что в действительности альтернатива, касавшаяся Аэция, могла бы звучать так: или надеть золотую цепь на шею, или железные цепи на руки — и, выбрав первое, а не второе, она доказала, что считает его услуги важными для себя. Она видела далеко вперед. Сейчас для него поднять серьезный мятеж было ну если не невозможно, то по крайней мере довольно трудно. Теперь Плацидия сможет говорить о том, что осыпала его милостями, и тогда кажущаяся неблагодарность его действий повернет общественное мнение в ее пользу. Он не надеялся всерьез, что она сможет считать его достойным избранником для Гонории — во всяком случае, не на этой стадии. Ему хотелось лишь поселить

такую мысль в ее сознание, и это ему удалось. Конечно, не было сомнений, что принцессу сделали августой, чтобы никто не смел рассматривать себя в качестве ее потенциального избранника. Но ведь наверняка она не намеревалась заставить бедняжку всю свою жизнь оставаться без мужа! Нет, Гонория была наградой в руках Плацидии — и ее надо было заработать. Императрица сама намекнула на это. Возможно, она и думала, что может поманить такой наградой не одного мужчину, но ведь ясно видно, что рядом нет другого человека, который мог бы оказаться опасным для Флавия Аэция — для патриция Флавия Аэция, прошу прощения.

— Я весьма признателен великой императрице, — произнес он. — Если я и попытался рассказать что-то про теорию величия, то получил очень быстрый ответ на практике. Человек может учиться даже в моем возрасте.

Плацидия улыбнулась; она протянула Аэцию руку для поцелуя и проводила его взглядом до двери. Теперь она была в безопасности и понимала это. Мужчины всегда должны иметь перед собой что-то, ради чего им стоит стараться, — им надо показать цель, дать возможность на что-то надеяться. И лучше уж показать Аэцию цель, чем предоставить ему самому устремиться на поиски цели. Он не такой глупец, чтобы не отдать предпочтение легальному получению статуса императора, а не добиваться его при помощи мятежа.

Гонория молода. Горопиться некуда. Пока что она своенравное дитя, не более того. И

пока в ней не видно даже зачатков политических амбиций. Она приняла титул августы так, как приняла бы еще одно платье или новую лошадь. Она не подозревает о действительной подоплеке всего этого. Тем лучше. Нужно ждать и следить за ее развитием. Но если отдать ее мужчине вроде Аэция — сильному и решительному, то это может стать губительным для Валентиниана. Даже сейчас между братом и сестрой не заметно особой любви. Она все время поддразнивает его по своему легкомыслию, а он невероятно чувствителен. Хорошо говорить, что Гонории следовало бы родиться мальчиком, а ему девочкой — император-то Валентиниан, а не Гонория. Против нее одной он еще сможет выстоять, даже если в ней и пробудятся политические амбиции. Если же она выступит совместно с Аэцием, то Валентиниан пропал — тогда рядом уже не будет императрицы Платидии...

Пока же все это чистой воды фантазии. Или она обманывает себя? Ведь были люди, говорившие, что она поощряет слабость в характере сына, чтобы держать бразды правления в собственных руках. Но это вовсе не так. Во всяком случае, не вполне так. Ей нравилось, что он не вмешивается в дела, это верно. Но ведь у него действительно слабый характер. И никакие суровые военные упражнения не изменят его на сильный. Просто ей станет трудней им управлять. А слабый император с сильной матерью-императрицей за его спиной полезней для империи, чем своевольный, но неспособный император, который не будет слушать ее советов.

Рядом не было никого, с кем она могла бы поделиться своими мыслями, ни единой души. «В твоей империи есть только двое мужчин...» Пожалуй, Аэций в этом и прав. Но Плацидия была одна.

— Да, Евгений?

Молодой придворный согнулся в поклоне.

— Великая императрица велела мне сообщить о продвижении работы над большой картиной, изображающей нашего всемилостивейшего императора правителем всей земли.

— Ну?

— Художник Стимпал только что закончил работу.

— Прекрасно. Распорядись, чтобы картину внесли в зал приемов. Я приду посмотреть на работу, как только выкрою время. Возможно, вечером. Пока не знаю.

Евгений удалился.

Картина. Конечно, она постарается, чтобы присутствовал и Аэций, когда она придет ее посмотреть. Он достаточно тонок, чтобы понять намек. Валентиниан был на картине центральной фигурой, он восседал на троне Западного мира. Сама она стояла за тронем, и Гонория тоже, а правители и вожди всех народов подходили и склонялись перед его величием. Да, Аэцию нужно на нее посмотреть. Как это он сказал? Человек может учиться даже в его возрасте...

Этцель вернулся с верховой прогулки; теперь он ждал, притулившись на своем диване, словно большая неуклюжая птица, молчаливо

и в то же время сгорая от нетерпения. Верховая езда шла ему на пользу, как и всегда, особенно после того, как его тюремщики отказались от обычая посылать с ним охрану. Он пришел домой поздно... через час после заката. Однако стражники на малой башне, охранявшие вход в дворцовый сад, даже не потрудились прервать игру в кости, а офицер, стоявший на часах в дворцовом крыле, лишь улыбнулся. Видимо, все это было делом *ее* рук.

Она вернулась из Равенны сегодня вечером, он это знал. Он видел, как ее лошадей вели на конюшню два часа назад. Однако красное перышко еще не было подсунуто ему под дверь, и он не знал, ждет она его сегодня ночью или нет. Он не мог пойти к ней без красного пера... без ее сигнала о том, что путь свободен. Это можно было делать иногда — не часто. Пять дней назад он был там в последний раз; потом ей пришлось поехать в Равенну. Почему-то он знал, что сегодня она вернется, еще задолго до того, как увидел ее лошадей. И вполне естественно, что пока от нее нет весточки. Сегодня вечером был пир — он слышал музыку, когда ветер дул с запада.

Да, он знал, что она вернется. Во время своей прогулки знал об этом, как всегда знал о таких вещах. Описать это невозможно. Воздух казался другим. Грива коня сыпала искрами, когда он проводил по ней ладонью.

Внезапно его тело напряглось. За дверью кто-то скребся. Это не могла быть долгожданная весточка; обычно она посылала раба, который бесшумно подсовывал маленькое красное

перышко под дверь и шел дальше. И вот дверь открылась.

В комнату вошел маленький худой человек, остановился, неловко переминаясь с ноги на ногу и уставясь на Этцеля небольшими раскосыми глазами. Одет он был в коричневую туннику без рукавов с широким кожаным поясом, к которому был прикреплен длинный кривой кинжал.

— Закрой дверь, Цигур, — произнес Этцель, когда пришел в себя.

Лицо Цигура расплылось в радостной улыбке. Он повиновался, а затем бросился на колени и поцеловал ноги господина.

— Я приветствую князя, — хрипло произнес он, сотрясаясь от радостного смеха. — Я приветствую князя. Эге, как хорошо это говорить!

Этцель ответил ему лишь тенью улыбки. Этикет не позволял большего. Однако он тоже необычайно обрадовался. Ведь к нему пришел не просто человек из его племени, а Цигур, его верный слуга, телохранитель, оружейник. Одним богам известно, сколько тот уже был в пути, однако казалось, он принес с собой запах равнины, такой широкой, что копыта самой быстрой лошади не могли одолеть ее за три дня, а то и больше. Ноздри Этцеля затрепетали. Какой бы ни была весть, которую сообщит ему Цигур, как хорошо, что именно он прибыл с ней сюда!

— Говори, Цигур.

Маленький человечек тяжело вздохнул.

— Видеть князя такая же радость, как увидеть самую лучшую лошадь после того, как

посчитаешь, что она потерялась. Видеть князя такая же радость, как увидеть лучший лук...

— Когда ты уехал из дома, Цигур?

— С той поры луна два раза была полной, князь. Я был послан ханом к римскому вождю Аэцию.

Этцель кивнул

— Я помню его, продолжай. — Сколько месяцев он проклинал это имя каждую ночь! Именно из-за Аэция он стал заложником.

— Я был послан к нему вместе с другими сородичами, чтобы забрать золото, причитающееся хану к празднику конской богини, — продолжал Цигур. — Он отдал золото, и остальные вернулись с ним. А я... Я подумал о князе, которому служу, которому служил всю жизнь и кого учил играть мечом и луком, учил, как ребро коня должно гнуться под ногой всадника, и я спросил у римлянина, могу ли я посмотреть на малые и большие города империи, о которых говорят, будто выстроены они из золотого кирпича, а улицы в них вымощены серебром. И он рассмеялся и дал мне позволение поехать вместе с ним, потому что сам собирался посетить императрицу.

И снова Этцель кивнул.

— Значит, он здесь. Мне никто об этом не сказал. Продолжай. Как там хан?

Цигур воздел руки, изображая сомнение.

— Хан стар, князь, и Будрул говорит, что он не увидит новой зимы.

— Я слушаю твой рассказ, — отрывисто сказал Этцель, — а не болтовню старухи. — И все же он знал, что Будрул права, как всегда. Зна-

чит, она жива. А хан Руа умрет. — Князь Бледа?

— У князя все в порядке.

Наступила пауза.

— Племя не забыло о тебе, князь, — горячо зашептал Цигур. — Я разговаривал со многими — они говорят, что смех умер с тех пор, как уехал князь Этцель, и что их оружие просится в битву и просится напрасно. Они говорят, что ноги и хвост — еще не лошадь, если нет головы. Некоторые говорят это открыто, в присутствии хана и князя Бледы. Они говорят...

Нетерпеливый жест прервал поток его красноречия.

— Как Крека, Цигур?

Маленький гунн просиял.

— Твой второй сын сядет на коня еще до того, как выпадет первый снег, князь. Его мать ждет тебя, чтобы выбрать ему имя. И Пилай с Эллаком тоже живут неплохо. А Эллак убил своего первого волка *одной* стрелой.

На этот раз Этцель рассмеялся открыто, показывая все свои крепкие белые зубы. Но улыбка вдруг застыла на его лице, и Цигур заметил новое выражение в его глазах — блеск восторга и триумфа. Коленопреклоненный, он не мог видеть то, что увидел Этцель, — крошечное красное перышко на полу возле двери.

— Это хорошо, Цигур, — произнес Этцель со вздохом.

Но коротышка-гунн еще не закончил свой рассказ.

— Люди устали на римской службе, — прошептал он. — Большинство из них предпочли

бы вернуться домой. Все, что им нужно, это мужчина, в жилах которого течет кровь вождя, чтобы он воззвал к ним. И племя тоже ждет младшего князя. Соразги украли много скота, хан Руа слишком стар, чтобы повести своих людей против них. А князь Бледа всегда медлит. Сейчас хороший момент, князь.

Она ждала его. Цигур был прав — момент был подходящим по многим причинам. Несколько месяцев назад он, не колеблясь, решился бы на это. За ним почти не следили, на него вообще едва обращали внимание. Можно исчезнуть и далеко ускакать на коне, прежде чем кто-то соберется в погоню. А возможно, что его и вовсе не станут преследовать, ведь он был тут из-за Аэция, а не по воле императрицы, и ходили слухи, что императрица не одобряет личное войско Аэция. Но сейчас его ждала Гонория.

А Цигур высказывал собственное мнение:

— Сегодня хорошая ночь, князь, а там, где я остановился, есть кони — хорошие кони. И я знаю дорогу. Через десять дней уже могут состояться скачки в честь возвращения князя.

Этцель вскочил на ноги.

— Не сегодня, — отрывисто сказал он.

Цигур тоже поднялся на ноги.

— Не знаю, сколько тут еще пробудет римлянин, — с беспокойством произнес он. — Вдруг мне завтра придется ехать с ним. Сегодня хорошая ночь, князь, а завтра может быть слишком поздно.

Этцель топнул ногой.

— Не сегодня, — повторил он хриплым голосом. — Я не могу ехать сегодня. Теперь ступай, Цигур.

Маленький гунн тяжело вздохнул.

— Я собака князя, — сказал он. — Разве собака не может остаться с хозяином?

Этцель заколебался.

— Тогда оставайся, — разрешил он немного погодя. — И спи. — Подбрав красное перышко, он вышел из комнаты.

Было уже поздно, но музыка все еще доносилась издалека, из пиршественного зала. Видимо, Гонория вернулась раньше, подумал он.

Он двигался без особых предосторожностей. Не было нужды опасаться стражей и патруля, раз в его комнату брошено красное перышко. Либо стражей не будет совсем, либо они не обратят на него внимания. А вот путь его был точно таким же, что и в первый раз. За несколько минут он добрался до зала приемов и, войдя в него, сразу заметил, что там что-то изменилось. Исчезли сверкающие золотом панели на другом конце огромного зала или, во всяком случае, большая их часть. В чем дело?

Внезапно он споткнулся и едва не упал. В лунном свете он заметил толстую веревку, перегораживающую ему дорогу к двери.

Потом он разглядел перед собой лица, много лиц, прямо в середине большой прямоугольной стены. Конечно же, этого не могло быть, просто лунный свет обманывал его. Но вот луна полностью вынырнула из облака, и он увидел... собственное лицо!

Он отпрянул назад. Он знал, как знал любой гунн, что нет ничего хуже, чем встретить своего двойника. Это означало смерть еще до новой луны.

Свет, ему нужен свет! Он вспомнил, что при входе в зал в левом шкафу хранятся факелы. Ими иногда пользовались рабы, когда убирались ранним утром. Пробравшись к шкафу, в котором действительно в ряд стояла дюжина факелов, он взял один из них, зажег его от маленького огонька лампадки и вернулся в зал.

И он увидел: огромная прямоугольная картина занимала почти половину ширины зала. В самом ее центре величественно восседал на троне юный император Валентиниан в полном императорском облачении, с пурпурным плащом до пят. Рядом с троном, горделиво вскинув голову, стояла императрица Плацидия, с другой стороны от императора стояла она — принцесса Гонория, ослепительно красивая и настолько живая, что, казалось, она вот-вот сойдет с картины и заговорит. Но ведь он при свете луны видел собственное лицо. Он не мог ошибиться. Немного опустив факел, Этцель увидел целую толпу мужчин — их было так много, что нельзя было охватить взглядом всех сразу. Одеты они были по-разному — некоторые на манер бургундов, вестготов и рипуарских франков, другие — как африканцы, кое-кто так, как он никогда и не видел. Но у всех на голове были короны или диадемы, и все преклоняли колена перед юным императором. А вот, вот и он сам! А рядом с ним хан Руа, а с другой

стороны Бледа — тоже коленопреклоненные, с руками, воздетыми с рабской мольбой.

Внезапно его озарило: так вот почему этот мышонок-художник работал над его, Этцеля, портретом, вот зачем того посылали к хану Руа и Бледе — чтобы потом перенести их облик на эту огромную картину, прославляющую власть императора над всем миром...

Рим правит один, все остальные народы — его рабы. Так говорила картина.

Рим действительно поработил много народов, но только не гуннов. Ни один римский император никогда не побеждал гуннов в сражении, не говоря уж о том, чтобы покорить их. Эта картина была обманом, предательством, грязной ложью. И они собирались показывать ее, чтобы все видели эту ложь, как великий хан и его преемники пресмыкаются в пыли перед римской мощью.

Он издал тихий рык, хриплый и горловой, похожий на кашель. От факела, задрожавшего в его руке, фигуры на картине заплясали. Кровь прихлынула к голове Этцеля, в глазах его потемнело, воздуха не хватало. В приступе ярости он размахнулся, собираясь швырнуть факел туда, в это нарисованное бесчестье, чтобы сжечь и его, и зал, да и весь дворец вместе с ними.

Но внезапно рука его замерла. Казалось, будто чья-то воля, более могущественная, чем его, остановила порыв. Кровь отхлынула от мозга. Он снова приподнял факел и долгим внимательным взглядом запечатлел то, чего, он

знал, никогда не забудет. Потом круто повернулся и направился к шкафу, где и загасил факел. Пальцы его уже не дрожали.

Спокойно вернулся он в свою комнату. Цигур, тут же проснувшись, вскочил на ноги.

— Ты был прав, Цигур, — произнес Этцель с ледяным спокойствием. — Ночь подходящая. И момент хороший. Где там твои кони?

— Эй, Ювенций!

— Что тебе, Хлодомер?

— Есть какие новости — про гунна, я имею в виду?

Молодой римлянин нахмурился.

— Нет ничего. А что?

Хлодомер смерил его испытующим взглядом.

— Ну, в конце концов, прошло пять дней с тех пор, как он исчез, разве нет?

— Я не считал. Насколько мне известно, его уже могли поймать к этому времени. Человек не может раствориться в воздухе. Уверен, что его найдут рано или поздно.

— Может, да, а может, и нет, — усмехнулся франк. — Догадываюсь, что ты уже отправил известие в пограничные гарнизоны, верно? Но ведь гунн может ускакать на коне от кого угодно в этом мире. Это верно, что он украл коня? Хорошего?

— Он украл не меньше шести коней, — ответил Ювенций с раздражением. — Но только не из наших конюшен. Они принадлежали Аэцию. Он взял с собой еще одного человека,

тоже гунна. И первые два коня были найдены мертвыми на дороге — буквально загнанные до смерти.

— Клянусь бородой Одина! — расхохотался франк. — А я-то поверил, когда ты сказал, что нет новостей! Вот так история! Мне она нравится. Сам-то гунн мне не нравился, но действует он неплохо, надо признать честно. Возможно, ты еще и встретишься с ним, даже если сейчас тебе не удастся его вернуть. Меня это не удивит.

— Надеюсь, у тебя нет намерений последовать его примеру? — пригрозил Ювенций, на этот раз абсолютно серьезно.

— Не беспокойся, — ответил франк, еще продолжая смеяться. — Мой отец рад, что избавился от меня, так же, как и большинство братьев в моей стране. Да к тому же при дворе прекрасно кормят, а вино даже лучше, чем у нас, не говоря уж про другие удовольствия.

— Тогда почему же тебя так интересуют подробности побега князя Этцеля, дружище?

— Ах, чисто из любви к сплетне! Я вот как раз думал...

— Что?

— Да ничего особенного. Не кажется ли тебе, что за всем этим что-то кроется? Он прибыл сюда благодаря Аэцию, верно? А теперь внезапно исчез с шестеркой его лошадей. Я совсем не разбираюсь в политике, конечно, но...

— Я тоже не разбираюсь в политике, — прервал его Ювенций. — Но порой мне сдается, что такое невежество может оказаться непло-

хой вещью. Так безопасней. Так что лучше не старайся разобраться в ней, дружище Хлодомер.

Когда Ирис приблизилась к покоем принцессы, чтобы заступить на ночное дежурство, то обнаружила перед дверью Илдико и трех рабынь. Все это показалось ей странным. Их лица были бледными и напряженными, и Ирис с ужасом поняла, что игра закончена.

— Что вы здесь делаете? — торопливо спросила она. — Что случилось?

— Мы ничего не могли поделать, Ирис, — взволнованно прошептала Илдико. — Она снова упала в обморок, а когда пришел врач, он выставил нас из комнаты.

Ирис прерывисто вздохнула. Итак, самое худшее случилось. Задрожав от гнева и страха, она почти закричала:

— Разве я не говорила вам, чтобы звали меня, а не кого-то еще, если что-нибудь случится с принцессой? Кто это сделал?

— Я, — сказала Илдико с удивительной твердостью. — Она больна, Ирис, вправду больна, что бы ты там ни говорила, ее надо лечить, и только врач может это сделать, самый опытный врач. Вот я и приказала Симмах привести его.

— Ты маленькая дурочка, — ахнула Ирис. — Это может означать смерть для всех нас.

Она ворвалась в комнату. Врач склонился над постелью. Она не видела, пришла в себя

Гонория или нет, но узнала одежду лекаря — это был Тимей.

Исчезла последняя надежда, что удастся подкупить врачевателя. С обычным человеком это было бы возможно. Однако с Тимеем не получится: он уже пятнадцать лет врачует императорских особ и гораздо богаче, чем она сама, и у него лишь одно желание в жизни — сохранить свою должность, которая обеспечивала владение большим имением, домами и дворцами по крайней мере в десятке городов, а также жалованье выше, чем у большинства придворных.

Теперь Тимей вроде бы закончил осмотр. Он поправил подушки и ковры.

Ирис открыла было рот, чтобы что-то сказать или спросить, но слова не шли.

«Она знает, конечно», — подумал старый и опытный человек. Он поклонился ей, совсем чуть-чуть, и вышел.

Краем глаза Ирис увидела, что Илдико попыталась с ним заговорить, но Тимей отстранил ее решительным жестом. Затем дверь за ним закрылась, и Ирис издала долгий всхлип. Он оборвался, когда, обернувшись, она увидела, что Гонория села в постели, улыбаясь слабой неестественной улыбкой.

— Ах, домина, — запинаясь, проговорила Ирис, — Тимей осмотрел тебя. Я не виновата. Меня тут не было, чтобы предотвратить это. Все эта глупая Илдико. Ох, что теперь будет с нами?

И на этот раз она зарыдала, уже не таясь.

— Успокойся, — сказала Гонория. — Ненавижу, когда кто-то рыдает в моем присутствии. Позови ее. Я хочу с ней поговорить.

— Но что нам делать, я...

— Делай, что сказано.

Ирис повиновалась. Через секунду вошла Илдико.

Принцесса внимательно посмотрела на нее.

«Напугана, но все еще считает, что поступила совершенно правильно», — подумалось ей. А вслух она сказала:

— Ирис говорила тебе, чтобы не вызывали врача, если мне станет плохо? Говорила? Она сказала тебе, что это мой приказ? Верно? Значит, ты послушалась и не выполнила приказа. Ты не выполнила его ради моего же блага, как тебе казалось. Я это знаю. Но не кажется ли тебе, что мне видней, что для меня хорошо, а что плохо?

Илдико опустила голову.

— Ты, ты ведь не прогонишь меня, а? — сквозь слезы прошептала она.

Гонория слабо улыбнулась. Девочка действительно любила ее.

— Нет, моя овечка. Если кого-то и прогонят, то не тебя. А теперь слушай. Возможно, скоро люди будут рассказывать тебе всяческие истории про меня. Обещай, что не станешь их слушать, а если у тебя появятся какие-либо сомнения, ты сразу придешь ко мне и спросишь об этом.

— Обещаю, — торжественно сказала Илдико. — Мне очень, очень жаль, принцесса, но я так испугалась и...

— Ладно, малышка. Теперь беги.

Когда дверь закрылась, Гонория сказала:

— Ну, теперь осиное гнездо загудело, Ирис. Нет смысла горевать из-за ошибки Илдико. Рано или поздно это все равно бы случилось, так почему не сейчас? Я вела себя довольно глупо, ты сама видишь... пыталась выиграть несколько дней, несколько недель. И даже немного рада, что она позвала Тимея. Самое большее, что они могут сделать, это убить меня, но только не думаю, что они на это пойдут. А теперь ты тоже ступай, оставь меня одну. Ненадолго...

Снова дверь закрылась.

Нет, долго это не продлится. Это уж точно. Она сделала ошибку и заплатит за нее. В тысячный раз у нее возникла мысль: «Что подумал бы он, если бы узнал?» Она перебирала в уме множество разных ответов на этот вопрос, перебирала еще задолго до его исчезновения. У нее возникала мысль сообщить ему об этом. Но она так и не смогла побороть себя — может, боялась? Никогда не знаешь, чего от него ждать. А потом он исчез, исчез бесследно, не сказав ей ни слова. Он еще был во дворце, когда она вернулась из Равенны, это ей известно. И именно в ту ночь он исчез. Почему? Ведь если здесь были какие-то политические мотивы, то непонятно, почему он не оставил ей весточку? А теперь, пожалуй, он никогда уже и не узнает... скорее всего никогда...

Дверь широко распахнулась, и в комнату влетела Ирис.

— Августейшая императрица! — задыхаясь, выпалила она.

Плацидия уже входила в комнату. Ирис она не сказала ни слова, лишь махнула рукой, и девушка убежала, словно побитая собака.

— Да, мама, — промолвила Гонория, улыбаясь неестественной улыбкой. — Все совершенно верно.

Императрица была смертельно бледна. Она молчала.

— Закричи на меня, мама, — сказала Гонория. — Отругай. Потому что случилось то, что уже невозможно изменить. Бессильна даже ты. Тебе это трудно перенести, мама?

Плацидия заставила себя говорить спокойно:

— Кто это был?

Гонория саркастически засмеялась.

— Ты никогда не узнаешь, мама. Даже если станешь меня пытаться. Я думала об этом, как ты понимаешь. Говорят, что под пытками люди рано или поздно все равно признаются. И я признаюсь. Но я скажу ложь. А если ты выяснишь, что я солгала, и снова велишь меня пытаться, я солгу снова, и снова, и снова...

— Перестань кривляться, — жестко оборвала ее Плацидия. — Никто не собирается тебя пытаться. Если я захочу узнать правду, то поинтересуюсь у твоих наперсниц. Они-то скажут.

— Попробуй. — Гонория стиснула зубы. — Они тоже солгут тебе. Они не знают правду. Ее не знает никто.

— Ты, должно быть, очень сильно стыдишь-

ся своего выбора, милая, — язвительно сказала императрица.

Гонория насмешливо покривила губы.

— Этот прием тоже не поможет, мама.

Плацидия резко отвернулась.

«Не могу! — с ожесточением подумала она. — Не могу на нее смотреть! На мое собственное дитя».

Ее голос стал чужим, скрипучим, она сама не узнавала его:

— Но зачем, зачем тебе нужно было портить себе жизнь вот так...

Гонория рывком села в постели, глаза ее сверкали.

— Зачем, мама? Я августа Гонория, разве не так? Ты сделала меня ею! А официальный документ подписал мой милый маленький братец, который все время проводит в играх с друзьями или размалевывает свое маленькое кукольное личико. Ты сделала меня августой, а это означает, что не найдется ни одного мужчины в твоей проклятой империи, за которого я могла бы выйти замуж. Никто не может быть мне равным, а это значит, что у меня никогда не будет супруга, и значит, никто не станет опасным для тебя и твоего правления. Я стала пешкой в твоей игре, вот и все! Но я, как тебе это ни покажется странным, женщина. Я хочу жить! Я не хочу быть монахиней в императорском облачении! Я хочу жить! Если тебе нравится думать, что я выбрала себе любовника, который не ровня мне, что ж, думай. Ведь

именно ты постаралась, чтобы он сделался таким.

Плацидия сжала руками виски.

— Мое бедное дитя, разве я могла предполагать, что ты так превратно поймешь мое решение? Ты видишь лишь одну сторону проблемы. Почему ты не пришла ко мне и не спросила, ведь я твоя мать, разве это не так?

— Ты всегда слишком занята имперскими делами, — сказала Гонория с горечью. — И ты никогда меня не любила!

— Дитя мое! Кого же мне любить, если не тебя и не Валентиниана!

— Власть, мама! Ты превратила Валентиниана в плаксивую девчонку — он привык со всем бежать к тебе. Ты его идол. А я... Ну, меня ты совершенно сознательно сделала августой, чтобы я никогда не могла быть опасной для брата — твоей послушной куклы. Все очень просто. И почему тебя так удивляет, что я в состоянии это понять?

— Ты ненавидишь меня, — почти беззвучно произнесла Плацидия.

— Нет, мама, тут нет ненависти, — последовал усталый ответ. — Мы просто чужие, вот и все.

— Тогда ты могла бы поговорить с епископом Ницетием...

— Он потрепал бы меня по щеке и велел бы быть хорошей девочкой, терпеть и ждать, что там для меня уготовано Богом. Он старый человек. А я не могу быть терпеливой. Я молода и хочу жить. У меня и в мыслях не было пойти к

нему или к тебе. Ведь даже теперь, когда тебе все стало известно, ты не задала мне один жизненно важный вопрос, единственный, который действительно имеет значение: люблю ли я его?

Но Плацидия уже обрела над собой контроль.

— Я не верю в твою любовь. Если бы она существовала на самом деле, ты гордилась бы своим любовником и не стыдилась бы назвать его имя. И еще я не верю, что он тебя любит, тогда он уважал бы тебя. Нет, у тебя была просто плотская связь, как у любой маленькой потаскушки. Послушав тебя, можно подумать, что я унизила твое достоинство, возведя на высшую ступень в империи. Ты говоришь, что мы чужие друг другу? Но почему? Потому что ты без должной ответственности относишься к тем обязанностям, которые возлагает на тебя твое высокородное положение. Эти обязанности отличны от тех, что лежат на обыкновенной женщине, и, как бы тебе ни хотелось вести себя, как она, ты не можешь этого себе позволить. Я стараюсь изо всех сил, данных мне Господом, держать империю целой. Как могу я требовать, чтобы мои полководцы и чиновники жертвовали ради этого своими личными интересами, если этого не делает моя собственная семья? Мы призваны вести людей за собой и служить им примером. А какой пример можешь дать ты?

Императрица замолчала и отвернулась. Гоно-

рия сидела в постели, глядя на мать холодными, непроницаемыми глазами.

— В последний раз тебя спрашиваю, Гонория: кто твой любовник?

Никакого ответа.

— Евгений?

Принцесса откровенно расхохоталась.

— Он был *мужчиной*, — ответила она. — И это все, что я могу тебе сказать.

— Ладно. — Плацидия встала. Все следы бурных чувств исчезли с ее прекрасного, классического лица, сделавшегося холоднее мрамора. — В течение часа ты покинешь Аквилею и отправишься в Арминий. Твои женщины поедут с тобой. До самого отъезда никто из вас не смеет ни с кем общаться. Ты поедешь на одной из моих колесниц в сопровождении эскорта. Там будешь жить в крепости Бариоли, где и разрешишься от бремени. Тимей будет послан присматривать за тобой. Больше никаких посетителей.

В какой-то момент Гонории захотелось попросить за Илдико, ведь та была еще девочкой и даже толком не знала, что произошло. Но она не могла пересилить себя и произнести слова мольбы. К тому же ей и не поверят. А Илдико была единственной, кто любил ее. И она промолчала.

А Плацидия безжалостно продолжала:

— Когда ребенок родится, ты уедешь из крепости Бариоли. И навсегда покинешь империю. Я отправлю тебя с кораблем в Византию, где о тебе позаботятся благочестивые сестры

моего августейшего брата Феодосия. Ты отказалась жить монахиней в императорских одеждах. Прекрасно, в будущем не будет никакого пурпура. Ты сама отвергла его.

— Благодарю тебя, *мама*, — ледяным тоном произнесла Гонория.

Императрица покинула комнату дочери, не проронив больше ни слова.

Книга вторая

1

Уже много дней племя сидело вокруг шатра, в котором умирал хан, а люди все прибывали и прибывали, съезжались со всех сторон, ведь имя хана Руа слыло великим даже среди других племен. И вот шатер, украшенный пятью черными конскими хвостами, стал центром гигантского круга; внутренние его слои, ближние к шатру, не двигались — каждый всадник сидел на корточках возле своего коня, в знак траура воткнув оружие в землю. Время от времени один из вождей запевал песню, и все подпевали, поначалу десятки и сотни голосов, затем тысячи, а музыканты били в маленькие медные барабаны и дули в продолговатые пронзительные дудки. Песня была одна и та же, очень-очень длинная, потому что повествовала о деяниях хана, а их было много и жизнь его была долгой. В любой миг душа могла покинуть тело хана, и духи тут же подхватят ее и унесут прочь, поэто-

му важно, чтобы они знали, какой властной и могучей была эта душа, и чтобы обращались с ней с подобающим почтением.

На внешней стороне круга люди постоянно менялись: все время прибывали новые посланники от разных племен, направлялись куда-то гонцы. Круг был настолько велик, что из середины не видно было его краев — все терялось в облаке пыли.

Сам шатер загораживали огромные кучи хвороста, валежника и срубленных деревьев, принесенных со всей округи. Они станут погребальным костром. Оставались только небольшие отверстия, позволявшие воздуху проникать внутрь шатра.

У подножия ханского ложа сидел на корточках князь Бледа, неотрывно глядя на изможденное лицо, которое теперь приобрело цвет старого пергамента. Глаза хана были открыты, они смотрели в потолок, похожий на щель рот был плотно сомкнут, и его окружала сеть мелких морщин.

За несколько часов хан не вымолвил ни единого слова.

Снаружи доносились монотонное пение племени и унылая дробь барабана.

«Он не умрет, — думал Бледа, — не хочет умирать. Он отгоняет смерть прочь, используя вместо щита свою волю». И князь сидел, ожидая, а снаружи ждали тысячи и тысячи людей, даже сама Смерть ждала. Но хан не хотел умирать.

Временами трубил рог, возглашая о прибытии новых гостей. Уже все шатры были сверну-

ты и уложены на повозки, и женщины с детьми спали две последние ночи под открытым небом. Все заполнила масса людей, глаза которых были направлены с разных сторон к центру, где за высоким валом из деревьев и пологами шатра лежал старый больной человек и упрямо отказывался умереть.

Конечно, так не могло продолжаться долго — это была последняя битва хана Руа. И тогда хан Бледа поднимется на ноги...

«Я сейчас вдвое моложе, чем он», — подумал Бледа. Трудно быть ханом: люди будут приходить со своими нуждами, и ему придется вершить справедливый суд; возникнут неприятности — множество неприятностей — с другими племенами. Нужно будет разбираться с соразгами, и это скорее всего означает войну. А соразги — многочисленное племя, атаковать их будет трудно, ведь их земли окружают болота. Затем вопрос о воинах, обещанных императорам Восточной и Западной Римской империи, и даже отдельным персонам вроде римлянина Аэция. А еще хан Гулляк предлагает соединить свое племя с племенем хана Руа, и старый хан уже долго медлит с ответом, никак не принимая решения. Все это и масса других обязанностей лягут теперь на его плечи, и он испытывал смешанные чувства. Ему нравилось быть любимым всеми, нравилось, когда к нему все обращались, где бы он ни появлялся; чтобы добиться этого, требовалось проявлять великодушие и знать, на что закрыть глаза. Но ведь если придется вершить суд и решать, кто из спорщиков прав, неминуемо кто-то всегда останется

неудовлетворенным. К тому же в племени в последнее время все чаще слышится ропот недовольства.

Снова зазвучал рог: три — четыре — пять раз. Значит, особа царской крови. Что, если Гулляк? Бледа нахмурился. Если это он, тогда решение о соединении племен придется принимать сразу же после смерти старика и у него не будет времени обдумать этот вопрос как следует. Племя Гулляка достаточно мощное, хотя и не настолько, как его собственное. Захочет ли хан Гулляк подчиниться Бледе? Да и вообще, пришла бы ему в голову такая мысль, если б он не надеялся стать во...

Шаги. Шаги! Бледа вскочил на ноги. Никто, даже хан другого племени, не обладает правом входить в шатер в такой час. О чем там думает стража?

И лишь теперь Бледу осенило, почему вдруг пение распалось на дикие беспорядочные крики.

В следующий момент полог был откинут в сторону, и вошел Этцель.

Оба брата уставились друг на друга. Лицо Этцеля было суровым и торжественным, Бледа же против своей воли улыбался. Он был ошеломлен такой неожиданностью и все-таки испытывал, как ни странно, облегчение и ненавидел себя за эти чувства, хотя и не понимал, почему.

С ложа умиравшего раздался голос словно из гробницы:

— Наконец-то!

Повернувшись, они увидели хана Руа, пытающегося сесть в постели.

Оба князя бросились к нему. Этцель поддержал правой рукой спину хана, Бледа возился, поправляя за спиной подушки.

— Я все ждал, — хриплым порывистым голосом произнес хан Руа. — Слишком поздно было посылать за тобой, но я знал, что ты приедешь. Теперь слушай меня: примите хана Гулляка. Бледа станет великим ханом, Этцель и Гулляк — ханы под его властью.

Оба кивнули. А Бледа тревожно спросил:

— Примет ли это Гулляк?

— Ему придется это сделать, — сказал Этцель.

Подобие улыбки промелькнуло на лице хана Руа.

— Он примет. Бледа — голова, Этцель и Гулляк — руки. Ступай, Бледа, объяви об этом племени.

Бледа повиновался.

Худая коричневая рука хана схватила Этцеля за локоть и сжала с удивительной силой.

— Ты видел теперь римлян в их собственной стране. Они испорченные, гнилые, верно?

— Это так, хан, — спокойно ответил Этцель.

— И все же они покорили мир когда-то.

Снаружи донесся голос Бледы, объявлявшего о новом повелении хана.

Умиравший как будто прислушался — или просто хотел собрать еще немного сил? Когда он заговорил, голос его звучал слабее, чем прежде:

— Человек должен есть досыта, и не боль-

ше. То же самое с народами. Римляне ели слишком много. От этого стали больными.

— Я думаю, что увижу их гибель, — злобно сказал Этцель.

Хан посмотрел на него загадочным взглядом.

— Возможно, но ты не сумеешь заменить их. Ты не сможешь править миром со спины коня, а гунн — ничто без коня. Не забудь про это, сынок.

У Этцеля перехватило дыхание. Никогда еще хан не называл его сыном. Видно, он уже ушел туда, в мир духов, так что все земное — люди и вещи смешались в его сознании, как это бывает, когда глядишь издалека.

Бледа вернулся назад, его лицо было бледным и возбужденным. Снова встав на колени у ложа, он почтительно произнес:

— Ханская воля исполнена.

Старик почти не обратил внимания на его слова. Он бормотал что-то неразборчивое. Через некоторое время его голос зазвучал ясней, и они расслышали:

— ...Возможно, это ты — сын. Кто знает...

Резкая судорога выгнула его исхудавшее тело; пальцы, похожие на орлиные когти, сжимались, разжимались и вновь сжимались. Этцель увидел, как еще одна судорога пробежала по телу старика. Братья знали, что конец близок, что это фактически уже конец.

И тут хан Руа снова заговорил, вполне внятно:

— ...Но только — меч — Пуру — может — привести к...

На этом слова его оборвались, будто ему не

позволили договорить их, будто невидимая гигантская рука сомкнулась на горле хана. Глаза его потухли, голова упала на грудь.

Этцель осторожно опустил обмякшее тело на ложе.

— Я приветствую великого хана Бледу, — сказал он.

Бледа пристально посмотрел на него. Невозможно было сказать, слышался ли в голосе Этцеля хотя бы малейший сарказм.

— Спасибо, — медленно ответил он. — Теперь я иду к народу, чтобы объявить о смерти хана.

— Подожди, брат, мне нужно что-то спросить у тебя.

Бледа потряс головой.

— Нет, прежде нужно обязательно сказать им, чтобы они умиротворяли духов...

— Они уже делают это, разве ты не слышишь их пение? Герой, который покориł грузов, вождь, уничтоживший акациров, — духи не будут сомневаться, кто сейчас попал к ним. А мой вопрос не терпит отлагательств.

— Тогда говори, — нахмурившись, сказал Бледа.

— Соразги... — сказал Этцель. Слово с шипением вырвалось у него изо рта, словно живая змея. — Возвращаясь сюда, я услышал про их бесстыдства. Они не только угоняют наш скот. Они могут преградить путь свежим племенам, которые приходят к нам с востока. Эту опасность надо убрать. Я сделаю это.

— Как? — спросил Бледа, все еще хмурясь.

— Вокруг шатра собралось шестьдесят

тысяч гуннов. Дай мне половину и четыре недели срока.

Бледа досадливо махнул рукой.

— Четыре недели! Разве ты не знаешь, что соразги живут среди болот? Да их придется держать в осаде много месяцев. А я не хочу ослаблять племя. Не теперь!

— Я и не собираюсь ослаблять его, — последовал немедленный ответ. — Вот почему я и говорю с тобой об этом. Соразги ослабляют нас. А раз они живут среди болот, можно сделать только одно — поразить их неожиданностью. Они услышат о смерти хана Руа. Им известно, что по нашему обычаю хана будут оплакивать по меньшей мере две недели. И только сейчас они не будут нас ждать. А мы и нагрянем.

«Он прав, — подумал Бледа. — Совершенно прав. У него быстрый ум. Хан Гулляк присоединится к нам через несколько дней. Если Этцель сейчас уедет, я смогу полностью подчинить себе Гулляка, переманить его на свою сторону».

— Твое желание будет исполнено, — ответил он.

Этцель ухмыльнулся.

— Благодарю великого хана, — сказал он и отодвинул в сторону полог, пропуская брата первым.

Секундой позже покойник остался в шатре один.

Пение оборвалось, когда вышли оба князя. Князь Бледа, не сказав ни слова, направился к знаменосцу покойного хана. Знаменосец сидел на коне подобно изваянию, сжимая в руке ко-

роткое древко с пятью черными конскими хвостами. Бледа молча протянул руку и взял древко.

При виде этого десятки тысяч людей поднялись как один, и раздался ужасный крик. Все оружие было вытащено из земли, и каждый воин сделал себе надрез на лице — на щеке, на подбородке или на лбу в знак траура. Эта кровь была жертвой духу умершего правителя.

Ее запах повис в воздухе, и вскоре множество коршунов, грифов и стервятников закружилось над гигантским кругом плотно стоящих людей, который пульсировал подобно черному солнцу.

И вот в центре появилась огненная точка — запылал шатер умершего хана, а вместе с ним его кони — больше сорока и около сотни личных рабов, которые будут продолжать служить своему хану и в царстве духов.

Через несколько часов будто мощный луч протянулся от черного солнца — от темного людского круга с догорающим костром посередине отделилась часть всадников и направилась на северо-восток.

— Мальчик или девочка? — спросила Ирис с напряженным ожиданием.

Сифакс, начальник стражи, показал ряд зубов, которым позавидовал бы и леопард. Он был высоким для нумидийца, и его коричневая кожа сияла в лугах полуденного солнца будто бронза.

— А тебе так хочется узнать, красавица?

— Конечно, хочется. — Ирис резко дернула

подбородком, высвобождая его из цепких смуглых пальцев. — И хватит этих глупостей, прошу тебя — нас могут увидеть из перголы; в этом проклятом месте даже у стен есть глаза и уши.

— Я бы знал об этом, — усмехнулся Сифакс. — Ведь здесь всем распоряжаюсь я.

— По крайней мере так тебе кажется. Но ведь тут есть Лизий...

— Лизий... — презрительно скривился Сифакс. — Лизий — евнух.

— Да-да, но даже евнухи могут писать секретные донесения, как тебе известно. Да еще тут старый Тимей...

— Лизий, — ухмыльнулся Сифакс, — не может делать того, что могу я. — И нумидиец притянул к себе Ирис.

— Убери свои лапы, чурбан! — оттолкнула его Ирис. — И скажи мне наконец-то, мальчик или девочка? Ты ведь видел ребенка — мне это известно.

— Если я скажу, придешь сегодня ночью снова?

— Н-ну ладно, приду. Только говори скорей. Так кто же?

— Это мальчик. Но помни: ты обещала!

— Конечно, так и должно было случиться, — загадочно произнесла Ирис. — Ты видел его? Какой он?

Нумидиец пожал широкими плечами.

— Какие все младенцы? Очень маленькие и очень крикливые.

— Дорогой лев пустыни, ты приводишь меня в отчаяние. Ты видел его вблизи? Какие у

него глаза? Круглые и синие или раскосые? Какая кожа?

— Глаза? Не знаю. Мне показалось, что их у него нет вовсе. Просто щелки. Кожа желтая какая-то. Будто дубленая шкура.

— Ах! — сказала Ирис, внимательно его выслушав. — Я так и знала. Ты замечательный парень, Сифакс. А Тимей сказал про ребенка что-нибудь?

— Кажется, нет. Не помню.

— А ей... а принцессе позволят увидеть мальчика? И когда?

Нумидиец засмеялся.

— Да она может смотреть на него, когда захочет. Главный тут я, а не нянька. Она проснулась?

— Совсем недавно еще спала. При ней госпожа Илдико.

— А! Слишком маленькая, — простодушно сморщил нос нумидиец, и Ирис смерила его насмешливым взглядом, но на этот раз не стала сопротивляться жадным темнокожим рукам, когда он за талию снова привлек ее к себе.

Илдико невольно наблюдала эту сцену со своего стула, стоявшего возле постели госпожи. Окно комнаты выходило прямо на широкую террасу, на которой в обнимку стояли Ирис и Сифакс. Лицо Илдико залилось краской, она торопливо отвернулась от окна, и в это время Гонория тихо спросила:

— Там Ирис? С кем?.. С Сифаксом?

— Я... я не знала, что ты проснулась, — смутилась Илдико. — Позвать Тимея? А может...

— Нет, ничего не надо. Оставайся на месте и смотри на меня, моя маленькая овечка.

Жалкое восковое лицо, до странности переменившееся, вовсе не лицо прекрасной Гонории. Все эти месяцы она была узницей, узницей крепости Бариоли и узницей собственного тела, становившегося все тяжелей и тяжелей от ребенка, но никогда ее лицо не теряло выражения радостного ожидания, предчувствия чего-то важного, что вот-вот должно было произойти. А сейчас, похоже, жизнелюбие покинуло ее, словно вместе с рождением сына жизнь ее пришла к своему естественному концу.

И все-таки как она догадалась, что происходит на террасе, не поворачивая головы? Это пугало. Как, впрочем, пугало все в этой ужасной старой крепости, где они прожили почти полгода, отрезанные от внешнего мира, образовав свой собственный мир, спокойный и сонный на поверхности, однако в глубине постоянно напряженный, насыщенный смутными страхами и предчувствиями, преследуемый тенью, странным хохотом, лаем громадных молосских псов, которых начальник стражи держал во внутреннем дворе. Вероятно, хуже всего было ощущение постоянного надзора, когда за тобой шпионят непрерывно, день и ночь. Живая натура принцессы сопротивлялась унынию, она делала все возможное, чтобы скрасить как-то их жизнь в изгнании, — по крайней мере так казалось Илдико. Но вот и она покорилась.

Все это Илдико чувствовала не очень отчетливо, но чувствовала. За несколько месяцев она, казалось, стала старше на много лет. На ее

глазах девушка превращалась в женщину, мать, и она разделяла все ее страдания, словно ребенок рос и в ее собственном невинном чреве. Она естественно принимала все те таинственные изменения, которые несла с собой беременность, — все казалось ей гармонирующим с миром трав, деревьев и зверей, который она понимала и любила. В десять лет она видела, как рождался теленок в отцовском хлеве в Гергови; поначалу она чуть-чуть испугалась, но потом вспомнила, как мать ей говорила: «Всегда больно, когда рождается дитя, у человека или у животных. Сначала немного боли, а потом очень большая радость. И хотя боль довольно сильная, радость от рождения ребенка настолько велика, что все воспоминания о боли стираются. Так и должно быть. Ведь Господь милостив». И когда родилась ее маленькая сестренка, а через час умерла, мать позвала Илдико к себе в спальню; прекрасное ее лицо было почти белым, напряженным, с глубокими тенями вокруг глаз, но губы улыбались. «Илдико, моя милая, я хочу попрощаться с тобой. Ты теперь большая девочка, я многому научила тебя, и ты проживешь хорошую жизнь. Но твою маленькую сестру призвал Господь к себе, чтобы она присоединилась к его ангелам, и по своей великой любви он позволил и мне пойти вместе, чтобы за ней присматривать, ведь она такая маленькая. Видишь, какой он добрый». Потом она поцеловала ее и отослала из комнаты. Последнее, что девочка видела, это изменившееся отцовское лицо, когда он

стоял у двери, смотрел на мать красными глазами, закусив до крови губу, и весь дрожал.

Немного позже слуги наполнили дом громкими причитаниями; отец пришел к ней и сел рядом в глубоком отрешенном молчании, таком отрешенном, что она не осмеливалась коснуться его руки и поделиться тем, что знала: ведь мама и сестренка будут жить на небесах. Все совершенно ясно — почему же он не понимал этого? Хотя вообще-то отцу приходилось разбираться во многом: соколах и конях, оружии и войне и в том, что взрослые называют политикой и о чем говорят только шепотом, оглядываясь через плечо. Именно из-за политики ее послали в Рим, а затем в Аквилею, чтобы она стала придворной дамой у принцессы Гонории. Вот такой была она, эта политика, хотя девочка никогда не понимала связи между разговорами шепотом нескольких франкских вождей в Герговии и приказом императрицы отправить ее в Италию.

Роды прошли благополучно, и теперь должна быть большая радость. Но принцесса, казалось, не испытывала никакой радости. Может, оттого, что не с кем было поделиться ею? Видно, она надеялась, что отец ребенка придет, когда тот родится. Илдико не знала его имени, но знала, что он гордый князь и вождь своего народа. Принцесса доверилась ей как-то вечером, когда Ирис не было рядом, и взяла с нее обещание ничего не рассказывать Ирис и никому другому — это будет их общей тайной. Он был знатным князем, они тайно поженились, и принцесса не могла назвать его имени

все из-за той же политики. Когда-нибудь она узнает побольше про эту самую политику, из-за которой ее отправили из Герговии в Италию, а принцессу — из Аквилеи в крепость Бариоли. Ирис, конечно, попыталась выведать, что она знает, не прямо — Ирис никогда ничего не делала прямо, — но всякими окольными путями, а когда ей это не удалось, фыркнула и с презрительным видом вышла из комнаты.

Принцесса не любит Ирис. Когда пришел час родов, она отослала ее из комнаты. Остались лишь старый строгий Тимей да две фракийские рабыни. Как только все закончилось, принцесса тут же позвала Илдико, а Ирис до сих пор не допускает к себе.

— Илдико, я хочу увидеть ребенка.

Илдико поклонилась госпоже, лицо которой было похоже на восковую маску, и побежала разыскивать Тимея. Она нашла врачевателя в его покоях вместе с этим жутким, маленьким и пухлым человечком Лизием, который двигался будто толстая неуклюжая старуха и говорил каким-то неестественным, противно вежливым, медовым голосом. Илдико был он неприятен, она не могла его терпеть, просто не могла. Это гладкое маслянистое лицо, гладкие маслянистые руки и манера разговаривать с человеком, не глядя ему в глаза; к счастью, их общения случались не часто.

Когда она вошла, мужчины прекратили свою беседу, а Лизий сладко спросил:

— Чего хочет сейчас от нас маленький ангел?

Но Илдико ответила не ему, а Тимею:

— Принцесса хотела бы увидеть ребенка.

— Так, значит, она проснулась? — Старый врач одобрительно покивал головой. — Очень хорошо! Отнеси дитя принцессе сама, согласна? — Он повернулся к рабыне, склонившейся над детской колыбелью. — Отдай госпоже Илдико ребенка, Элпия. Покажи ей, как надо держать его. Вот так! Не урони же его, молодая госпожа!

Крепкотелая фракийская рабыня засмеялась, глядя на неловкие, боязливые движения Илдико, которая, не говоря больше ни слова, быстро вышла из комнаты со своей ношей.

— Хотя, возможно, это было бы самым лучшим, что может случиться в данных обстоятельствах, — пробормотал Лизий.

Однако лицо врачевателя оставалось бесстрастным, и евнух лишь пожал по-женски округлыми плечами. Такой блестящий человек, придворный лекарь, просто образец правильности и порядочности. Со старым хрычом не договоришься. Впрочем, ответ императрицы на торопливое послание придет достаточно скоро, а до этого в любом случае придется ждать. Императрица никогда прямо не выражала своего желания, — разумеется, нет, — но ведь хороший слуга должен чувствовать, что хотелось бы госпоже. А он чувствовал, — естественно, он может ошибаться, — что несчастный случай с ребенком был бы кстати. Конечно, если это действительно несчастный случай, то есть чтобы не возникло ни малейших подозрений, что это не так. Императрица слишком добрая христианка, чтобы признаться в таких

мыслях даже самой себе. Но когда это произойдет, она испытает облегчение, несомненное облегчение. И то, что она все передала в руки старому Тимею, нисколько не меняет дела. Тимей был бы наилучшим гарантом того, что произошел несчастный случай, а не что-то другое. Тимей был необходим.

Тень улыбки появилась на бледном осунувшемся лице Гонории, когда Илдико бережно передала ей маленький сверток, из которого торчала крошечная желтоватая головка с несколькими прядками черных волос.

— Какой некрасивый! — прошептала юная мать. — Некрасивый и крепкий... — И с неожиданной силой добавила: — Он придет — с «крыши мира»...

И после этого заснула опять.

Неделю спустя Гонории уже позволили сидеть на своем излюбленном месте на террасе в тени нескольких пальм.

Поправлялась она быстро. Одна Илдико видела, что принцесса уже не прежняя. Ее заметно раздражало присутствие Ирис.

— Теперь ты будешь помогать мне раздеваться, Илдико, — сказала Гонория. — Я не могу больше выносить ее прикосновений.

— Но почему?.. — запнулась вдруг Илдико.

— Ты знаешь, почему, — ответила Гонория.

Они помолчали. Одна мысль не давала покоя Илдико, и она заставила себя спросить:

— Как ты узнала, когда пробудилась, что я видела Ирис и этого...

— Ты не могла увидеть кого-то еще. А по

твоему лицу я сразу поняла все. Я хорошо знаю твое выразительное личико, моя овечка. Но я хочу сказать тебе сейчас о другом. Я солгала тебе однажды, моя девочка.

— Мне? Почему?

— Потому что ты милая глупая белая овечка. Потому что есть вещи, которые тебе пока не надо знать, хотя, впрочем, теперь ты могла бы...

Она помолчала. Однако Илдико ничего не спрашивала, и поэтому Гонория продолжила:

— Я не была замужем за ним. Я солгала тебе тогда. У нас не было времени пожениться. И не было надежды на согласие матери. Он неожиданно исчез в одну из ночей. И он не знал, что я ношу его ребенка. Возможно, никогда и не узнает.

— Но где же он? — спросила потрясенная Илдико.

— Думаю, что он вернулся к своему народу. Это где-то очень далеко, я не знаю, где. Но я знаю, что его народ, хоть и маленький, но гордый, бесстрашный и свободный. Я раскрою тебе наш с ним секрет, Илдико, потому что уверена, что ты заслуживаешь этого. Он князь гуннов. Да, князь Этцель. Он необыкновенно безобразен внешне, но это единственный настоящий мужчина из всех, кого я встречала в жизни. В его жилах течет королевская кровь. И я люблю его. Я люблю его.

Она закрыла лицо платком.

— Теперь ты знаешь, моя малышка, то, что неведомо императрице, о чем она даже не

подозревает. Храни этот секрет, если хочешь жить.

— Я буду хранить его, потому что это твой секрет, — побледнев, твердо ответила Илдико.

— Ты любишь меня, моя овечка, я знаю. Правда, не понимаю, за что, но любишь. Да и можно ль объяснить словами любовь? Ты понимаешь, почему я ненавижу Ирис? Да, ненавижу, мне отвратителен даже сам вид ее. Потому что она не любит Сифакса, но может быть с ним близкой. И он не любит ее. Это просто красивое животное, черный нумидийский бык.

Мысли, хаотично путаясь, сменяли одна другую в голове Илдико. Какая громадная приливная волна несет принцессу, бросает в бездну, выносит снова! А ведь мама говорила, что брак — это таинство пред Божьим ликом и что дети — Божье благословение. А вот принцесса не была замужем за князем Этцелем, и как же мог у нее появиться ребенок? Но появился же! А как он мог быть благословением? Значит, все дело в любви, да-да, только в любви. А Ирис каким-то непонятным образом принижала эту любовь, делала ее нелепой и смешной, даже достойной презрения. Поэтому принцесса избегает Ирис, отстраняет ее от себя.

И князь, бедный князь, которому пришлось почему-то бежать, и он даже не знал, что у него будет ребенок...

— Когда-нибудь он вернется! — внезапно воскликнула Илдико. — Вернется назад с большой армией и увезет тебя, а потом вы поженились и ребенок будет для вас благословением.

Гонория изумленно посмотрела на девушку и рассмеялась.

— Такое может быть только в сказке. Никакой армии никогда не войти в пределы Римской империи.

— Но ты ведь сама только что сказала, что его народ свободный, гордый и бесстрашный.

— Сказала. Но это не означает, что они осмелятся появиться в пределах Рима. Нет, Илдико, ты не годишься в прорицательницы. Гунны свободны, это верно. Это дикие племена, которые живут в шатрах и с раннего детства умеют скакать на коне. Они лучшие всадники в мире. Однако...

Гонория внезапно замолчала. Илдико оглянулась. К ним приближалась группа мужчин.

— Ты посмотри, моя овечка, все власть имущие идут сюда — Лизий, Тимей, Сифакс! Значит, они идут с какой-то важной новостью.

— Приветствую тебя, о высокородная принцесса, — поклонился евнух, как всегда, сладко улыбаясь. — Ты будешь рада услышать, что твое пребывание в крепости Бариоли подошло к концу. Я знаю, что ты не была здесь счастлива, несмотря на наши скромные усилия скрасить твои печали. Бирема «Аттика» прибыла в Арминий. Согласно повелению милостивой и великой императрицы, ты должна немедленно подняться на борт биремы вместе со своими прислужницами.

— Чтобы плыть в Константинополь? — спросила Гонория, а Илдико и Ирис тихо ахнули. Госпожа никогда не говорила с ними о будущем.

— Да, принцесса.

— Но ведь это слишком далекая дорога для ребенка, которому всего неделя. И если...

— Разумеется, — учтиво поклонившись, перебил ее Лизий. — И поэтому ребенок высокогородной Гонории остается в Италии.

— Что?

Гонория, побледнев, вскочила на ноги. Илдико бросилась к ней поддержать за локоть.

— Тимей, ты мужчина. Ты понимаешь. Я не могу оставить ребенка. Невозможно, чтобы моя мать так повелела, она никогда не говорила ничего подобного. Скажи, что все не так, скажи, что это всего лишь измышления этого ничтожного существа! Ни один мужчина и ни одна женщина...

Старый врачеватель прервал Гонорию:

— Мне поручено заботиться о ребенке, принцесса. Великая императрица позаботится об остальном.

— Позволь мне взять ребенка с собой! — взмолилась Гонория.

Илдико, впервые услышав такую интонацию в голосе своей госпожи, задрожала всем телом. Не разумом, а каким-то внутренним чувством она почувствовала беду.

Ирис разразилась истерическими рыданиями.

— Это невозможно, принцесса, — твердо сказал Тимей.

Гонория выпрямилась, глаза ее вспыхнули.

— Меня называют августой и отбирают ребенка, будто я рабыня. Слушай, Тимей, и ты, Лизий, и ты, черный пес! Однажды я стану правительницей и тогда прикажу посадить вас на кол, всех вас!

У Лизия суетливо забегали глазки, словно у старухи, в присутствии которой было сказано что-то неприличное, а темное лицо Сифакса, казалось, потемнело еще больше. И только Тимей сохранил самообладание.

— Когда августа станет правительницей, я думаю, она будет рада сохранить при себе тех слуг, которые умеют выполнить приказ, даже если им больно это делать.

Руки Гонории безжизненно повисли.

— Я хочу увидеть его, — попросила она. — Я хочу попроситься со своим ребенком.

— Ребенок уже отправлен в Аквилею, — ответил Тимей не без смущения. — Таков был приказ императрицы.

Гонория издала тихий стон. Думая, что она упадет в обморок, Илдико обняла госпожу за плечи, но та оттолкнула ее руки.

— У императрицы хорошие слуги, — бесцветным голосом сказала принцесса. Ее лицо превратилось в маску. — Я желаю немедленно подняться на корабль. Слышишь, Тимей, немедленно!

Старик низко поклонился.

Уже на борту биремы Гонория прошептала:

— О, если бы ты оказалась права, Илдико, если бы!

— Что ты имеешь в виду, милая, милая принцесса?

— Если бы только он пришел — с войском!..

Был уже поздний вечер, когда архидиакон Лев предстал перед императрицей. Она была одета проще, чем при первой их встрече, и

явно чем-то расстроена и удручена. Дождавшись ухода придворного распорядителя, она сказала:

— Я весьма благодарна тебе, архидиакон. Знаю, что ты работаешь день и ночь и что его святейшеству трудно обходиться без тебя. Я полностью осознаю ту ответственность, которую взяла на себя, попросив безотлагательно приехать в Аквилею.

Он поклонился, но не произнес ни слова.

— Я охотно избавила бы тебя от этого путешествия, — призналась Плацидия, — если бы могла приехать в Рим сама. Но есть одно обстоятельство... Просто не знаю, с чего и начать... Я просила тебя сохранить поездку в тайне, если это возможно.

— Я обязан был поставить в известность его святейшество. Но больше никто не знает цели моей поездки. А если быть точным, — тень улыбки промелькнула на суровом лице священнослужителя, — она неведома и мне самому.

— Но ты приехал. Еще раз благодарю. Я должна доверить тебе важную тайну. Поклянись, что будешь ее хранить.

— Я никогда не даю клятвы, о великая. Но что бы ты ни сказала, знать это буду только я.

Она нетерпеливо махнула рукой.

— Я должна быть уверена, абсолютно уверена. Даже император не знает того, о чем я скажу тебе. Он слишком юн, чтобы разбираться в таких вещах. А ты не хочешь дать мне клятву!

— Я никогда не даю клятв, — спокойно повторил Лев.

Императрица нервно прохаживалась взад и вперед, не зная, как начать трудный разговор.

— Ладно. Я исповедуюсь тебе. Ведь ничто не мешает мне спросить твоего совета во время исповеди. А тайна исповеди священнее любой клятвы, не так ли?

Архидиакон посуровел.

— Епитимья — это святое таинство, о великая императрица. Мы исповедуемся, дабы примириться с Господом. Это и только это должно быть целью исповеди. Ты не можешь использовать исповедь для других целей, какими бы они ни были. Поэтому я вынужден спросить тебя: желаешь ли ты исповедаться перед Господом, дабы получить отпущение грехов, или ты используешь исповедь в качестве повода для чего-то еще?

Плацидия нахмурилась. В какой-то момент казалось, что она готова ответить резкостью. Но затем она склонила смиренно голову и произнесла с обезоруживающей искренностью:

— Я намеревалась совершить греховное дело. Но теперь понимаю это. И все равно хочу исповедаться.

— Это будет существенно отличаться от обычной беседы, августейшая императрица, — предостерег Лев.

— Да-да, я знаю. Я должна исповедаться перед Господом.

— Тогда встань на колени, дочь моя, — произнес Лев, опустившись в кресло.

Плацидия открыла было рот, чтобы указать

ему на совершение не менее трех оплошностей против этикета: он велел ей встать на колени, обратился без должного почтения и первый сел в присутствии императрицы. Но архидиакон, закрыв глаза, уже бормотал молитву, предшествовавшую исповеди. Плацидия опустилась на колени.

Он перекрестил ее.

— Говори, дочь моя.

— Я... я обнаружила некоторое время назад, что моя дочь Гонория обманула меня самым ужасным образом. Она вступила в плотскую связь с мужчиной, чье имя отказалась мне сообщить, и зачала ребенка.

— Продолжай.

— Я отослала ее в крепость Бариоли, где она разрешилась от бремени. Как только она оправилась, я велела увезти ее прочь — в Константинополь, где сестра императора Феодосия, августа Пульхерия, позаботится о ней. Сейчас она в море, на пути в Константинополь. Ребенок остался здесь.

— С согласия матери?

— Я не спрашивала ее согласия. Я глава семьи.

— И в чем же тебя укоряет твоя совесть? Что ты была слишком сурова с дочерью?

— Нет, я так не думаю.

— А она думает?

— Ну да! Она обвиняет меня! В отсутствии любви к ней. Признаюсь, что мне это крайне неприятно. Это ужасно с ее стороны!

— Постарайся вспомнить свое поведение по

отношению к дочери с того момента, как ты все узнала, и до настоящего времени. Спроси себя, согласился бы наш Господь с твоими действиями? Он, который простил грешницу. Я не имею в виду внешние проявления материнской любви — строгость и наказание, несомненно, были необходимы. Я спрашиваю про твое сердце. Был бы наш Господь доволен им? И изгнала ли ты Гонорию ради ее собственного блага, а не из чувства мести? Господь наш теперь пребывает в этой самой комнате, дочь моя, и Он видит твое сердце, я же только слышу твои слова.

— Я... видно, я была слишком жестока. И не была свободна от мстительности. Но это стало для меня таким разочарованием в дочери!

— Были ли твои отношения с дочерью таковы, что она могла прийти к тебе с открытым сердцем и поведать о всех своих бедах, зная, что найдет понимание и сочувствие?

— Это ужасно, но я не хотела говорить с ней об этом, я хотела лишь...

— Были твои отношения с дочерью такими, как я описал?

— Н-нет. Не думаю.

— Теперь ты видишь свою вину пред Господом, верно?

— Д-да.

— В чем еще обвиняет тебя твоя совесть?

— Тот ребенок... Это ужасное напоминание. Простит ли мне Господь, если придется... убрать его? Конечно, сначала нужно будет его окрестить.

— Ты думаешь об убийстве, никак не меньше. И должно быть, совершила убийство множество раз в своих мыслях. Это так?

— Да, с тех самых пор, как она призналась мне, — с горечью прошептала Плацидия. — И я уже отдала бы такой приказ, если бы не то, что один из моих слуг, евнух, кажется, ждет его от меня. Я не могу опуститься до его уровня. Я чувствую, что он только и ждет намека. И не могу его дать.

— Сама чудовищность искушения уберегла тебя от худшего. Ребенок имеет такое же право на жизнь, как ты или я.

— Но ведь от этого ребенка всем будут одни лишь неприятности, если он останется жить.

— Ты не можешь знать этого. И у тебя нет никаких оснований говорить так. Но даже если это верно, у тебя нет права убивать его. Человеческая жизнь, ради которой умер Христос, отдана на твое попечение. Ты занимаешь весьма высокое положение в этом мире, дочь моя. Но запомни: ты будешь судима так же, как судила других. Твои мысли насчет невинного младенца грешны. Ты должна отказаться от них и покаяться. Только тогда я смогу дать тебе отпущение грехов. И ты должна взрастить ребенка.

— Он принесет зло... Я уверена в этом.

— Даже тогда. Одному Господу ведомо, какую роль Он позволит ему играть в этом мире.

Тяжкий вздох слетел с губ Плацидии.

— Я сделаю так, как ты говоришь.

— В чем еще ты себя обвиняешь?

— Я поведала тебе обо всем. Разве этого не довольно? Я бессердечная мать, убийца в своих мыслях. Господу я, должно быть, ненавистна.

— Господь ненавидит грех, а не грешников. В качестве наказания ты должна удвоить время своих ежедневных молитв в течение девяти месяцев. А поскольку ты хотела погубить невинное дитя, ты должна подумать, как спасти других нежеланных детей и помочь им стать добрыми христианами и гражданами.

— Я построю приют для мальчиков.

— Очень хорошо. А теперь склонись в смирении перед Божественной Троицей, перед которой ты согрешила мыслью, словом и делом, а также через греховное небрежение, дабы вернулась к тебе надежда на жизнь вечную. Ведь не кто иной, как Господь наш, страдал от твоих грешных дел и мыслей. Моли, дабы простил Он тебя за то, что добавила Ему свою толику в Его крестных муках.

После священной формулы отпущения грехов Лев поднялся на ноги.

— Ступай с миром, дочь моя.

Плацидия замялась в нерешительности.

— Ребенок здесь, во дворце. Ты окрестишь его?

— Да.

Она улыбнулась сквозь слезы.

— Ходят слухи, что рано или поздно ты станешь папой. Я верю в это. Церковь будет процветать при твоём правлении. Ведь ты определенно знаешь, как добиться своего. Мы сейчас пойдем к младенцу?

— Великая императрица хвалит меня незаслуженно, — сухо произнес архидиакон и почтительно отодвинул занавес, давая Плацидии пройти первой.

— Я хочу эту женщину, — сказал хан Этцель.

Два гунна, тащившие ее за руки, немедленно отступили, хотя и с насупленным видом. Высокая стройная красавица растирала запястья и пыталась хоть как-то привести в порядок свою одежду. Это не мешало ей из-под длинных ресниц пытливо вглядываться в лицо завоевателя. Мочки ее ушей кровоточили — из них были вырваны золотые серьги, но она улыбалась Этцелю, и Вендрул, вождь племени соразгов, отчаянно забился, пытаясь высвободиться из рук державших его четырех гуннов. Он был могучим мужчиной, и это ему почти удалось. Но тогда один из гуннов стремительно бросился ему в ноги, Вендрул споткнулся и рухнул наземь. Остальные тут же навалились на него и приставили мечи к его сердцу и горлу. Соразг издал долгий, похожий на рыдание вздох, и тело его обмякло. Гречанка из Наксоса Миллисса была его самой большой драгоценностью; он заплатил за нее высокую цену, и эта ночь должна была стать у них первой. Но вдруг неожиданно вспыхнули вокруг огни, и уже через несколько мгновений он яростно сражался с горсткой своих людей против полчища гуннов, которые появились, казалось, из воздуха. Удар дубинкой лишил его сознания, а очнувшись, он увидел себя пленником.

Этцель бесстрастно наблюдал за происходящим.

— Как твое имя? — обратился он к пленнице.

— Милисса.

— Кому ты принадлежишь?

Она сделала нерешительное движение головой в сторону Вендрула, и Этцель дал знак четырем гуннам.

— Никто не может принадлежать мертвецу. Цигур, присматривай за женщиной. Найди для нее спокойного коня. Она моя добыча.

К этому времени голова Вендрула уже отделилась от его тела. Плачущую от страха девушку увели прочь.

— Калхал!

— Что прикажет хан?

— Отправь пять сотен воинов к тем двум холмам. Там что-то долго возятся.

Оставалась последняя кучка сопротивлявшихся. Однако у Калхала возникли трудности, потому что воины не хотели бросать уже награбленную добычу и ехать на подмогу своим. Этцель подскакал к ним.

— Что такое?

Калхал не успел ответить, как ханский меч пронзил его сердце.

— Командиры, которые не выполняют приказ, — не командиры. Эй вы, за мной!

Все подчинились, и страх в их глазах смешался с восторгом.

Сопротивлявшиеся сдались через несколько минут; пленниками стали еще двести соразгов,

угрюмых, грязных, полунагих и длинноволосых мужчин, многие из которых были ранены.

Цигур галопом неся через поле, и Этцель знаком подозвал его к себе.

— Пересчитали пленников?

— Да, хан, четырнадцать тысяч. Половина из них ранены.

Этцель кивнул.

— Вижу. Поэтому я приказал Пилзалу начать считать, когда еще не закончился бой. Иначе у нас на это ушел бы весь день, а я не хочу здесь задерживаться. Я прибыл сюда быстрее, чем нас тут ждали, а теперь хочу вернуться быстрее, чем нас ждут там. Появились послы от восточных племен?

— Ожидают тебя у входа в лагерь.

— Отдай приказ моим людям окружить пленников. Внутренний круг пусть образуют стрелки из лука. И направь послов сюда. Я хочу, чтобы они увидели кое-что.

Ухмыляясь от восторга, Цигур поднял меч, салютуя, повернул коня и поспешил исполнять волю хана.

— Банзук!

— Что повелит хан?

— Отведи наших пленников к остальным. Пошли человека к Дандрулку. Мне нужно, чтобы весь скот был готов к полудню. Если у него недостаточно людей, пусть берет еще.

Банзук поскакал прочь, и вот уже первые ряды пленников заковыляли мимо, подгоняемые гуннами на конях. Милисса... такая же стройная, грациозная фигура, такой же горделиво вздернутый подбородок, как у... Она

родит ему сына. Она должна дать ему сына. Он подумал про Эллака, который умолял взять его с собой. Пришлось даже хлестнуть мальчишку плеткой. В следующий раз. Пусть сначала научится повиновению. Дух у него боевой, и сила уже чувствуется. Сын от Креки тоже хорош — он назвал его Денгизих, в честь великого героя древних времен, когда гунны именовались еще хиун-ну и жили в Ки-тае. Но хорошо иметь сына и от Милиссы. Должно быть, сладко спать в ее объятиях и видеть сны про... Но что он слышит? Латынь? Кто-то здесь говорит на латыни?..

Это был один из пленников, шедший с краю колонны щуплый человечек, которого гунн подгонял вперед древком копья.

— Ладно, бей меня, хоть я и не лошадь. Ты ведь человека от зверя отличить не сможешь, даже если и увидишь.

Этцель подавил усмешку и спросил на латыни:

— Что заставляет тебя думать, что ты человек?

Пленник удивленно оглянулся и учтиво поклонился, насколько ему позволяли связанные кожаными ремнями запястья.

— Сознание моих способностей, о великий вождь, — произнес он весело и с почтением. — Я могу читать, писать и говорить на шести языках: гуннском, греческом, латыни, готском, франкском и даже персидском. И попытаюсь забыть седьмой — язык соразгов, если его можно назвать языком. У меня предчувствие, что в будущем он мне не пригодится.

— Ты прав, человеческое существо, — произнес Этцель, краем глаза разглядывая длинноносое тонкогубое лицо, светившееся умом. — Как твое имя и откуда ты появился?

— Имя мое Онигисий, о великий вождь, и рожден я в Афинах, где человеческие существа раньше встречались достаточно часто, почти каждый день, можешь мне поверить. Я был личным секретарем грека благородного рода, но с ограниченным умом — оба этих качества привели его к преждевременной смерти.

— Каким образом?

— Его благородное происхождение побудило императора Восточной империи сделать его главой своего посольства, направленного к соразгам. А ограниченный ум моего прежнего хозяина побудил его принять эту миссию. Соразги взяли грека в заложники и потребовали от императора выкуп в двести фунтов золота. Однако, к несчастью, деньги прибыли слишком поздно. Даже двести фунтов золота не могли уже прирастить голову к его телу.

Хан развеселился.

— Тогда твой собственный ум, должно быть, тоже ограничен, — насмешливо заметил он. — Ведь ты отправился с ним вместе.

— Какая великолепная логика! Будто сам Аристотель изрек это! — воскликнул Онигисий. — Но, впрочем, тут есть смягчающие обстоятельства — мой статус личного секретаря. Если бы я отказался сопровождать хозяина, мне пришлось бы тотчас же расстаться с жизнью, а так я останусь в живых столько, сколько

будет угодно моему новому хозяину. — И он снова поклонился, насколько мог, учтиво.

— Как же тебе удалось уцелеть? — поинтересовался Этцель, все больше поражаясь невозмутимости этого человека.

Онигисий слегка пожал плечами.

— Даже такие погруженные во мрак существа, как соразги, сочли, что я могу быть им полезным, всемогущий вождь. Они заставили меня смотреть за их скотом, что лишь доказывает их понимание моих способностей, ведь их скотина намного лучше воспитана, чем они сами, и это неудивительно, ибо мне говорили, что по большей части они украли ее у гуннов.

Чудовищно грубая лесть заставила Этцеля громко расхохотаться.

— Скажи мне, личный секретарь, какова была миссия твоего бывшего хозяина?

Онигисий в нерешительности огляделся.

— Высокая политика, великий вождь, — пробормотал он. — Быть может, если я осмелюсь предложить какое-нибудь другое место...

— Скажи по-гречески, — на греческом языке продолжил Этцель. Он был в равной степени доволен и умением этого человека хранить секреты, и собственной возможностью продемонстрировать то, чему он научился в Равенне и Аквилее, где на греческом говорили так же часто, как и на латыни.

Онигисий с восторгом воззрелся на него.

— Эллада должна быть польщена! Разве я мог ожидать, что услышу язык Платона из уст военачальника гуннов? Но что я говорю! Разве неожиданность не является одной из выдаю-

щихся добродетелей людей моего властелина? Император Восточного Рима знает об этом хорошо, а теперь и соразгам довелось это почувствовать на себе.

— Миссия, — с нетерпением повторил Этцель.

— Я подхожу к этому, о творец неожиданностей. Фактически миссия была тесно связана с тем самым фактором неожиданности. Император намеревался убедить соразгов, чтобы они и дальше препятствовали прибывающим с востока племенам гуннов присоединяться к уже живущим в долине Данувия. Боюсь, что он переоценивал их понимание высоких политических материй. Они предпочли ухватить малую толику императорского золота, сделав заложником его посла.

Этцель на миг закрыл глаза, чтобы скрыть блеснувшую в них искру. Весьма важные новости.

— Послание было в письменной форме?

— Да, великий вождь. Правда, видишь ли, предводитель соразгов не умел читать.

— Ладно, — сказал хан. — Отныне ты будешь моим личным секретарем, Онигисий. Эй там, развязать ему руки! — повелел он на родном языке.

— Величайший из великих! — воскликнул Онигисий, радостно потирая запястья. — Клянусь всеми богами Олимпа, я буду служить тебе так, как никому еще не служил.

— Можешь оставаться при мне прямо сейчас. Хоть ты и ученый, но поучишься еще кое-чему новому для себя, пока не постарел.

Онигисий увидел, как колонна пленных, в которой он только что шел, растворилась в людском океане. «Что это, судьба, рок, случай, совпадение или прихоть богов, если они существуют? — размышлял он. — Было бы приятно думать, что они есть на самом деле, ведь если это так, я должен быть учтивым с ними, но, впрочем, не слишком, а то у них существует привычка призывать к себе своих любимцев. А личный секретарь предводителя гуннов — что ж, это лучше, чем гонять скотину. И если я не слишком заблуждаюсь, этот предводитель значительно лучше, чем все те двуногие скоты, что бегают вокруг...»

Болотистая равнина была заполонена пленниками, окруженными широким кольцом гуннов. Там и здесь людские ручейки вливались в бурлящее скопище людей.

Хан с удовлетворением отметил, что Пилзал проявил достаточно смекалки, отделив знать от простолюдинов. А вот и Цигур с посланцами восточных племен — их восемь, и все люди знатные.

Хан распорядился забить коня. Крупные куски еще теплого мяса в знак приветствия были разложены на серебряном блюде из шатра вождя соразгов. Посланники ели мясо, издавая приличествующие обычаю возгласы удовольствия, и изо всех сил старались скрыть свое удивление. Неделю назад они получили послания от хана Этцеля, где он предлагал им встречу «в бывшем лагере соразгов» для обсуждения важных дел, касающихся всех, в ком течет кровь гуннов. И они пришли к заключе-

нию, не лишенному логики, что хан Этцель победил племя соразгов, а это немалый подвиг, как им слишком хорошо было известно. Вследствие этого хан Этцель, кем бы он там ни был, становился их соседом, с которым приходится считаться. Теперь же, прибыв в назначенное место, они обнаружили, что сражение только что закончилось. Оно даже и не начиналось, когда рассылались гонцы с приглашением вождя гуннов.

Один из них, Церкал из Ульциагири, осмелился намекнуть на это обстоятельство, и Этцель хитро улыбнулся.

— Посылая гонцов, я уже принял решение уничтожить соразгов. Это было самым важным. И я хотел, чтобы мои друзья пировали вместе со мной, празднуя победу, и чтобы они могли сказать, вернувшись к себе, что видели все собственными глазами.

«Приятный замысел, — подумал Онигисий. Он стоял позади нового хозяина. Кто-то подал ему плащ и знаки его новой должности: пергамент, чернила и несколько перьев из тщательно заостренного тростника. — Приятный замысел, а также отъявленная наглость, впрочем, весьма впечатляет, как и всякая отъявленная наглость».

— Соразги, — продолжал хан Этцель, — были вашими врагами в такой же степени, как и моими. Вот их вожди, за исключением Вендула, который мертв. Я отдаю их вашему хану как подарок от хана Этцеля, сына Мундзука. Число их пятьдесят три. Сотня моих людей будет сопровождать вас на обратном пути, охра-

няя пленников. Еще они будут нести голову Вендрула. Цигур, распорядись.

А теперь вы увидите, как я поступаю с теми, кто осмеливается беспокоить гуннов. Пилзал! Через час сообщишь мне, что племя соразгов перестало существовать.

На широком желтом лице отразилось почти религиозное благоговение. Пилзал поднял меч в торжественном салюте и ускакал.

«Сейчас я упаду в обморок, — подумал Онигисий. — О, всемогущие боги, я точно упаду, и тогда он меня прикончит тоже. Милостивые боги, не дайте мне упасть».

Через несколько минут первая туча стрел вонзилась в плотную массу пленников — мужчин, женщин, детей, и ужасный тысячеголосый вопль поднялся к ясному небу.

Не прошло и часа, как Пилзал вернулся и объявил тоном человека, радующегося исполнению своего самого заветного желания:

— Воля хана исполнена. Слава хану!

Леденящий души крик прекратился, оставались слышны только тихие стоны.

— Хорошо, — сказал Этцель. — Теперь время пировать. И тогда поговорим о делах, которые предстоят. Ах, Онигисий, разве я не был прав, когда говорил, что ты многому научишься еще до своей старости?

— Да, ты это сделал, о хозяин жизни и смерти, — склонил голову афинянин.

— Это только начало. Я пощадил тебя и, возможно, сделал это не зря. Если будешь хорошо мне служить, то станешь настолько богат, что и представить себе не можешь. Если нет —

соразги умерли легкой смертью. Смерть неверного слуги такой легкой не бывает.

— Н-никогда еще х-хан не имел более преданного слуги, чем я, о всемогущий!

Этцель кивнул.

— Страх — самый всемогущий бог для многих людей. — И, обращаясь к посланцам восточных племен, он произнес: — Вам известно, что император Восточного Рима боится вас? Он пытался использовать соразгов как союзников — против вас. Мне кажется, что император Восточного Рима переживает не лучшие времена, раз искал союза с дохлыми ворами скотины.

Посланники ослабились, будто волки. Двумя часами позже предварительный союз был заключен.

2

Сентября двадцать девятого дня года 440 базилика Святого Петра заполнилась до отказа, несмотря на то, что длина ее составляла сто двадцать футов, а ширина — почти шестьдесят пять.

Даже снаружи, на виа Корнелия, собрались тысячи людей, а те, что толпились на пяти лестничных маршах и на широкой открытой террасе, находившейся наверху лестницы, преграждали путь торжественной процессии, направлявшейся в базилику.

Каждый, шествующий в процессии, прошел долгий путь: от Латеранского дворца, через знаменитую базилику Св.Иоанна Латеранско-

го, храм Четырех Волхвов и базилику Клементы — третьего преемника Петра, затем двинулась вверх по дороге до Колизея — там люди остановились на короткое время, и каждый склонил голову и прочитал молитву в память мучеников, которые умерли в стенах этой жуткой громады. Затем направились дальше, чтобы прошеествовать через триумфальные ворота Константина и Тита, пересечь римский Форум и следовать по виа Фламиния, забитой тысячами ликующих, приветственно машущих руками, кричащих людей, и наконец, круто повернув влево, достичь Тибра, путь через который шел по огромному мосту Нерона.

Одинокй человек в сверкающем одеянии, которого несли в позолоченном паланкине восемь крепких священнослужителей, улыбнулся впервые за этот день. Мост Нерона! Если бы кто-нибудь сказал Нерону, что вся его безжалостность, все немыслимые преступления против последователей того, кто принял смерть через крестные муки, не помешают преемнику его жертвы — апостола Петра с триумфом проследовать по мосту его имени в день рукоположения в епископы Рима! Однако улыбка быстро увяла, и, склонив голову под тяжелой митрой, папа стал молиться о душе человека, которым восхищался и которого любил больше всех остальных, если не считать самого Спасителя, и который был погребен в склепе храма, воздвигнутого в его честь, — храма, к которому теперь подошла процессия.

Входящих приветствовали голоса сотни

мальчиков — серебристые звуки, ясные и чистые, как горные ручьи.

Собравшиеся в сверкающих облачениях опустились на колени и поднялись снова, когда покачивающиеся носилки проследовали через неф с четырьмя аркадами, обрамленный лесом колонн.

Епископы из бесчисленных диоцез, прелаты и диаконы низко склонились перед человеком, который был избран единодушно и, более того, избран в то время, когда находился не в Риме, будучи посланным императрицей примирить двух самых крупных ее военачальников — Альбина и Аэция.

Через четверть часа низкий звучный голос папы раздался в первый раз с кафедры — трона епископа, расположенного сбоку от высокого алтаря.

— Да вознесут мои уста хвалу Господу, а мои душа и дух, плоть и язык да благословят Его святое имя! Неспособность отдать должное дарованным Богом достоинствам свидетельствует скорее о неблагодарности, чем о скромности. А что более уместно, как не жертвоприношение в виде хвалы Господу, с которой и должен начаться пастырский труд рукоположенного епископа? Вследствие этого я вознесу хвалу Господу Богу нашему и буду делать так и впредь, прилагая все силы и дарования, которые Он ниспослал мне. Помимо этого, я присоединюсь к вам, празднуя с подобающей благодарностью ваш благосклонный выбор, ибо я, который печется о вашем спасении с рвением пастыря, сознаю, сколь много уважения,

любви и доверия ко мне вы проявили, когда, невзирая на мои малые заслуги в прошлом, так великодушно возгласили свой вердикт в пользу моей скромной персоны. И я молю вас, во имя милости Господа, поддержать своими молитвами избранного вами человека, дабы милость Божья не покинула меня и дабы ваше ко мне доверие не было поколеблено... дабы я мог возносить молитвы все дни моей жизни — в готовности служить Господу и в готовности служить вам: «Святой Отче наш, храни их во имя Твое, тех, кого Ты вверил мне». Да возвеличит душа моя славу Господню во все дни и годы...

И закончил он словами апостола Павла:

— Дабы вы своими благими делами соединялись со мной в радости и славе — вы, кто даровал мне такое искреннее свидетельство своей доброй воли в этой жизни. Именем Христа, Господа нашего¹.

И снова полетели ввысь серебряные голоса. Фимиам подобно божественной лозе сизыми легкими струйками обвивал стройные колонны.

Двумя часами позже папа уже вернулся в свой кабинет в Латеранском дворце, расположенном в западной части города. Дворец был возведен на Римском озере императором Константином более ста лет назад. Рядом с ним находилась базилика Константина — собственно кафедральный храм города. Однако папа чувст-

¹ Речь папы является историческим фактом — знаменитая *Sermo primus* Льва I.

вовал, что лишь один храм в мире подходил для сегодняшней церемонии, потому что всегда стремился достичь близости к Святому Петру. Всю свою жизнь он испытывал любовь к простому, порывистому, готовому к действию, не стареющему душой старцу. К лучшему из лучших, к человеку, который первым признал истинное величие и высоту Христа. «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Если бы не прозвучало других слов, кроме этого вопроса, и его смиренного утвердительного ответа, то и их было бы достаточно для доказательства того, что Петр был предназначен для цели более возвышенной, чем остальные апостолы. Ибо что для кроткого Бога Любви Небесной важнее, чем... любовь? Он возлюбил Его более других апостолов. Почти все из них умерли во имя Его, однако лишь Петр умер той же самой смертью, только попросил, чтобы распяли его головой вниз, потому что не считал возможным для себя умереть точно так же, как и его Господь.

«Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Он доказал это.

Камень. Кефас. Петрос. Камень... Именно этот аспект нравился папе больше всего. Нравился еще тогда, когда маленьким мальчиком он прочел о нем в отцовском доме в Волатерре. Безопасность, надежность, крепость. Здесь было то и был тот, на кого он мог положиться. Впоследствии, изучая философию, он открывал для себя мир, в котором не было ничего постоянного, похожего на камень, в котором один искусный аргумент побеждал другой,

пока в конце концов не оставался лишь сухой пыльный привкус во рту. И позже, когда он стал священником и отправился в мир, чтобы встретиться с человеком в тысяче его обликов, когда увидел хитрость, предательство, трусость, готовность к компромиссам, он обнаружил, что мысль о «камне» действует на него подобно волшебному заклинанию. Много лет назад императрица Платидия спросила, является ли Августин великим примером для него, и он воскликнул «Нет!» настолько решительно, что она удивилась — он хорошо это помнит. Епископ из Гиппона, без сомнения, был одним из мудрейших людей за всю историю церкви. Десять лет назад весть о кончине Августина дошла до Италии. Умер он в тот самый час, когда вандалы под предводительством Гензериха ворвались в его город, убивая, сжигая, грабя, как это свойственно варварам. Там воцарился дух злобы, крови, насилия, а дух святости покинул те края. Это была естественная смерть во всех смыслах. Теперь Августин знал все ответы на бесчисленные вопросы, которые старался разгадать и решить в течение жизни. Великий человек и святой человек, да упокоит Господь его душу с миром!

Но все же не великий образец для него. Им был и останется всегда Петр.

И вот уже завершилось снятие с него тяжелого папского облачения. Он надел свои простые одежды с кольцом рыбака и нагрудным крестом и мог приняться за работу.

Что говорит архидиакон? Мистическое

мгновение? Почему мистическое мгновение? Что за мистика?

Архидиакон Церетий объяснил, смиренно и учтиво.

Первые мгновения работы — в качестве преемника Святого Петра. Не возникло ли у папы ощущения, что дух Петра вошел в него?

— Ощущение... — Папа загадочно посмотрел на архидиакона. — Ощущение — это из области эмоций. А что общего между эмоциями и мистикой?

— Боюсь, что я не совсем удачно выразил свою мысль, святой отец.

Однако худшее было еще впереди.

— Я знаю, что ты имел в виду, разумеется. Ответом будет весьма решительное «нет». Я не мистик. Никогда им не был и не буду. Я простой слуга Господа. В жизни не имел ни одного видения. А ощущение у меня такое, что нужно сделать очень много, и чем раньше мы возьмемся за работу, тем лучше.

— Да, святой отец, — удрученно произнес архидиакон.

Папа улыбнулся ему.

— Поэтому начнем немедленно. Сначала дела первостепенной важности. Записывай, пожалуйста. Я хочу, чтобы диакон Септим пришел повидаться со мной сегодня днем, мы обсудим некоторые моменты в каноническом праве, которые нуждаются в разъяснении. Завтра утром мне хочется увидеть морского консула и обсудить с ним план, который дорог равно ему и мне: главный вход в базилику Святого Петра не может оставаться таким, как сей-

час, и мы уже обменивались идеями на этот счет. Третье — ты отыщешь мои записки на счет секты манихеев во втором шкафу слева, там должен лежать большой свиток. Я поработаю над этим сразу после полуденной трапезы. Это опасная секта, и их учение распространяется по всей Италии, особенно в Риме.

— Большинство из них явились из Африки.

— Я знаю. Мы дали им пристанище и поступили правильно. Однако они воспользовались возможностью и стали распространять учение, несовместимое со словом Христовым. Добро и Зло как равные силы! А это предполагает существование двоебожия. Просто еще одно из вредных поверий, идущих с Востока. Записал? Хорошо. Приготовь послания к епископам Восточной империи — наброски для них лежат в первом шкафу справа, в том, что из черного дерева. Письма императору, императрице-матери и в императорский дом Востока я напишу сам. Завтра туда отплывает корабль — ты должен держать наготове курьера, который доставит их. Лучше всего представь мне троих, и я выберу того, кто меня устроит.

— Слушаюсь, святой отец.

— Посланник должен был человеком умным, а также обладать независимостью суждений и рвением в деле Христовом. Он должен понимать в дипломатии — и все-таки иметь характер. Выбор не так уж и прост. Я сам дам ему инструкции. Двор в Константинополе нелегок для общения. И самое прискорбное то, что древняя империя расколота на две части — это может привести кое-кого к мысли, что власть

церкви также может быть расколота, а этого не должно случиться никогда. Церковь едина. Поэтому надлежит поддерживать согласие между всеми ее служителями, и за это ответствен я сам. Сохранение ее единства всегда входило в число моих первостепенных задач.

«Значит, так оно и есть, — подумал архидакон Церетий. — Он всегда знал, что однажды станет папой». Подобно большинству людей, Церетий невольно подумал о гордыне и честолюбии, но тут же спохватился. Если выдающийся человек признается перед самим собой в этом, то он признает правду, а правда никогда не может быть греховной. Да и вообще, не ему судить: Комений был духовником святого отца, а не Церетий.

— Для единства существенно, — продолжал папа, — пресечь различные формы ереси. Манихеи лишь немногие из еретиков. В Испании это прискиллиане, а пелагиане распространились почти повсюду. Я должен навести порядок в доме Господнем, и я это сделаю. Письма к епископам Испании и Британии отправятся сегодня имперской почтой. Рано или поздно нам придется наладить собственную почту. Я хочу, чтобы ты переговорил с имперским протонотарием по этому поводу. Запиши это, пожалуйста. И запиши также, что я ожидаю патриция и полководца Аэция завтра. Он прибывает в Рим на переговоры с императором, то есть с матерью-императрицей. У него будет частная аудиенция со мной, однако я хочу, чтобы епископ Евлогий подготовил обзорный доклад о политических перспективах. Поговорив с

Аэцием или, пожалуй, выслушав его, я получу возможность судить, являются ли достаточно серьезными политические суждения нашего доброго епископа, поскольку Аэций весьма здравый муж.

— И все эти дела за такой короткий срок? — осмелился заметить вслух архидиакон. Краем глаза он видел, что папа все это время что-то писал — одно письмо он закончил и начал другое.

— Ох, но это еще не все. Нужно что-то сделать с делегацией египетских монахов — весьма святые люди, сомнений нет, но крайне крикливые. Их петиция затрагивает целую проблему взаимоотношений монашества и епископата. Ты изучишь суть дела, Церетий, и сообщишь мне свое мнение к концу недели, скажем, в пятницу.

— Так много проблем, святой отец, — забормотал озадаченный архидиакон. — Я весьма опасаюсь, что не справлюсь со всем. И что касается твоего собственного здоровья, святой отец...

— Мой врач займется им, если возникнет необходимость. То есть если я позволю ему это сделать, — весело отозвался папа. — Не беспокойся! Работай! Тот, кто дает волю, даст и силы! — И он твердо подписался: ЛЕВ I, главный понтифик.

«Он успел написать два письма!» — изумленно отметил архидиакон.

— Центр наших неприятностей определенно переместился, — сказал Аэций.

Как обычно, мать-императрица слушала

очень внимательно, и, как обычно, молодой император откровенно скучал. Он ненавидел официальные совещания почти так же сильно, как его мать, кажется, их любила. Он не боялся, что она предпримет какой-нибудь неправильный шаг, он доверял ей во всем. Не она, а «всемиловейший и высочайший император Валентиниан III, правитель Западного мира, непобедимый» должен был созывать все советы и председательствовать там. Однако делать это заставляла его она и зорко следила, чтобы все шло согласно ее представлениям о политике. Он важно восседал на троне, а мать стояла в его присутствии. Но при этом самым нелепым образом без конца подталкивала его, шептала на ухо, когда он медлил с ответом, или казался сбитым с толку, или волновался; она открыто подсказывала ему решения, и много раз он видел, как важные персоны смотрят не ему, а ей в лицо, наблюдая за эффектом от своих слов. Как же ей нравилось манипулировать империей и всем остальным! И как она верила в свою исключительность! Что ж, вероятно, так оно и было, и это оставляло ему много свободного времени, позволяя заниматься тем, что ему нравилось. Императрица, естественно, терпеть не могла свою свекровь, но так же естественно пресмыкалась перед ней в рабском восторге — а кто не пресмыкался? — и вообще была не настолько глупа, чтобы вторгаться в ее дела. Милая Евдокия. Она не слишком вмешивалась и в его развлечения.

Итак, центр неприятностей переместился.

Ну и что? В империи всегда кто-то где-то бунтует.

— Как вы поняли из моих предыдущих слов, я попытался осветить ситуацию в Галлии и в Испании за последние несколько лет.

— Весьма убедительно, — одобрила Плацидия.

«Сейчас она не станет меня подталкивать, — подумал император, — иначе он заметит. Как Аэций любит, когда его похлопывают по спине! А мать знай поет ему хвалу утром, днем и вечером. И вообще, она совершенно утратила критическое отношение... к нему. Они, похоже, оба действительно верят, что могут творить историю, бедные пигмеи. И даже не догадываются о тех силах, которые ее действительно творят, об ужасных, демонических силах, стоящих за всеми событиями».

Сероэс обещал ему провести еще один магический сеанс сегодня вечером, когда Сатурн и Луна будут находиться на небе в благоприятном положении. Он поклялся, что все будет абсолютно безопасно, если они останутся внутри круга, возможно, ему даже удастся показать одного из демонов, и в любом случае там будут замечательные знаки и видения. Старик Аэций все бубнит и бубнит про великие дела, которые он якобы совершил. Говорят, что по-прежнему тревожная ситуация. Вечно какие-нибудь неприятности! Но на этот раз речь, кажется, идет о Восточной империи. Почему бы не предоставить им самим справляться с неприятностями?

— ... это крайне неудачная идея константинопольских политиков. Они обнаружили свою

слабость, пытаясь заключить союз со сравнительно мелкими племенами вроде соразгов. Если такие вещи и делаются, то тайно, а они вместо этого направили знатного посла с официальным письмом, подписанным Хрисафием — небезызвестной персоной...

Плацидия спрятала улыбку. Этот человек действительно фактически правил восточным двором, хотя официально был всего лишь советником.

— Документ тут же попал в руки к хану Этцелю, когда тот истребил племя, и у него хватило дипломатического чутья, чтобы извлечь из него максимальную пользу... особенно вследствие того, что Хрисафий счел возможным использовать имперскую печать. Хан Этцель сумел убедить сначала два племени, а затем еще одиннадцать гуннских племен, что мощной Восточной империи практически не существует, и сам возглавил дерзкие набеги на имперские провинции, результаты которых превзошли самые смелые ожидания. Войска восточных римлян терпели все новые и новые поражения, а непрерывные успехи наконец убедили даже осторожного и вечно колеблющегося великого хана Бледу. Ситуацию могла бы поправить не иначе как большая война, а к такой войне в Константинополе не готовы.

— Войны нельзя ожидать, когда у власти стоит евнух, коль скоро речь идет о чести, а не о самом существовании, — презрительно поморщилась Плацидия.

— Я полностью согласен с великой императрицей, — кивнул Аэций. — Однако я весьма

опасаюсь, что набеги гуннов являются угрозой всей империи, а не только ее чести.

— Ты хочешь сказать — Восточной империи? — вмешался Валентиниан.

— То, что касается их, касается и нас, Валентиниан, — строго упрекнула сына Плацидия. — Это самый простейший закон политики.

— Да-да, разумеется, — недовольно отмахнулся император.

Аэций, казалось, оставил без внимания эту небольшую интерлюдю. Он продолжал:

— Пока что восточному правительству удастся отбивать атаки гуннов при помощи золотого оружия — другими словами, они платят дань как великому хану, так и вождям племен. Однако требуемые суммы увеличиваются с каждым годом, и наступит момент, когда их больше не смогут платить. Несчастные восточные провинции уже изнурены, удовлетворяя алчность гуннов, но если дань не поступает точно в назначенный срок, города и деревни подвергаются немедленному нападению гуннов, их сжигают дотла, а жителей истребляют.

— Но ведь ты всегда описывал мне гуннов кочевниками, дикими всадниками, не подчиняющимися воле военачальников и правилам порядка. А теперь ты, кажется, видишь в них серьезную опасность?

— Да, домина Плацидия, это так. Поскольку гунны очень изменились. Изменились после смерти старого хана Руа, которого я знал весьма неплохо. В них появился новый дух, и я

знаю человека, который принес его. Знаешь его и ты.

— Я? Знаю гунна?!

— Хан Этцель некогда был заложником при твоём дворе в Аквилее. Я присылал его тебе. Однажды он внезапно исчез из дворца. Я думаю, это был чёрный день для империи.

— Хан Этцель... — Императрица задумалась. — Я действительно не припомню его. У нас побывали сотни вождей и князей варваров и до сих пор живут. А этот человек, говоришь, принес такие перемены? Подожди, я вспомнила. Он сбежал, забрав в собой нескольких коней. Мы так и не выяснили тогда почему.

— По-моему, я знаю причину. У него перед побегом побывал один из соплеменников, который привез вести из дома — старый Руа тогда вроде лежал при смерти. Вот Этцель и поспешил домой, чтобы знать наверняка, что о нём не забудут, когда наступит время делить власть. Я ещё тогда почувствовал, что в этом юноше что-то есть, и именно поэтому убедил Руа послать его в Италию. Очень жаль, что ему удалось тогда бежать. Он превратился для нас в серьёзную угрозу.

Молодой император потерял терпение.

— Но ведь именно ты всегда так любил своих дорогих гуннов, разве нет, Аэций? Ты принял тысячи их к себе на службу — к нам на службу, я хотел сказать; правда, служили они скорее тебе, чем нам. — В раздражённом состоянии он был похож на сварливую, истеричную женщину.

Плацидия побледнела, но старый воин остался совершенно спокойным.

— В тех обстоятельствах это было самым разумным решением, о великий, — произнес он, глядя на Плацидию. — Чем больше мы примем их на имперскую службу... — он поставил чуть заметное ударение на слове «имперскую», — тем меньше становится опасность реальной концентрации их сил. Я знаю гуннов. Я жил среди них. Фатальной ошибкой было то, что Хрисафий открыл им дверь на восток: оттуда все время прибывают свежие племена. Скифия и даже Северная Иллирия кишат ими, а хан Этцель, кажется, имеет среди них больший авторитет, чем кто-либо другой, весьма вероятно, благодаря своей быстрой победе над соразгами, по крайней мере отчасти это так. С каждым днем они наглеют. Шесть месяцев назад целая их армия вторглась в Киликию и Каппадокию, да, в самое сердце Восточной империи, практически не встретив сопротивления. Они совершили молниеносный переход через горные перевалы Кавказа, считающиеся непроходимыми даже для пехоты. И для чего? Потому что кто-то им сказал, что каппадокийские кони очень хороши, и они решили скрестить их со своими! Что и сделали, не считая обычных грабежей и пожаров. Когда же наконец появились имперские силы довольно значительной мощи, гунны тут же ускакали, забрав с собой много тысяч коней и половину богатств обеих провинций. В Константинополе это попытались замолчать, однако ничего у них не вышло. Через город всегда проезжает много путешест-

венников, и они разнесли эту весть повсюду. К тому же в Киликии и Каппадокии девять месяцев спустя родилось слишком много косоглазых желтокожих детишек.

Валентиниан разразился пронзительным смехом, Плацидия же прикусила губу. Аэций был старым воином, и приходилось делать на это скидку. Еще хорошо, что на встрече больше никто не присутствовал.

— Гунны — азиаты, — продолжал Аэций. — Они нападают, лишь когда считают противника слабым. Восточная империя показала свою слабость. Но Хрисафий знает об этом. Поэтому он будет искать выход.

— Ты прав, — задумчиво сказала Плацидия. — И выход он найдет на свой, Хрисафиев, лад. Что это может быть? Какой можно сделать наиболее хитрый и подлый ход?

— Я не могу думать мозгами евнуха, — высокомерно вскинул брови Аэций. — Однако своими собственными могу, как мне кажется. Что бы он ни захотел сделать, разумным было бы его опередить.

— Война против гуннов? — кратко спросила Плацидия. Она не хотела войны. Но если надо, так надо. Она испытала большое облегчение, когда Аэций отрицательно потряс головой.

— Нет, домина, не теперь. Сначала я должен быть уверен в союзниках. Иначе будет катастрофа, если мы станем одновременно драться с гуннами на севере и с вестготами на западе. К тому же Гензерих в Африке не тот человек, кто упустит такую возможность. Война на два фронта — дело плохое. А война на три фронта

равнозначна самоубийству. Давай-ка лучше посмотрим, не сможем ли мы избавиться от нового врага другим путем. Его единство для нас опасно. Не думаю, что между великим ханом Бледой и его братом Этцелем такая уж нежная любовь. Могу ли я получить твое позволение попытаться ослабить опасность, завоевав доверие Бледы?

— Ты получил его, патриций Аэций, — с готовностью сказала Плацидия, чувствуя слишком большое облегчение, чтобы обращать внимание на раздражение сына. Лишь увидев его лицо, вспыхнувшее и злое, она добавила: — Я уверена, что император считает так же, как и я. Не так ли, Валентиниан?

— Кажется, не имеет значения, что я считаю, — скривил губы молодой человек. — Но если ты все-таки хочешь знать мое мнение, то я считаю, что мы сейчас потратили много драгоценного времени, разговаривая о пустяках. Что такое гунны! Несколько армий конницы, никакой пехоты, никаких орудий для ведения осады — все это хорошо лишь для мелких схваток. Но ради всех святых, ведь мы же Римская империя! Что твои гунны могут сделать нам? Ведь за всю свою историю они не смогли построить себе города — у них даже нет столицы, насколько мне известно.

— Великий император совершенно прав, — холодно подтвердил Аэций. — Гунны не мастера строить города. К несчастью, они очень хорошо научились разрушать их. Если я смогу остановить их и воспрепятствовать их натиску, посеяв раздор в их рядах, вместо того чтобы

вести разорительную и очень опасную войну в самое неподходящее время, то, как мне кажется, я сослужу хорошую службу империи.

— Как тебе будет угодно, — сухо сказал Валентиниан, поднялся и вышел из зала.

Аэций и Плацидия переглянулись.

— Надеюсь, что тебе удастся твой замысел, патриций, — произнесла императрица-мать с подчеркнутой вежливостью, которая на деле была извинением за выходку сына. — А если нет, тогда ты найдешь другой выход. Много лет назад в Аквилее ты однажды сказал, что в моей... что в империи есть два великих человека. Один из них с тех пор поднялся на трон Святого Петра. Ты был тогда прав...

— Но от папы вряд ли можно ожидать, что он остановит наступление гуннов.

— Нет, это дело войска. Иногда я чувствую... — Она как бы спохватилась и замолчала.

— Что ты чувствуешь, домина?

— Что ты можешь стать последним римлянином, Аэций.

— А я знаю, — парировал Аэций, — что твое место в истории рядом с Семирамидой, Офрой, Клеопатрой и Зенобией.

— Большинство из них плохо кончили, — слабо улыбнулась Плацидия. — Лучше бы уж ты сравнил меня с Еленой, но, увы, Валентиниан далеко не Константин.

— Великий император пока еще очень молод.

— Мне не повезло с детьми, — тихо и печально проговорила Плацидия.

Тень Гонории заполнила комнату, где зиял пустотой императорский трон.

Оба подумали о ней, но никто не осмелился сказать об этом вслух.

«Они сделали из нее что-то вроде монахини в Константинополе, — подумал Аэций. — Ждет ли Плацидия от меня вопроса? Должен ли я спросить? Нет, слишком рано. Мой час придет — возможно, хан Бледа поможет в этом, или Этцель, или Теодорих у вестготов, или Гензерих. Любой из них годится, чтобы убедить ее в моей незаменимости».

«Насколько много он знает? — думала Плацидия. — Эта его история насчет гуннских ублюдков в Киликии — может ли это значить, что он догадывается? Нет, конечно же, не может. Стражи, которых допрашивали, умерли под пытками. Даже Валентиниан не знает имени того мужчины; не знают и Лизий с Тимеем». Секрет просто хранился. Естественно, слухи ходили. Но их устранили довольно легко. Все, что требовалось, так это сказать соответствующим людям «по величайшему секрету», что августа Гонория проявила слишком большие политические амбиции. Люди никогда бы не поверили приличному поводу — скажем, искренней и сильной религиозности, но назови им порок, проступок — ах, да простую слабость, и они моментально примут это на веру. И эти точно выбранные люди ходили и сплетничали, так что теперь каждый верил в политические притязания Гонории.

Регулярно, раз в месяц Плацидия ей писала, и так же регулярно Гонория отвечала. Это были

очень вежливые письма и совершенно бездушные — как ее, так и Гонории. Им действительно нечего было сказать друг другу, нечего!

Валентиниан не писал совсем. Он всегда ненавидел сестру. Да и вообще, единственной персоной, которую он любил в этом мире, был он сам. Бедная Евдокия! Не было ни малейшего смысла изгонять этого проходимца Серозса и его приятелей-магов — появятся новые, вокруг императора всегда будут толпиться люди такого сорта, он привлекает их, как бочонок вина пьяниц. Маги, прорицатели, торговцы восточными одуряющими снадобьями и травами, а также невероятно ужасный тип женщин — таково окружение правителя Западной империи. Нет, с детьми ей определено не повезло.

Аэций был прав. Он и папа — единственные настоящие мужчины в империи. Он напугал ее больше, чем она могла признаться даже самой себе, рассказом про набеги гуннов на Восточную империю, а еще больше картиной войны на три фронта. Гунны — вестготы — вандалы. Плацидия, нет, империя была окружена.

Она начала говорить Аэцию про папу, неожиданно и почему-то нервно. Он поистине великий человек, к тому же хороший, нет сомнений, он мог бы многое сделать для единства империи. В конце концов духовная сила сильнее всего в мире. И это было бы в его интересах не в меньшей степени, чем в ее.

— Великая императрица говорила ему об этом?

— Ну конечно же, говорила.

Наступила тишина. Она хорошо запомнила ответ папы, однако повторять его Аэцию не хотела. «Духовная сила никогда не может быть использована в мирских интересах, великая императрица. Высшее не должно состоять на службе у низшего. Мои интересы исключительно такие же, как у моего Господа, который сказал: «Паси овец моих». И можно сказать с уверенностью, что чем лучший христианин какой-либо человек, тем сильнее будет в нем сознание ответственности перед Богом и перед кесарем; этого должно быть достаточно».

— Я тоже говорил с ним, — сказал Аэций, когда увидел, что Плацидия не желает продолжать. — Никогда еще не доводилось мне встречать более занятого человека. Его диаконы, субдиаконы и прочие клирики как загнанные зайцы. Клянусь Геркулесом и Святым Петром, не хотел бы я быть на его месте. За своей-то душой трудно присматривать, я уж не говорю про души миллионов. Когда я отправляюсь на войну, моя задача — одолеть своими силами армию противника. Если враг числом превосходит мое войско, я избегаю сражения. Если он слабее либо равен мне по силам, я меряюсь своим воинским духом с полководцем врага. Тут все честно. А ведь папа должен творить христиан из ростовщиков, землепашцев, попрошайек, евнухов, стражников, и я не могу назвать это поле деятельности многообещающим, верно, домина? Когда Хрисафий в Константинополе делает в политике какой-нибудь особенно подлый трюк, и папа пишет послание

императору Феодосию, те поднимают крик, чтобы он не вмешивался в их дела, а занимался своими мессами. А когда мы считаем, что он может быть нам полезным, оказав давление на крестьян, чтобы те платили более высокие налоги, чем они могут себе позволить, а он занимается мессами, мы протестуем и говорим, что он не выполняет своего долга по отношению к империи. Кому понравится быть папой?

— Во всяком случае, — проговорила Плацидия, — он всегда знает, что ему делать. У него есть авторитет, на который можно опираться.

Значит, налоги слишком высоки. Но разве Полибий не уверял ее, что это не так? А как иначе она сможет содержать армию? И так-то она еле-еле набирает эту огромную сумму. Она знала, что крестьяне недовольны почти во всех провинциях. Знала, что чиновники чаще всего нечисты на руку. Ей доносили, что Полибий строит себе еще одну виллу возле Неаполя. Багауды потерпели поражение в Галлии и Испании, однако новые мятежи могут вспыхнуть где угодно и когда угодно. В головах простолюдинов бродит безумная идея, что власть и богатство можно поделить на равные доли. Если это так, долго ли это просуществует? Ох, какие глупцы!

— Аэций, скажи мне: как ты думаешь, империя скоро падет?

«Да, она стареет», — подумал воин.

— Нет, пока живы ты и я, домина.

— Двадцать семь сыновей, — произнес Онигисий, почтительно отодвигая один список и протягивая руку к другому. — Теперь дочери: две, шесть, восемь, двенадцать, двадцать — тридцать одна! — В его глазах светилось благоговение, когда он повернул голову к хану, неподвижно, опустив веки, сидевшему на своем высоком троне.

— Список с бабами можешь выбросить, — зевая, произнес Этцель. — Мне они не нужны. Бабы не в счет. Правда, я бы не сказал, что и сыновья мне особенно нужны... даже Ирна.

— Князь Ирна очень красив, хан.

— Да, он похож на мать. Милисса была красива. Впрочем, она красива до сих пор. Это так, Онигисий?

— Я не знаю, хан, — ответил грек с легким беспокойством.

— Так ли это? Мне донесли, что твоя шея становится слишком длинной, когда она проходит мимо... вроде как у той нелепой птицы под названием страус, которую император Федосий прислал мне вместе с данью в прошлом году. Самая большая птица в мире, но только вот летать не умеет. Какое сходство с Восточной империей! Так как же насчет твоей шеи, ох, Онигисий?..

— Она настолько длинная или короткая, насколько это угодно моему господину, — произнес грек, и Этцель расхохотался, видя его задрожавшие губы.

— Я отдаю тебе Милиссу, — решил он. — Можешь сам написать себе распоряжение.

Это была большая честь, и Онигисий рассыпался в благодарностях хану, но тот думал о своем. Ирна, сын от Милиссы, и вправду очень красив, но он никогда не станет правителем. Эллак неплохо справляется с воинским делом, и Денгизих тоже, однако никто из них не обнаружил настоящих качеств вождя. Судить о других пока еще рано, но их матери... Нет, ни в одном из его сыновей не течет настоящая королевская кровь. Конечно, и Пилай, и Крека были взяты из старинных княжеских родов, но этого еще недостаточно. Кровь зависит не только от происхождения, но и от характера. Вот если бы...

Он прогнал Гонорию из своих мыслей с усилием, ставшим уже привычным.

— Доклады, Онигисий.

— Великий хан получил известие о предстоящем визите двух германских королей: Валамера от остготов и Ардарика от гепидов. Каждый уже находится в пути со свитой в количестве пятидесяти человек.

Этцель тонко улыбнулся.

— И какова же реакция Бледы?

— Он не знает, к чему бы это...

— Разумеется, не знает. Достаточно того, что это знаю я.

— Однако он предполагает, что они станут просить о союзе против Восточной империи.

— Думает, да? Ну, и...

— Он просил хана Гулляка принять их по прибытии, что произойдет завтра после полудня. Остального мой человек не смог расслышать, а люди Гулляка неразговорчивы.

— Их молчание говорит мне достаточно громко о многом. Бледа не хочет союза, иначе он не стал бы просить Гулляка принять королей, а принял бы их сам. Бледа и сам не очень умен, а Гулляк и вовсе глуп. И Бледа знает это.

Онигисий ухмыльнулся. Он разгадал замысел своего господина. Тот пригласил двоих вождей посетить гуннов, поскольку хотел, чтобы они испытали разочарование от встречи с Бледой и Гулляком, чьи взгляды на потенциальный союз с гепидами и остготами он уже заранее осторожно выведал. А потом он скажет германцам, что он за них всей душой, но не в состоянии переубедить великого хана. Поистине огромное количество вождей и королей разных племен и народов смотрит на Этцеля как на своего друга — его талант в выстраивании собственной популярности достоин изумления.

— Продолжай, Онигисий.

— Вчера вечером прибыло золото за полгода из Западного Рима.

— От Аэция было какое-нибудь письмо?

— Точно не знаю. Великий хан предпринял предосторожности.

Этцель сердито нахмурился. Большинство новостей из Западной империи держалось от него в секрете. Именно из-за этого год назад у них произошла яростная ссора с Бледой, и он еле-еле сдержался, чтобы не ударить брата. На все аргументы, что только он и никто другой должен вести дела с Западной империей, потому что он действительно ее знает, изучил в то время, когда жил там заложником, у Бледы был

лишь один ответ: «Великий хан я». Конечно, у него имелись и свои шпионы в Западной империи, но этого было слишком мало, пока Бледа поддерживал прямые контакты с Аэцием и императрицей-матерью. Только *они* были надежным источником информации, но для него они оставались недоступными.

Онигисий продолжал доклад. Известия прибыли со всех сторон, даже из Египта и Северной Африки, где Гензерих срочно строил корабли. Однако хан не уделил этому особого внимания. Он тихо сидел, и глаза его теперь были закрыты полностью. Он казался вырезанным из желтого дерева.

Онигисий знал, что это дурной знак, но знал и то, что сам он все годы службы у хана находится в фаворе, хотя, впрочем, никогда невозможно было угадать, что происходит внутри этого массивного азиатского черепа.

Этцель резко поднялся.

— Мы проедемся верхом, Онигисий. Цигур!

Кривоногий коротышка всегда находился в пределах слышимости.

— Троих коней, Цигур.

«Кто бы ни сотворил человеческую натуру, — подумал Онигисий, — нет сомнений, что он проделал достойную восхищения работу в одном отношении: мы можем привыкнуть почти ко всему, даже к лошадиной спине под своим задом».

Внутренне смеясь, он вспомнил первые недели службы у своего господина. Верхом, все время верхом, либо без седла, либо с какой-то штуковиной, похожей скорее на инструмент

для пыток, чем на приличное седло. Ему припомнился один-единственный случай, когда он видел, как хохочет хан, а его люди вместе с ним — в конце какой-то особенно утомительной поездки он предположил, почти обезумев от боли, что, по-видимому, в обычае гуннов заставляя личного секретаря изготавливать собственный пергамент из задубевшего от непрерывной езды зада. «Это заслуживает награды», — произнес хан, отсмеявшись, и протянул ему кусок сырого мяса, на котором сидел во время езды, чтобы размягчить его тяжестью своего княжеского тела. К счастью, к тому времени Онигисий знал уже достаточно хорошо обычаи гуннов, чтобы понять, что ему оказана небывалая честь, которой позавидует любой вождь, и съел мясо, как требовал того обычай, с громким чавканьем, традиционно служившим выражением восторга, моля всех богов, чтобы его страх пересилил отвращение и чтобы желудок не изверг из себя эту ужасную почесть. Удалось.

Впоследствии он узнал, что хан все время угадывал его истинные чувства — он достаточно времени провел в Равенне и Аквилее, чтобы разбираться, что нравится культурным людям, а что нет. Но даже теперь, после всех этих лет, он никогда не мог сказать наверняка, как много хан знал и что он думал в действительности. Некоторые из его реакций оказывались совершенно неожиданными, они вызывались скорее каким-то таинственным инстинктом, чем размышлениями, и именно тогда результа-

том обычно становилась победа в сражении либо какое-то выигранное преимущество.

Но когда он застывал в неподвижности и выглядел словно вырезанная из желтой древесины фигурка, сие означало, что у него что-то не ладится, и кому-то обычно приходилось расплачиваться за это жизнью.

Теперь они уже скакали по степи, он, хан и неизменный Цигур, по направлению к небольшому лесу, к которому хан испытывал особое пристрастие. «Я выбросил здесь свои мысли, — произнес он однажды. — Все равно что помылся. Мысли — это грязь в мозгу человека». Онигисий не мог не спросить себя, что сказал бы Аристотель по поводу такого определения мысли, однако у него было смутное ощущение, что хан не порадовался бы ответу Аристотеля. И все-таки по-своему он был великим — этого нельзя было не признать. Жестокий, порой до безумия, вспыльчивый, тиран — но великий. К тому же человек с собственным кодексом морали и этики. А те, кто ослушается... Онигисий содрогнулся. Ему вспомнился молодой вождь, который попытался убить брата, поскольку тот позарился на его красивую жену. Великий хан послал вождя к хану Этцелю на суд, вероятно, будучи сам слишком занят, и хан велел посадить несостоявшегося убийцу на кол перед шатром брата. Получив два дюйма заостренного кола себе в зад, несчастный кричал и визжал всю ночь, пока вес тела не насадил его достаточно глубоко, чтобы он смог умереть. На следующий день великий хан справился о решении, и хан Этцель ответил:

— Уместно и справедливо, чтобы его брат наслаждался наказанием в полной мере и чтобы жена научилась хранить верность.

— Он собирался совершить тяжкое преступление, — ответил Бледа. — Ты принял правильное решение, брат. Я восхищен им. — Его лицо осветила слабая, загадочная улыбка — пожалуй, манера улыбаться была единственным, что роднило братьев.

То, что три хана — великий хан, Гулляк и Этцель — следили друг за другом, казалось Онигисию вполне естественным, поскольку сам он провел много лет на службе у одного из высших сановников Восточной империи, где каждый выслеживал каждого. Хан Этцель спросил его однажды, чем, на его взгляд, больше всего занимались в Константинополе, и он ответил без малейших колебаний: «Слежкой, доносами и взятками». Хан презрительно усмехнулся.

— Ты обнаружишь кое-что из этого и у нас, гуннов, Онигисий, но не в таком количестве. Главное, чем мы занимаемся, — это скачем верхом, сражаемся и спим с женщинами. А в Константинополе, кажется, уже давно разучились это делать. Они там слишком хилые, чтобы ездить верхом, слишком трусы, чтобы сражаться, и слишком вырожденцы, чтобы находить наслаждение в женщинах. Вот они и занимаются больше всего тем, чем мы занимаемся только в свободное время. Совершенно ясно, что мы намного превосходим их, как и любой другой народ.

Онигисий с любопытством поглядел на

своего господина; порой трудно было понять, серьезно ли говорит хан, однако предполагать, что он шутит, было бы опрометчиво.

Потом произошел случай, настолько изменивший их взаимоотношения, что он раньше в это не поверил бы. К тому времени он уже три года находился на ханской службе и не мог пожаловаться на свою жизнь. Ему дали коней, отдельный шатер, даже мебель, которая когда-то украшала кабинет какого-то достаточно высокопоставленного грека, а также пару рабынь, из которых по крайней мере одна была красивой. Он начинал привыкать к верховой езде, к капризам и переменам настроения своего хозяина, а то, что он так и не смог привыкнуть к кухне гуннов или скорее к ее отсутствию, перестало мучить его с тех пор, как он научил менее красивую из своих рабынь готовить для него еду в греческом стиле. Здоровье его находилось в великолепном состоянии — жизнь на свежем воздухе пошла ему на пользу. И вдруг он получил письмо от отца...

Он уже давно пытался связаться с ним с ведома и разрешения хозяина. Однако ответ пришел только теперь... с нового адреса в Коринфе. Это было отчаянное письмо, особенно если умеешь читать между строк. Единственной радостью бедного старика было то, что его сын, которого он уже считал погибшим, на самом деле жив. Однако дела дома шли ужасно. Из-за непомерных требований имперских сборщиков налогов отец влез в долги, и, если он не сможет заплатить сумму в шесть фунтов золотом к концу следующего месяца, случится

самое худшее. Онигисий знал, что в таких случаях это означало. Все имущество пойдет на продажу, а члены семьи будут отданы в рабство — мать, две сестры, а также младший брат Скотта. Шесть фунтов золота! Это была огромная сумма для мелкого торговца, и, конечно, у него никогда не было такой. Сборщик налогов мошенничал, чтобы обогатиться самому и, главное, отомстить за то, что ему отказала Глаука, одна из сестер. Не оставалось никакой надежды, что они смогут раздобыть столько денег. И через несколько недель семья окажется проданной в рабство.

Онигисий застонал. Начал ходить взад и вперед по шатру. Бросился на ложе и зарыдал, как ребенок. Потом подумал, а не поможет ли ему хозяин? И тут же обрадовался. Конечно, поможет! Как ему сразу не пришло это в голову! Шесть фунтов золота для хозяина ничто, а ведь он бывает великодушным, очень великодушным. Онигисий не мог дождаться, пока хан вернется с верховой прогулки. А после этого у него хватило здравого смысла дотянуть до конца трапезы. И тогда он подошел к хану, распростерся ниц и протянул ему письмо, не говоря ни слова. Хан мог читать по-гречески, хоть и медленно. Он прочитал. Казалось, на это ушло много часов. Потом уронил письмо. Поймал его. Онигисий увидел на лице хозяина выражение холодной насмешки. Может, оттого, что его глаза были все еще красными от слез? Он выдавил из себя несколько слов мольбы. Хан пожал плечами.

— Ты же не ждешь от меня, что я стану пла-

тить налог императору, верно, Онигисий? — Но даже после этого грек пытался взывать к нему. Хан рассмеялся. — Убирайся, пока я не выпорол тебя.

И он вышел на цыпочках. Двумя днями позже ему приказали подсчитать дань, которую привезли из Восточной империи. Половина ее причиталась великому хану, четверть — хану Гулляку, а четверть оставалась в собственности у хана Этцеля. Три тысячи фунтов золота...

Он весь день до глубокой ночи работал с подсчетами, весами, свитками пергамента. Гунны рано ложатся спать, ведь они поднимаются на рассвете, и уже задолго до полуночи в лагере все затихло. И вот после стольких часов работы в одиночестве и в молчащем мире он отчетливо услышал голоса внутри себя. Две тысячи четыреста пятьдесят фунтов золота отсортировывалось, завешивалось и регистрировалось. Следующий мешок. Ему нужно только шесть. Только шесть. И его семья будет спасена. Еще вес на пятьдесят фунтов. Шесть, шесть ему нужно, вот и все. С берегов Дуная до Коринфа путь далекий. Конечно, за ним будет погоня. И если поймают... Он содрогнулся и продолжал взвешивать. Но голоса вернулись. Ведь он может взять совсем чуть-чуть из этого мешка, из того — просто по полфунта из двенадцати мешков, и никто этого даже не заметит. Он может послать одну из своих рабынь в Наисс, а оттуда... Нет, она рано или поздно выяснит, что везет, и украдет — так же, как украл он. Впрочем, он еще не украл. Но украдет. Человек имеет право на жизнь. Человек имеет

право спасти свою семью. Нет, не имеет. Не при помощи чужого золота. Заткнись и работай. Заткнись. Две тысячи пятьсот. Еще один мешок по пятьдесят.

Всего шесть фунтов. Шесть проклятых фунтов. Хан ничего не узнает, если все сделать с умом. Часовые знают его, конечно. Тут никаких трудностей. «Приказ хана» — вот и весь разговор. А к ограде привязаны две лошади. Хорошие лошади, быстрые. Когда хан проснется, он уже будет от него на расстоянии многих миль. Он мог бы взять с собой один из этих мешков, где пятьдесят фунтов, и стать богатым человеком — тогда он спас бы семью и смог бы безбедно жить до конца дней. Если можешь взять шесть фунтов, то сможешь и пятьдесят — это одно и то же. Безумные мысли, дикие планы мерещились ему повсюду. Внезапно он сел. «Я не хочу красть, — сказал он себе. — Я никогда в жизни ничего не украл и сейчас не стану. Я никогда не буду красть». Поняв, что сказал это вслух, он огляделся по сторонам, страшно напуганный. Но он был один, совершенно один. Рабыни спали в шатре для слуг. Он был наедине с золотом. Золотом императора, насильно отнятым у десятков тысяч бедных людей сборщиками налогов. Возможно, тут были даже деньги его отца, жалкая унция или две, которые у него забрали. Он мог без всякого труда спрятать шесть фунтов, а потом сказать, что их не хватает — нет, не шести фунтов, это было бы слишком подозрительным — о боги, он на такую глупость не способен — а десяти или двенадцати, а потом мог сказать хану,

что в некоторых мешках не было полного веса, что их обманули. Нет, это не поможет. Он никому бы не мог доверить эти шесть фунтов, он должен был бы сам доставить их в Коринф. Остается лишь одно — взять один из мешков, сесть на коня и скакать, скакать во весь опор. И потом всю жизнь чувствовать себя вором. Вот какая ему будет цена. Мешок золота и жизнь вора. Две тысячи пятьсот пятьдесят. Он считал и взвешивал, охваченный лихорадкой. Пот лил с него градом, руки вспотели. Две тысячи шестьсот. Шестьсот пятьдесят. Семьсот. Семьсот пятьдесят. Разве он не сошел с ума, раз считает и теряет драгоценное время? В конце концов будет слишком поздно. Нечего и надеяться на то, что ему удастся застать хана в благодушном настроении. Он никогда не отменяет решений. Сейчас или никогда. Сейчас или никогда. Две тысячи восемьсот. Еще сто пятьдесят, и он убежит. Можно, конечно, доделать работу до конца. Сейчас он работает быстро. Две тысячи восемьсот пятьдесят. Девятьсот. Девятьсот пятьдесят. Последний мешок.

Он поднял его, выскочил из шатра и побежал к лошадям. Он возьмет обеих — одну для золота, другую для вора.

Ночь была ясной, красивой и очень спокойной. Ни звука. Он закрепил мешок на одной лошади, бегом вернулся в шатер за мечом и плащом и назад. Как тихо! И до рассвета еще по меньшей мере шесть часов. Шести часов достаточно. Шесть часов. Шесть фунтов золота. Шесть часов.

Потом на него обрушилось красное обжи-

гающее пламя. Он размахнулся и вонзил меч глубоко в грудь коня. Его обдало горячей кровью. Он хрипло закричал, вырвал клинок и вновь вонзил его, но уже в шею второму коню с такой яростью, словно сражался с худшим своим врагом.

— Сюда! — кричал он. — Сюда! — Потом все почернело, и больше он ничего не помнил.

Придя в себя, Онигисий обнаружил, что лежит на своей постели, а рядом сидит хан. Он снова закрыл глаза.

— Не говори, — сказал хан. — Молчи. Ты сражался и выиграл битву прошлой ночью. Я знаю. Мешок с пятьюдесятью фунтами твой. Половину денег я уже отправил твоему отцу в Коринф в сопровождении шести всадников. Они придут туда гораздо быстрее, чем добрался бы ты. Другая половина здесь, делай с ней что хочешь. А за двух лошадей, которых ты убил, чтобы остаться честным, я даю тебе двадцать. И отныне ты свободный человек, равный сыновьям моего народа. Потому что у тебя душа не раба, а свободного человека. Ты можешь вернуться к своей семье, если хочешь, а можешь остаться и служить мне, но уже как свободный человек. Сейчас не решай — сначала поправляйся. Молчи, ни слова. Через три дня придешь ко мне.

Через три дня Онигисий явился к хану и сказал, что хочет остаться с ним до конца своей жизни.

Все это было давно, но как будто вчера. Скорее всего он никогда не забудет такого.

Теперь они доехали до маленького леска, и хан прыгнул с коня и сел под деревом. Онигисий увидел, что он закрыл глаза. Они с Цигуром тоже спешили, отвели коней немного подальше и уселись на траву.

Цигур начал гудеть себе под нос монотонный мотив. Потом замолчал.

— У птиц это лучше получается.

Этцель попытался заснуть, но не мог. Это было место, где он всегда сбрасывал свои мысли; сейчас они не слушались его и, казалось, жили собственной жизнью. Они впивались в него, словно маленькие клещи. «Будто вши, — сердито подумал он. — И человеку приходится выскивать их одну за другой и уничтожать».

Даже германцы увидят, что Гулляк глуп. Он отправит их домой с пустыми руками. Затем на обратном пути они встретятся с ханом Этцелем. Он предложит им свой союз. И для этого не понадобится ни Гулляк, ни великий хан. Просто несколько прозрачных намеков на то, что скоро он будет иметь больше власти. И еще, пожалуй, надо намекнуть, что тогда-то и пригодится их союз. Нет, это слишком. Такие вещи делают только римляне — опираются на другие народы и используют их в гражданской войне, преследуя собственные цели, против своих же соотечественников. Именно это и стало признаком того, что Риму пришел конец и что наступает время других народов владеть миром. Однако без германцев у него не хватит сил, чтобы выступить против...

Против Бледы! Наконец он осмелился поду-

мать об этом. Против Бледы. Против перво-рожденного. Будрул предсказывала, что так и случится. Да будут прокляты все старухи ведьмы! Однако и хан Руа предчувствовал это. Это носилось в воздухе. Об этом он помнит во сне и наяву. Так что же это, судьба? Или это предопределено лишь в том случае, если хватит сил на осуществление?

Одно дело — послать стрелу, опередив перво-рожденного, другое — застрелить самого первенца. Что будут делать его люди? А что, если ему не удастся это? Проклятые мысли!

На этот раз лес впервые ему не помог. Мысли продолжали беспорядочно кружиться, будто пьяные танцовщицы на празднике конской богини.

Одно дело — послать стрелу раньше перво-рожденного, но, пока жив Бледа, Этцель не может дышать. Ночью Бледа сидит на его грудной клетке, держит его за горло, прижимает к постели — душит...

Кто это идет к нему через поле? Идет с мечом в руках. За поясом пастуший кнут и рожок. Может, этот пастух сошел с ума? Его глаза сверкают, как у той бешеной собаки, что в прошлом году покусала одиннадцать человек, пока он ее не застрелил. Зачем этому человеку меч?

Вот уже Цигур и Онигисий вскочили на ноги. Этцель махнул им рукой, чтобы они не вмешивались.

Не дойдя трех ярдов, пастух пал на колени, держа перед собой на вытянутых руках оружие, и пробормотал свою историю. Волнуясь и сби-

ваясь, он объяснил, что меч этот был зарыт в землю. Телка наступила на него и поранила ногу. Пастух — имя его было Амбарцух — прошел по кровавому следу и нашел этот меч. Древний меч гуннов. Амбарцух глядел на хана, и безумие в его глазах было ждущим — дикое, восторженное ожидание.

Этцель встал, немного неуверенно. Он знал старую легенду, конечно же, какой гунн ее не знает? Однако могло ли это быть правдой? Меч был старым, очень старым, его чернота приобрела зеленоватый отлив. И он был зарыт в землю. И нашел его пастух. И принес князю!

Глянув в сторону, он увидел Цигура, на лице которого застыло такое же напряженное ожидание, такой же безумный восторг.

Казалось, сам лес затаил дыхание. Ни ветерка. Птицы смолкли.

И только неслышные голоса шептали, шептали, шептали: «Вот оно! Вот оно!»

Он дышал тяжело, с хрипом.

Амбарцух и Цигур не осмеливались заговорить. Он сам должен сказать это. Он один может сказать это. Он сказал:

— Меч Пуру!

И он принял его из рук пастуха.

С восторженными криками и Цигур, и Амбарцух пали ниц.

Этцель поцеловал меч.

Лишь меч Пуру может вести к трону властителя мира. Вот что хотел сказать хан Руа и умер, не договорив.

Меч Пуру, зарытый в землю и найденный князем.

Его мозг бешено работал.

Онигисий, казалось, видел и слышал это. Он жил среди гуннов достаточно долго, чтобы знать, что Пуру — имя, равнозначное Марсу или Аресу. Богу войны. Слышал он и легенду про его меч. И знал, что в характере Этцеля есть место суеверию, он замечал это неоднократно. Этцель, к примеру, не любил совершать набеги при полной луне, потому что это к неудаче. «Луна притягивает кровь», — говорил он. Конечно, нападающий был виднее противнику при полной луне и потери могли быть выше. Или его настойчивое требование, чтобы никто не подавал ему предметы левой рукой, потому что «честной» рукой была правая. К тому же этой рукой нормальный человек мог бросить кинжал лучше, чем левой. Возможно — так Онигисий надеялся, — в этом и было истинное объяснение всех суеверий Этцеля.

Однако меч Пуру — совсем другое. Он подумал, что это могло бы значить, и весь похолодел, а руки его задрожали. Великому хану наверняка все скоро станет известно. Подобные вещи никогда нельзя сохранить в тайне. Великий хан слишком часто видел своего младшего брата победителем. Он говорил о нем, как о своей правой руке, но хотя нанесение увечий самому себе не принято у гуннов, однако, если великий хан обнаружит, что его «правая рука» размахивает мечом бога войны, у него может возникнуть желание отсечь ее...

А у них тут бытует странный обычай рассматривать личного секретаря, наложниц и рабов как часть их господина, неотъемлемую

часть. Ох, чтоб он снова провалился в землю, этот меч бога войны! Если хану хочется, чтобы об этом все заговорили, он попадет в неприятную историю, а вместе с ним и Онигисий. Если он хочет сохранить все в секрете, то убьет пастуха, убьет Цигура и убьет Онигисия. Что же, выхода нет? Надо быстро соображать, поскольку хан явно не в состоянии сейчас это делать. Он качается как пьяный... да, поистине как пьяный, иначе не назовешь... Никогда, никогда еще он не видел его в таком состоянии. Эх, и почему люди не могут вести себя разумно? Легенда легендой, а жизнь есть жизнь. А они хотят все смешать... Ох, проклятый меч!..

Наконец хан опомнился. Минуту-другую он еще стоял в глубоком раздумье, склонив тяжелую голову на грудь. Затем кивком приказал всем сесть на коней. Пастуху пришлось устроиться позади Цигура.

Никто не говорил. Но в глазах троих гуннов было что-то такое, от чего Онигисий содрогнулся. Ему почудилось предвестие смертей, крови и триумфа. Теперь он инстинктивно знал, что все это не имеет отношения к нему, к его собственной жизни, но не испытывал облегчения. Чутье говорило ему, что совершенно не имеет значения, жив он или нет, и он ужаснулся такой мысли. Казалось, изменилась сама местность, по которой они скакали. Ее заволокло туманом, и туман поднимался от земли, как дым из царства Аида. «Что-то я сам становлюсь суеверным, — подумал Онигисий сердито. — Клянусь Аристотелем, что-то нас еще ждет!» Беспокойство не покидало его, а туман

все сгущался. Будто скакали они по спине гигантского полупрозрачного чудовища, которое медленно выросло из первобытной хляби, росло и росло, чтобы потом поглотить весь мир.

Мысль о том, что ему придется занимать беседой двух германских королей, не обрадовала хана Гулляка. Ему предстояла неблагодарная задача — отклонить их предложение о союзе. Не то чтобы ему не нравилась представлявшаяся возможность полюбоваться, как германские буйволы попросят чего-то, а он им откажет. Было забавно, что они явились к шатрам гуннов, а не наоборот. И все же, несмотря на то что он лишь выполнял приказ великого хана, они уедут с недобрыми мыслями о нем. Именно от него, от Гулляка, они услышат отказ. Великий хан любит подсовывать ему все, что делает человека непопулярным. Хан Этцель как-нибудь выкрутился бы, не взялся бы за такое поручение. Кроме того, Бледа не доверяет ему, а германцы — чтоб им провалиться! — достаточно мощный народ. И хан Гулляк должен это расхлебывать.

И вот он, крошечный жилистый хореk, восседает на пиру между двумя гигантами-германцами.

Короля Ардарика, правителя гепидов, украшала роскошная рыжая борода, кончики которой закрывали могучую грудь, защищенную кольчугой. За ним водилась привычка поглаживать ее в задумчивости, но когда он сильно сжимал руку, это означало, что решение при-

нято. Мыслил он неплохо, хотя и не так хорошо, как Валамер. Король остготов, лишь ненамного уступая статью венценосному собрату, славился повсюду пронизательностью и милосердием, весьма необычными для германцев. Он был обладателем высокого куполообразного лба, спокойных серых глаз, крупного носа и огромных серых усов, почти скрывавших благодушный рот. На Валамере тоже была кольчуга, а на мускулистой шее висела тяжелая золотая цепь.

Оба короля оставили у входа свои плащи, шлемы, щиты и копья, сохранив при себе лишь кинжалы, и свита их сделала то же самое. По внешности и одеянию гепиды и остготы походили друг на друга, как ходят двоюродные братья. Своей величиной и розовой плотью они выделялись, подобно горящим сторожевым башням, среди малорослых желто-коричневых хозяев. Тучи слуг сновали возле длинных узких столов, щедро уставленных блюдами с мясом, сырым, вареным и жареным, овощами и тяжелыми кувшинами с вином. Гулляк постарался, чтобы за трапезой было как можно больше гуннов, умеющих хоть немного говорить на языке готов, который понимали как остготы, так и гепиды, и чтобы за столом с весьма серьезным видом и торжественностью поддерживалось нечто вроде разговора.

Оба короля проехали вместе часть пути, хотя прибыли из разных краев — гепиды с истоков Дуная, а остготы из лесов на северо-востоке. Они заранее условились встретиться на северных границах земли гуннов. Ее нетрудно

было определить: далее уже не встречались ни города, ни деревни, и сама земля оставалась нераспаханной — пустыня со множеством оазисов в виде станов с шатрами из войлока или кожи, а также с несметными стадами и табунами. Овощные блюда на пиру были роскошью, доставлявшейся из близлежащих провинций Западной Римской империи — Паннонии и Реции.

Ардарик и Валамер знали друг друга много лет. Их нужды были во многом схожими — нехватка территорий для быстро растущих народов. Трудности с пропитанием усиливались постоянными попытками полуголодных соседей навязать им войну, потому что у соседей было еще меньше еды и пространства. Что-то требовалось предпринять. Гунны были не в счет. Их земля германцам не годилась. Но вот дальше к югу, в отдаленных провинциях обеих Римских империй, имелось все то, в чем они нуждались. Люди там были обложены невероятно высокими налогами, причем имперские логофеты затравливали собаками до смерти крестьян, не уплативших их вовремя. Эти люди с облегчением примут новых властителей, если те снизят налоги и помогут возделывать на редкость плодородные земли. Но это означало войну с римлянами, западными и восточными, а последние пятьсот лет показали, что никогда германский народ не мог в одиночку долго удерживать завоеванное, даже в случае удачи в такой войне. Обычно поначалу германцы побеждали благодаря внезапности нападения или численному превосходству войск либо довольно часто из-за

того, что наместники провинций нерадиво содержали свои войска. Но раньше или позже Рим или Византия посылали против них такую огромную армию, что у захватчиков не оставалось никаких шансов удержаться. Со времен кимбриев и тевтонов неизменно повторялась одна и та же старая история.

Гораздо успешней шло незаметное просачивание племен. Население большей части Галлии уже представляло собой смесь германцев с местными племенами. Однако на это требовалось много времени, а у гепидов с остготами его не было. С каждым годом приходилось кормить все больше и больше ртов, и с каждым годом усиливался натиск соседей. Требовалось что-то предпринимать. Надо было найти союзников, а с этой точки зрения гунны были во сто крат лучше, чем любой другой народ. Они давали конницу, тогда как германцы — почти исключительно пешее войско, они собирались не обрабатывать новые земли, а лишь взимать с них дань, и меж ними не было единства, которое могло бы превратить их в действительно опасную силу. Они были прирожденными наемниками, самыми лучшими. Таким образом, идея короля Валамера о союзе с гуннами была настолько же блестящей, насколько простой: золото, серебро и предметы роскоши — гуннам, а земля — германцам.

Король Ардарик выслушал предложения своего королевского собрата и долго гладил длинную рыжую бороду, потом решительным жестом собрал ее в горсть и дал согласие. Но только с кем им вести переговоры? Разумеется,

великий хан Бледа — вождь племени, хотя он никак не единовластный повелитель всех гуннов. Однако, вероятно, с ним нужно начинать переговоры. На это король Валамер улыбнулся.

— Порой военачальник с войском бывает более ценен, чем венценосный правитель.

— Что ты имеешь в виду? — спросил Ардарик, хотя прекрасно понял, что тот хотел сказать. Валамер пожал могучими плечами.

— Кто победил соразгов? Кто провел дерзкий рейд вокруг Черного моря в Киликию и Каппадокию? Кто тот, за кого гунны умирают с улыбкой на устах? Ты знаешь, о ком я говорю, ведь верно?

— Он прислал тебе послание? — поинтересовался Ардарик с хитринкой в глазах.

— Нет. Это не в его обычае. Но один из его племенных вождей был моим гостем. Человек по имени Дандрулк. Или что-то вроде этого.

Ардарик прокашлялся.

— У человека, которого он прислал ко мне, — произнес он невинным тоном, — было по крайней мере такое имя, что я могу его выговорить. Пилзал.

После этого оба оглушительно расхохотались. Им не было больше нужды держать друг от друга в секрете свои планы. Они знали, что гепидам придется иметь дело с войском Западной Римской империи, а остготам — с Восточной, так что их интересы не придут в столкновение. А говорить они будут с одним и тем же человеком.

Официально же они, разумеется, явились с визитом к великому хану. Однако по приезде

им было сказано, что великий хан отбыл на охоту, что ему известно о их возможном визите и что хан Гулляк примет их от его имени. Новость об отсутствии великого хана, казалось, обрадовала их, пока не прозвучало имя его представителя. Никто из них ничего не знал про хана Гулляка. А открыто спрашивать о хане Этцеле они сочли в тот момент неуместным. Нужно было поглядеть, как будут развиваться события. Развивались же они плохо или, пожалуй, не развивались вовсе. Хан Гулляк оказался осторожным и слегка раздраженным коротышкой. Он сочувственно выслушал жалобы гепидов и остготов на нехватку продовольствия и на алчность соседних народов, но при этом лукавил. «Если бы гепиды и остготы умели жить так же просто, как гунны, — заявил он, — у них не было бы таких проблем. Что же касается соседей, — тут маленький хан осклабился, — гунны умеют с ними справляться. Все достаточно просто — нужно лишь позаботиться, чтобы соседей не было вообще. Достичь этого можно разными способами, и гунны владеют всеми. А раз у гуннов нет соседей, они весьма миролюбивые люди и не ищут ссоры ни с кем». И в знак такой позиции хан Гулляк пригласил гостей на пир — очень скромный, такой, как любят гунны.

Во время этой политической проповеди король Ардарик несколько раз пытался что-то сказать, но всякий раз Валамер подталкивал его в бок. Когда хан вышел, чтобы отдать распоряжения насчет пира, Ардарик разразился потоком брани. Подобно многим рыжеволо-

сым людям он был мастером на ругательства. Валамер спокойно слушал его какое-то время, а потом заметил:

— Если каждое из твоих ругательств было бы воином с мечом, мы бы покорили Римскую империю и без союза с гуннами. Я слушал тебя и слушал хана Гулляка. Давай подождем и поглядим, с какой целью хан Этцель присылал нам своих вождей. Тут происходит что-то странное, я нутром чую это.

Но, когда хан Этцель не явился и на пир, король Валамер тоже помрачнел. Им оставалось только есть и пить, а уж в этом-то германцы всегда отличались усердием. Гунны с изумлением наблюдали, как их гости вливали в себя столько вина и поглощали столько пищи, будто старались напиться и наесться до конца жизни. Законы вежливости требовали, чтобы хан Гулльак поддерживал все их здравицы, и спустя некоторое время Ардарик начал забавляться, следя за тем, как один кубок за другим вливался в неместительное брюхо гунна. Король Валамер с любопытством наблюдал за происходящим. Быть может, коротышка-гунн заговорит более откровенно, когда напьется. Многие из его людей уже валялись пьяные.

Хан Гулльак, однако, вроде бы и не пьянел. Его дубленая шкура натянулась, затвердела, и он стал держаться еще более надуту и несговорчиво, чем прежде.

Снаружи донесся смутный шум, похожий на далекие раскаты грома. Валамер первым услышал его, но одновременно встрепенулись и несколько гуннов, повернув головы в ту сторо-

ну, откуда доносился звук. Вот и Ардарик заметил это.

— Клянусь бородой Донара, — сказал он, — шум такой, будто приближается гроза.

— Великий хан возвращается с охоты, — ответил Гулляк. — А обычным людям кажется, что надвигается гроза.

Оба германца переглянулись. Эти гунны становятся весьма заносчивыми. Валамер уже подыскивал подходящие слова, чтобы категорически потребовать встречи с великим ханом, когда гунны вдруг все как один вскочили. Они улыбались и кричали от радости, увидев вошедшего в шатер сорокалетнего вождя — мужчину могучего телосложения, они подбегали к нему, пожимали руки, хватали за локти, приветствовали смачными поцелуями в обе щеки.

— Это великий хан? — спросил Ардарик. В его тоне звучало некоторое сомнение, поскольку вновь прибывший был одет слишком просто — в красновато-бурую тунику без рукавов и шерстяной плащ того же цвета. Даже меч его, подвешенный к широкому кожаному ремню, не был ничем украшен и выглядел так, словно сделали его много лет назад.

Не успел Гулляк ответить, как этот человек подошел прямо к ним.

— Приветствую тебя, хан Гулляк, — произнес он. Затем слегка поклонился германцам. — Ты, должно быть, король Валамер, а ты король Ардарик.

— А ты хан Этцель, так я полагаю? — ответил Валамер.

— Ты прав, брат! — воскликнул Ардарик. —

Он единственный мужчина в стане гуннов, который выглядит так, словно может вырвать бороду у любого императора, если захочет. — При этих словах он ласково погладил свой собственный великолепный образчик бороды.

Этцель улыбнулся.

— Я вам очень рад. Надеюсь, хан Гулляк принял вас так, как принимают друзей королевской крови и союзников.

Он проговорил это очень громко. Гунны и германцы оглушительно загоготали в знак признания. Никто из них, если не считать нескольких германских вождей, не догадывался о том, что происходит, однако слово «союзник» звучало предвестием хорошей основательной драки, и все восприняли это слово с восторгом. А кроме того, хан Этцель, казалось, наэлектризовал пир своим присутствием.

Один хан Гулляк не присоединился к веселью. Он выпил больше вина, чем следовало, но не был пьян настолько, чтобы не понимать, что его авторитет поставлен под угрозу, а возможно, и авторитет великого хана. И потому он резко сказал:

— Мы действительно рады видеть у себя благородных королей. Но по поводу союза речь не шла.

— Разве еще не шла? — Хан Этцель, казалось, был искренне удивлен. — Ну, в таком случае мы поговорим об этом.

И вновь все мужчины взревели от восторга; басистые голоса германцев спорили с фальцетом гуннов.

— Хан Этцель! — предостерегающе произ-

нес хан Гулляк. Его желтое лицо залилось краской и стало красно-коричневым.

— Разве твои кости настолько хрупкие, а мышцы дряблые, Гулляк, что ты боишься хорошей драки? Тогда, значит, верно то, что говорят в шатрах твоих женщин...

Раздался оглушительный хохот. Хан Гулляк вскочил.

— Собака! — в ярости воскликнул он. — Ты заплатишь мне за это!

— Освободи место для собачьих блох, — насмешливо сказал Этцель. — Что скажет великий хан, когда услышит, что его представитель дерется с братом великого хана в собственном шатре, да еще в присутствии гостей? Он не похвалит тебя за это, верно?

Гулляк застыл на месте, сжимая рукоятку кинжала. Возможно ли, чтобы хан Этцель говорил такие слова ему, прекрасно понимая, что говорит с представителем великого хана? Или Бледа переменял свое решение? Или, хуже того, Бледа его предал? Сладкоречивые разговоры все эти годы о том, что нужно держать в узде честолюбивого младшего брата, пока не настал момент, когда можно избавиться от Гулляка, для того, чтобы сыновья Мундзука, Бледа и Этцель, вдвоем правили племенами? Невероятным такой поворот событий не назовешь. Иначе почему этот ублюдок держит себя так уверенно? Тут нужно знать наверняка.

Не говоря ни слова, Гулляк вышел. В шатре стало тихо. Хоть большинство мужчин и были пьяны, они поняли, что дело принимает серьезный оборот. То, что минуту назад казалось

долгожданным поводом для острых шуток, стало теперь вопросом жизни и смерти. Некоторые из людей Гулляка вскочили с мест.

— Сидите, друзья мои, — холодно приказал Этцель. — Скоро один из нас вернется и поддержит вашу компанию.

И он вышел вслед за Гулляком, его твердые шаги гулко прозвучали за пологом шатра.

Король Ардарик многозначительно взглянул на Валамера.

— Тем временем, — произнес он нарочито флегматично, — почему бы нам не выпить еще немножко? — И сам налил себе вина в кубок. — Как ты считаешь, сейчас они дерутся там, снаружи?

— По-моему, у гуннов что-то назревает, — сквозь зубы процедил Валамер. — Я говорил тебе: тут происходят странные вещи.

— Странные или не странные, — ответил Ардарик, — а вино-то у них неплохое.

Выйдя на свежий воздух, Гулляк остановился и тяжело вздохнул. Повсюду переговаривались, шушукались о чем-то люди. Будь он трезвей, ему моментально стало бы понятно, что дела идут не так, как им следует. А он лишь натужно рыгнул и зашагал, стараясь не шататься, к большому шатру, украшенному пятью конскими хвостами. И немного удивился, почему стража пропустила его внутрь, не спросив условного отзыва, как это полагалось им делать. Даже эти люди о чем-то спорили между собой.

Затем несколько телохранителей, наконец заметив Гулляка, провели его в покои великого хана. И вот он предстал перед Бледой.

Только что вернувшись с охоты, тот раздевался.

— Я приветствую великого хана, — злоевещим тоном произнес Гулляк.

Бледа был раздражен. Охота получилась неудачная: вепрь убил под ним любимого коня. Левая рука и нога были в ссадинах от падения на землю. Он прибыл домой ранее, чем ожидалось, и обнаружил, что весь лагерь превратился в гудящее осиное гнездо. Большие группы людей толковали что-то друг другу, перешептывались, но когда он послал своего помощника узнать, в чем дело, тут же рассыпались кто куда. Сейчас ему наконец все станет ясно.

— Что случилось, хан Гулляк? Германцы уехали? Почему такое возбуждение в лагере? Стоит мне отлучиться хоть на день, как начинается смута.

— Я ничего не знаю о смуте в лагере, — недоуменно пожал плечами Гулляк. — Но вот с твоим благородным братцем хлопот хватает. Ты мне повелел говорить с германцами от твоего имени, верно? Не ему! Ты не просил его являться на пир и превращать в посмешище слова, которые приказал мне сказать? Я должен...

Он резко замолк, почувствовав страшный удар в поясницу; его швырнуло вперед с такой силой, что он едва не влетел в объятия Бледы. А раскаленная, обжигающая боль в животе — что... что это?! Он увидел торчащий из его живота темный кусок железа, с которого капала кровь. Ноги его подкосились, и затем все потемнело.

Бледный как смерть, великий хан даже не взглянул на умирающего.

Он уставился широко раскрытыми глазами на брата, который вытаскивал меч из тела Гулляка. И Гулляк умер.

— Я приветствую своего брата Бледу, — произнес Этцель. И Бледа понял, что его час пробил. — Я пришел сообщить тебе великую новость. Оружие, что я держу в руках, это меч Пуру.

Бледа скривил рот.

— Видно, ты свихнулся! Ты сам не веришь в то, что говоришь. Я сейчас...

— Спокойно, брат. Ты помнишь, как умирал хан Руа? Его последние слова были про этот меч. Господство над всем миром дается его владельцу. Ты покоришься этому мечу или нет?

Глаза Бледы опасно блеснули.

— Так ты нашел-таки способ стать перво-рожденным! Однако человек, дух которого ты только что вызвал, сделал меня великим ханом. Эй, люди!

— Тебя убьет Пуру, а не я, — произнес Этцель и пронзил мечом тело брата.

— Великий хан мертв!

— Убит!

— Хан Гулляк убил его, а хан Этцель убил Гулляка.

— Откуда ты знаешь?

— Цигур сам мне сказал, он вышел оттуда вместе с вождями.

— Я слышал другое.

— Не нужно верить всему, что слышишь, глупец.

— Откуда ты знаешь, что твоя история правдива? Цигур — человек хана Этцеля, разве не так?

— Ты ведь хочешь жить, а?

— Хан Гулляк убил великого хана. Хан Гулляк.

— Хан Этцель отомстил за брата.

— И теперь он великий хан.

— Он нашел меч Пуру.

— Да, а ты знаешь, что это значит?

— Я знал это еще до того, как ты родился, эй ты, кусок конского дерьма?

— Все собрались на северной стороне! Великий хан будет говорить!

— Что значат все эти тела?

— Это люди хана Бледы.

— Кто их убил?

— Не задавай слишком много вопросов.

— Значит, это верно, и убил сам хан Этцель...

— Успокойся. У него меч Пуру.

— Да, но...

— Он может делать все что хочет. И никто не смеет встать ему поперек пути.

— Все собрались на северной стороне! Великий хан будет говорить!

— Цигур!

— Что повелевает великий хан?

— Приведи германцев с пира. Всех.

— Вот он!

— Теперь ты наш отец и наша мать!

— Атга... Аттила...

— Да, ты наш Маленький Отец. Маленький Отец, мы отданы тебе. Маленький Отец, веди нас!

— Маленький Отец, веди нас!

— Атта... Аттила... Отец... Отец...

Потоки всадников стекались отовсюду к северной стороне стана. Закат окрасил кровью их мечи, сабли, кинжалы и копья

— Дорогу великому хану!

— Где мои гости-германцы?

— Идут, идут... Не так-то просто пробраться.

— Дорогу гостям великого хана!

— Идите ко мне, друзья мои. Я обещал вам, что мы поговорим о союзе сегодня, вот мы это и сделаем.

Волны всадников и пеших воинов отхлынули, накатили, вспенились. Море лиц обратилось к маленькой коренастой фигурке, стоявшей на спине коня.

Новый великий хан властно поднял руку. Почти немедленно гул десятков тысяч голосов смолк. И великий хан начал говорить:

— Я слышал, как вы называли меня Аттилой, я и буду вашим Маленьким Отцом, а вы моими сыновьями. Сам Пуру дал мне этот меч — вот он, — и с этим мечом я покорю мир. Я отдам вам его, чтобы вы с ним играли, мои маленькие сыновья. С «крыши мира» и до своих недр он будет принадлежать вам...

— Что он говорит?

— Тише, Ардарик.

— Ты побледнел, друг. В чем дело?

— Глашатаи поскачут во все племена нашего народа, созовут на эту равнину всю мою конницу. Тогда я оглашу перед вами волю Пуру и мою. Потому что Пуру и я едины.

— Атта! Атта! Аттила!

— Валамер, старина, что тут происходит?

— У меня нехорошее предчувствие, Ардарик. Мы пришли искать союзника...

— Ну и что?..

— И боюсь, очень боюсь, Ардарик, что нашли вместо этого себе властелина...

— Аттила! Аттила! Аттила!

— Речь была замечательная, — сказал Онигисий в тот вечер, сидя в новом шатре великого хана. — И поистине замечательная идея принять их крики о «маленьком отце» — слово «Аттила» застряло у них в головах.

— Оно застрянет в головах и у других народов, — спокойно сказал великий хан. — И я уже распорядился, чтобы отныне никто ко мне и не обращался по-другому. Моему несчастному брату Бледе не хватало благозвучного титула — по той же самой причине, по какой императоры Западного и Восточного Рима нуждались в этом: их собственные имена не звучали достаточно громко. Бледа хотел быть великим ханом, поскольку это была для него единственная возможность слышать, как его именуют великим. А я Аттила!

— Я распорядился о погребении, — сообщил Онигисий вполголоса.

— Конечно. Я приказал тебе это сделать.

«Почему он не ложится спать? — подумал грек. — Ведь он с рассвета на ногах. Он произвел самый успешный дворцовый переворот в этом столетии и убил большинство своих врагов и хана Гулляка в придачу. Он заключил союз с двумя великими народами. Он стал гос-

подином и повелителем всех гуннов или большинства их племен. Помимо всего прочего, он отныне в единстве с самым авторитетным их божеством. Разве мало для одного дня? Почему же он не ложится спать?

Но нет. Ему нужно тут сидеть на своем высоком троне, спокойному и хладнокровному, как будто все случившееся — обычное дело. А мне приходится разбирать бумаги, которые мы нашли у бедного Бледы. И это после полуночи. Из какого материала он сделан? И из какого считает сделанным меня? Сидит тут и поглаживает пальцами свой ужасный старый меч...

Хоть бы сказал что-нибудь. Ужасное молчание — как незримая тяжесть. Я уже разговорил его один раз. Пожалуй, попробую сделать это снова. А вдруг он разозлится? Что со мной случилось? Я боюсь его. Всегда боялся, но не *так*. Я боюсь его, словно он призрак, хоть я в них и не верю».

— Они верят в это? — донесся до него голос, прозвучавший с высокого сиденья.

Онигисий выронил свиток, с которым разбирался, и был вынужден нагнуться, чтобы поднять его.

— Во что верят, господин?

— Что хан Гулляк убил моего брата Бледу.

Ледяной голос, будто лезвие меча. В нем не заметно ни удивления, ни страха, ни беспокойства или тревоги, даже ожидания. Потому что все это слишком человеческое.

— Да, господин, они поверили. По-моему, поверили.

— Почему?

Все это было ужасно. Онигисий всплеснул руками от беспомощности. Но снова сумел спасти себя благодаря старой афинской наглости, которая выручила его много лет назад в день истребления соразгов.

— Ну, господин мой, как я полагаю, они должны делиться на две группы: те, кто поверили, потому что видели, что случилось с теми, кто не поверил, подобно телохранителям покойного великого хана, и те, кто верит, потому что им хочется в это верить...

С высокого сиденья послышался смех.

— Вот почему мой народ поверит во что угодно — потому что им хочется этому верить.

Онигисий повернулся.

— Вполне, — торопливо проговорил он, — ах, вполне! Это разумная точка зрения. Во всем этом есть смысл. Мы верим в то, во что хотим верить, либо в то, чего боимся. В некотором смысле это одно и то же, это как плюс и минус. Мы все таковы, все. — Его руки стали липкими от пота, а в животе все сжалось от страха, однако он знал, что не сможет удержаться и задаст вопрос, который все время крутился у него в голове: — Вот почему ты, господин, веришь в меч бога войны?

Он испытал какое-то облегчение, хотя и знал, что может тут же умереть, и даже от этого же меча. Но ему нужно было знать.

— Я не верю в меч Пуру. Я знаю, что это меч Пуру. Вот почему я могу делать то, что хочу.

Онигисий перевел дыхание. Опасность прошла стороной, однако это было именно то, что он подозревал — или чего боялся? Ни один

человек не может совершать такие дела сам по себе. Ему требуется придумать для себя высший авторитет. Даже этому человеку, самому мужественному, самому могучему из всех, кого он встречал в своей жизни. Это не он должен был умертвить своего брата Бледу, это должен был сделать Пуру. Человек всегда ищет оправдание своим действиям. И все-таки что-то восставало у грека внутри против мысли о том, что даже этот человек может быть слабым. Но если он не был таким, значит, и на самом деле существовал бог войны по имени Пуру, который воспользовался вполне обычным железным мечом? О боги, во что же верить человеку? Можно верить в Бога христиан, который Троица, а в то же время един, и в чудеса с молитвами, и во все что угодно. Либо в великое множество древних богов, где у каждого свои особые функции, а также в целую армию полу- и четвертьбогов.

— Глупец! — внезапно прозвучал голос с высокого трона. — Я Аттила, но я не могу заставить солнце подниматься по моей воле. Теперь ступай, я хочу побыть в одиночестве. И на будущее запомни: задаю вопросы я, а не ты.

Грек с низким поклоном поспешил удалиться. Аттила остался один.

Они верили, потому что у них не было выхода. Слишком медлительный Гулляк никогда не сделал бы такого. Был лишь один человек, который мог опередить своей стрелой Бледу. Хан Руа хорошо это знал. Но действительно ли он надеялся, что Бледа сможет завоевать сердца своих людей? Отправил ли он младшего пле-

мянника к римлянам потому, что хотел упрочить положение Бледы, или для того, чтобы он своими глазами увидел, что представляют из себя римляне? Хороший правитель должен знать своих врагов. И, умирая, хан назвал младшего из братьев сыном — Бледу он так никогда не называл. А последнее, что он сказал, — это про меч Пуру. Видимо, верно, что умирающий человек может заглянуть в будущее... Возможно, и Бледа видел будущее, когда умирал... Но что бы он там ни видел, он ничего не сказал. Ни единого слова. Просто смотрел...

Ты получишь пышные похороны, брат Бледа, великие похороны. Но ты мертв — и ты останешься мертвым.

— Цигур!

Маленький человечек немедленно возник у входа.

— Сядь у моих ног, Цигур. Я хочу, чтобы похороны были великими, Цигур. И хочу, чтобы ты и твои люди внимательно высматривали тех, кто проявит настоящую горе. Запомни их имена. Если они и вправду так сильно любили моего брата, то недолго окажутся в разлуке с ним. У него была только одна жена, и она из княжеского рода. Ей будет позволено жить — нет, не вместе с моими женами, мне она не нужна. Она может получить дом Бледы, что в двух днях езды на коне к северу от Наисса. Отправь с ней дочерей и пятьдесят телохранителей под началом Пулюка. Что касается сыновей — их только пятеро, и, когда я их видел в последний раз, они показались мне болезненными; видно, скоро умрут.

— Видно, так и будет, Аттила.

— Мне не нужны болезненные мужчины.

Маленький человечек, сидевший у его ног, слушал, полуоткрыв свой щелевидный рот, слушал напряженно, как слушают пророка или оракула, общающегося с божеством, — с отчаянным вниманием, стараясь не пропустить ни единого слога или интонации, которые могли бы содержать в себе скрытый намек или завуалированный приказ.

— Не нужны болезненные мужчины, — понимающе повторил он.

Лишь тогда правитель осознал до конца, что это был смертный приговор не только для сыновей Бледы, но и для всех старых, слабых или калек, и на какое-то мгновение заколебался. Но затем понял, что все в порядке. Что правитель сказал — то сказал. А ему нужна нация, состоящая из крепких мужчин. Пусть другие народы содержат обузу из больных и беспомощных. Цигур понял истинное значение его приговора, приговора Пуру, лучше, чем сам он вначале. Это было новым для него ощущением — быть устами Пуру. И будет новым ощущением — стать рукой Пуру.

Онигисий не сможет этого понять, потому что это не соответствует его представлениям о мире. Он маленький человек, а мелкие людишки порой отрицают существование богов, потому что им не до них в повседневных хлопотах. А бывают люди, подобные грызунам, которые гордятся, когда им удастся кого-то провести, обмануть, найти лазейку, пока остальные стоят у закрытых ворот, и которым невыносима

мысль о вере, потому что она не оставляет лазейки; все, на что они способны, это сидеть в стороне и насмехаться над верой. Все равно что свистеть в темноте. Конечно, люди верят в то, во что им хочется верить, в то, что им хочется, чтобы было правдой. Но умник Онигисий считает так: раз они *хотят*, чтобы это было правдой, значит, это не может быть правдой! Умник Онигисий оказался глупцом. Как и большинство людей. И Бледа, и Гулляк. Гулляк был пьян, иначе бы он заметил, что шел не один от пиршественного шатра до покоев Бледы.

— Цигур!

— Я слушаю, повелитель, — тут же откликнулся голос у его ног.

— Распорядись, чтобы мне за трапезой подавали только воду — из простого деревянного кубка.

— Слушаюсь, Аттила.

— Сколько вождей придут, по-твоему, на погребение брата?

— Двести тридцать семь, Аттила.

— Этого недостаточно. Разошли гонцов в колыбель нашего народа с вестью: «Так сказал Аттила, сын Мундзука, он, который держит меч Пуру. Придите! Оставьте свои скудные пастбища — я дам вам тучные». Они должны говорить это всем племенам, которых встретят, и оставаться по одному человеку в каждом племени, чтобы служить ему проводником.

— Будет исполнено, Аттила.

— Послы к антам, славянам и аланам посланы?

— Уже в пути.

— Ардарик обещал привести ко мне тюрингов, квадов и маркоманов; Валамер приведет лангобардов и герулов, а также остготов.

— Маленький отец... — Цигур только что не рыдал от восторга. — Никогда еще мир не видел такой армии — ты будешь так силен, что покоришь обе империи!

Он не мог видеть тени улыбки, пробежавшей по лицу Атилы, а лишь услышал его голос:

— Вот мне как раз и нужно, чтобы они так подумали.

Большого он не сказал. Есть вещи, о которых даже Цигуру рано слышать. Почти все короли и вожди племен, которые теперь стали его союзниками или должны были вскоре ими стать, нарисованы на той бесстыдной картине, что он видел когда-то, много лет назад, в Аквилее. На той картине все они изображены данниками римского императора, опустившимися на колени либо простершимися ниц перед ним. Они имеют право исправить теперь эту картину, и он даст им такую возможность. Ему вспомнились слова хана Руа: «Ты не сможешь править миром со спины коня». Сможет или нет? У него сила в полмиллиона воинов и даже больше, среди которых нет слабых, воинов жестоких, привыкших жить впроголодь, каждый на коне, с копьем и мечом либо с оружием, изготовленным собственноручно, — простой плеткой с обтянутой кожей рукояткой и семью или девятью длинными кожаными ремнями, в концы которых вшиты кусочки свинца или камни. Это незаменимое оружие, когда прихо-

дится пробивать брешь в строю противника, а уж потом ее расширяют всадники, вооруженные мечами и копьями. Они уже получили прозвище «гунники» — лавина всадников, мобильная, в три раза быстрее, чем римская кавалерия, поскольку они лучшие наездники, более легкие и не нуждающиеся в обозе. Они могут стремительно появляться, тучи их, в любом месте, прежде чем противник соберет свою громоздкую армию; они могут быть то тут, то там, то в одной стороне, то в другой, подобно тому, как кровь стремится по человеческому телу. Да, они могли бы служить кровотоком мира. Поглядим, кто из нас прав, хан Руа!..

Но время для натиска еще не пришло. Пока не пришло. Оно придет, и тогда приобретут решающее значение неожиданность и подавляющий перевес в силе. Секретность необходима не менее, чем сила. А на секретность нельзя рассчитывать, пока передовые силы гуннов на границе находятся на расстоянии одного броска копья от римлян. Что-то нужно предпринимать. Римляне начнут строить укрепления, еще один «лимен», вал через всю цепь стран, как в давние времена то же самое далеко на востоке сделал Ки-тай. А вот гунны никогда не умели строить валы или укрепления — все это было им чуждо. Ему придется придумать что-то еще...

— Цигур, передай мне лук, да, вон тот, большой, с черными кисточками — дай его мне.

Это было единственное, что он взял из вещей Бледы, — остальное он раздал своим

верным слугам, — ведь лук когда-то принадлежал ему. Это был тот самый роговой лук, который хан Руа приказал передать Бледе, когда во время охоты на медведя младший брат выстрелил раньше старшего. Его лучший роговой лук. Он любовно погладил его короткими сильными пальцами и слегка натянул тетиву. Лук запел, и он прислушался, чуть улыбаясь, как слушает человек, когда старый друг рассказывает любимую историю. Оружейники Бледы хорошо заботились о нем.

Внезапно он понял, что придумал, как избежится от шпионов Рима, понял, как изменит границы.

Когда Цигур спустя некоторое время взглянул на него, то увидел, что Аттила закрыл глаза. Он мирно, блаженно спал.

4

«Женщины правят и на Западе, и на Востоке» — так утверждали злые языки. Простые и честные люди признавали этот прискорбный факт, тяжело вздыхая и недоуменно пожимая плечами. Из уст в уста передавались сатиры и эпиграммы, порой весьма язвительные. И все-таки на деле все обстояло не так — или не вполне так. И, уж конечно, в большей мере это касалось Запада, чем Востока.

Голос императрицы-матери Плацидии давно был решающим в политических делах Западной империи. Даже Аэций был вынужден считаться с ее мнением, хотя его влияние, никогда не бывшее стабильным, снова выросло за

последние годы. Сам император так и не стал взрослым; порой он вмешивался в дела, но лишь спорадически и без особого интереса. Происходило это всегда одинаково: вначале громогласные заявления о своих императорских правах, вспышка гнева, а после поражение, которое он неизменно терпел от вежливо и даже подобострастно державшейся матери, угрюмое молчание и очередной уход в какие-то странные — полочувственные, полуметафизические эксперименты. И было просто невозможно себе представить, что произойдет, если когда-нибудь ему придется управлять самому.

В Константинополе ситуация была совершенно иной.

Верно, император Феодосий II чем-то напоминал Валентиниана III: он тоже был слабым и неуверенным в себе, ему тоже было трудно сосредоточиться на решении важных вопросов. Однако «женщиной, стоящей за тронem» была не Платидия...

Августа Пульхерия была его сестрой, не матерью. Высокая, стройная, бледная девушка с хрупкой, неземной красотой слыла его добрым ангелом, и у людей не было сомнений, что император, первым советником которого был Хрисафий, очень сильно нуждался в добром ангеле. По мнению широких слоев населения, в умах которого молодое христианство боролось против насчитывавших несколько тысячелетий политеизма и язычества, придававших злым силам человеческий облик, Хрисафий был настолько близок к общепринятым представлениям о дьяволе, насколько вообще чело-

век мог быть близок к этому. Обескровленные под всевозраставшим бременем налогов, управляемые нечистыми на руку магистратами, люди искали козла отпущения и нашли его. Само имя Хрисафия превратилось в ругательство. Он, по всеобщему мнению, был тем существом, что высасывало все золото из империи, чтобы купаться в нем в буквальном смысле слова в своих глубоких потаенных подвалах; люди верили, что он ел на завтрак бриллианты, рубины днем, а сапфиры и жемчуг на ужин, что он вовсе не был человеком, а был демоном, исчадием ада, восседавшим по правую руку от императора и нашептывавшим свои зловерные советы в его доверчивое ухо. Он был проклятием Восточной империи.

В действительности Хрисафий был и лучше, и хуже своей репутации.

Он питал страх евнуха к оружию и войне, к конфликту, способному закончиться настоящей катастрофой, спастись от которой не удалось бы никому, даже ему, Хрисафию. И как невероятно глупо идти на войну, если можно откупиться от противника некоторым количеством золота! Конечно же, это намного разумней, и лишь бряцающие оружием варвары не в состоянии это понять. Люди с так называемыми принципами всегда ставят под сомнение самые очевидные и мудрые вещи, совершенно не принимая во внимание то обстоятельство, что единственный принцип государственного мужа заключается в том, чтобы не быть обремененным принципами.

Но как же можно управлять империей,

когда благороднейшая августа Пульхерия настаивает на том, чтобы любое действие оценивалось по шкале христианского долга! А ведь если оценивать, к примеру, иностранную политику с точки зрения христианской морали, то уж лучше сразу умереть великомученической смертью; возможно, это и устроило бы благороднейшую августу, но для Хрисафия не представляло ни малейшей привлекательности. И поэтому приходилось убеждать императора, что ответственность за Восточную империю — это одно, а ответственность за собственную душу — другое и что император должен делать вещи, которые человек Феодосий не сделал бы никогда в жизни.

Несколько лет назад ему удалось уменьшить прямой и постоянный надзор за своими действиями, убедив императора «предоставить другой дворец в распоряжение августейшей сестры». Некоторые злые языки, конечно, стали говорить об изгнании августа Пульхерии, но ведь безответственные люди всегда готовы утверждать что угодно! И без того плохо, что император ходит навещать ее каждую неделю. Всегда можно узнать, что он побывал у нее, по бесчисленным вопросам и претензиям, которые он обрушивал на него во время ближайшей аудиенции. Кроме того, некоторые особы постоянно информировали его о том, что происходит в «монастыре», как вскоре прозвали дворец набожной императорской сестры...

Однако в целом ситуация была такова, что сначала августа Пульхерия советовала императору, как следовало бы поступать, потом Хри-

сафий говорил ему, что необходимо сделать, и так и делал сам, иногда с согласия монарха, а иногда и без оного.

Разумеется, были вещи, о которых вообще не говорилось императору и которые скрывались от всех с максимальным старанием...

Сгорбившийся в своем кресле из черного дерева, обтянутом изумрудно-зеленым шелком, жирный маленький человечек с лысой головой, большим носом и бегающими глазками, Хрисафий напоминал огромного попугая в золотой клетке, тем более что его покои были круглой формы и драпированы золотыми занавесями.

Комната не имела окон — он ненавидел яркий свет дня; его заменяла изумительной красоты алебастровая лампа, в которой со сладковатым ароматом горело масло.

Он был одинок и несчастлив. Вновь и вновь он упрекал себя за то, что так нетерпелив. Женщины и евнухи должны уметь ждать, но ждать все же было неумоготу. Он вникал во все детали в сотый, в двухсотый раз. Если план рухнет...

Но что еще он мог сделать? Ситуация стала невыносимой — требовались решительные действия.

Внезапно он засмеялся; ему пришло в голову, что его мысли сами по себе не отличаются от мыслей большинства простых подданных его августейшего императора. Взять портового грузчика, который ставит на кон половину своих денег — жалкую горстку серебряных монет, но все-таки половину того, что у него

есть, — и затем ждет с остекленевшим взором, как лягут кости у его партнера. Если он проиграет — что ж, придется вновь таскать тяжелые тюки, чтобы пополнить свой кошелек. А если Хрисафий проиграет, то тут существует небольшая разница: Хрисафий сделал ставку на полмира ради одного броска — смертельного, решающего броска, но эта половина мира ему не принадлежала, как и другая половина. Если он проиграет, то это вовсе не будет его проигрышем. В этом и состояла разница между Хрисафием и портовым грузчиком.

И снова он засмеялся с довольным видом. Что ж, дело не в величине ставки. Главное заключалось в том, что умный человек мог держаться подальше от разных неприятностей и все-таки делать большие дела, или, пожалуй, в том, что он мог делать большие дела и все-таки держаться в стороне от неприятностей. В этом и состояло искусство жить и управлять. Единственным, что ему не нравилось в большой игре, было то, что велась она против его воли, что он был не в состоянии разрешить ситуацию другим путем. Ведь должен же существовать еще какой-либо выход — и эта мысль не давала ему покоя. Должен, но не существовал. Тут была ситуация, при которой большинство других — ну, скажи это слово, Хрисафий, сейчас ты один, — большинство других *правителей* решились бы на то, что считается крайней мерой, — на войну.

Но он знал, что это было бы безумием. Ни одна сила в мире не могла позволить себе начать войну против гуннов. На это было две

причины: одна положительная, другая отрицательная.

Одерживать победу над гуннами не имело смысла — это народ без богатств, если не считать золота, которое гунны вымогали у других, особенно у Восточной империи: а уж золото они, конечно, сумели надежно спрятать. У них нет ни городов, ни деревень, дань с которых увеличила бы доходы империи; у них нет никаких ценностей; нельзя даже продать пленного гунна в рабство по той простой причине, что его никто бы не купил. Это абсолютно не выгодная вещь.

К тому же развязывать войну против гуннов было бы самоубийством. Варвары понимают только разрушение; оно, похоже, доставляет им удовольствие, как малым детям. Он читал сообщения об их маленькой войне, которая произошла несколько лет назад, вскоре после того, как этот Аттила сделался их королем: по какой-то причине они решили окружить свою империю (как только язык поворачивается произнести слова: «империя гуннов»! — но как еще назовешь эти огромные пространства от Реции и Паннонии, Сарматии и Скифии вплоть до Тракии) пустынным поясом. Это никем не заселенная земля, по которой нужно скакать три дня, чтобы ее пересечь. Гунны просто продвинули свои границы намного вперед — повсюду. Все города и деревни, которые оказались на их пути, они стерли с лица земли огнем и мечом. Наисс, Виминиакий, Сердика — города, платившие по семьсот пятьдесят тысяч солидов в год, перестали существовать!

И все это в мирное время, без объявления войны! Затем гунны бесстыдно объявили во всеуслышание, что любой, кого они встретят в пустынном поясе без надлежащего на то разрешения, будет распят на кресте, и после этого ряды распятых — без различия возраста и пола — послужили гарантией серьезности их слов. Такой же была и судьба первой сотни секретных агентов, пытавшихся проскользнуть через пояс, чтобы разведать, что же происходит на этой огромной безмолвной территории, которую теперь стали именовать империей гуннов. Окружив себя полосой отчуждения, варвары обезопасились от проникновения шпионов.

Но если человек идет на такие крутые меры, чтобы скрыть, что и когда он намерен делать, тогда это должно быть чем-то очень большим и опасным. И нетрудно предположить, что это может быть. Трудно только предугадать, когда это случится.

Купцам и, конечно же, имперским посланникам дозволялось проезжать через пустынный пояс, но они должны были немедленно сообщить о своем проезде первым же гуннским форпостам, стоявшим в нескольких милях юго-западнее того места, где прежде была Сердика. С этой минуты они попадали под непрерывный надзор, ехали той дорогой, которую им указывали гунны-проводники, и могли видеть лишь то, что им было позволено. Это означало полнейшую невозможность получить более или менее достоверную информацию о сосредоточении варварских войск.

А это, в свою очередь, означало, что гунны

могли предпринять наступление в любой момент и в любом месте. Создалась нетерпимая ситуация, которая требовала срочного и кардинального решения.

Итак, приходилось отваживаться на игру — на игру, ставки в которой невероятно высоки. В этой аморфной массе — империи гуннов существовал лишь один человек, в руках которого находились все нити, — победитель этих самых... как их там? соразгов?... да, их, а также полдюжины других диких народов, что жили на севере и северо-востоке. Человек, который провел тот ужасный конный поход по Киликии и Каппадокии и уже едва не угрожал Константинополю с тыла; человек гениальный, сомневаться тут не приходилось, чье имя стало нарицательным на улицах метрополии — рассерженные няньки пугали им непослушных детей. Он один был способен объединить дикие племена, которые до того времени так успешно использовались в качестве наемников в войсках, сдерживающих противников августейшего императора на востоке — персов и парфинян.

Итак, что, если этот человек умрет?

Хрисафий сонно вздохнул. Он снова сказал себе, что Вигил его лучший агент, что Вигил рекомендовал варвара по имени Эдеко и что у него сложилось вполне благоприятное впечатление об этом Эдеко, когда они встретились два месяца назад в доме Вигила. Он представлял собой редкое сочетание человека действия и разума. Другими словами, он был человеком, которого Аттила выбрал себе в послы, отдав ему предпочтение перед гуннскими вождями,

одетыми в меха и кожу и покрытыми кровью и навозом. Эдеко принадлежал к скирам — народу, который обитал за пределами Восточной империи и заключил подобно многим другим нечто вроде союза с гуннами. Миссия Эдеко при дворе в Константинополе была обычной: Аттиле требовалось новое золото, и Хрисафий, разумеется, должен был удовлетворить это требование, увеличив налоги в некоторых провинциях. И как раз тогда у него появилась идея — очень простая, — что намного легче будет насытить такого человека, как Эдеко, чем Аттилу. И вот план заработал...

Два месяца. Просто невысказанно, как долго могут тянуться два месяца, когда не остается ничего другого, кроме ожидания. Ведь ожидание становилось временем без какого бы то ни было действия. Голым временем.

С угрюмым видом он завернулся поплотнее в свои просторные зеленые одежды, словно сам себе казался голым. Как отвратительно иметь тело такое тяжелое, мясистое, жирное, которое он всегда старался прятать от других. Ему было известно, что многие верноподданные августейшего императора называли его «жирным императорским пауком», и несколько раз ему удавалось узнать имена тех людей, так что им приходилось раскаиваться в своей откровенности. Они получали свое, но это ничего не меняло — он продолжал ненавидеть собственное тело и тела других людей. Еще маленьким ребенком его сделали евнухом. Ему никогда не были ведомы нормальные чувства, и он рассматривал их в других как нечто достойное ско-

рее презрения, чем зависти. Он ненавидел ткани, форму и запах человеческой плоти. Лишь в ментальной сфере он обретал наслаждение: в силе, превосходстве, остроте и пронизательности интеллекта. Реальный мир находился у него в голове, нематериальный и мобильный — и даже элегантный, как ему порой казалось.

Почему он пришел к таким мыслям? Ах да, голое время, ожидание! Чтоб ему, этому ожиданию, провалиться в седьмой круг ада!

Он решил пройтись по комнатам, где его секретари разбирали присланные донесения, и проверить, стараются ли они. Нет ничего лучше неожиданного прихода, если хочешь узнать, хорошо ли тебе служат.

Но по дороге он встретил возле часов раба, который, упав на колени, протянул ему письмо — не обычный запечатанный свиток, к каким он привык, а грубый клочок пергамента, перевязанный обрывком веревки.

Он торопливо развернул его. Как и ожидалось, в послании не было ни имени адресата, ни приветствия. Сообщение было кратким и писалось в большой спешке.

«Э., В. и двое других направляются к городу. Приблизиться невозможно. Предположительное прибытие в полдень. — Кварт».

Хрисафий закрыл глаза. Кварт — четвертый — был хорошим агентом, одним из лучших. Эдеко и Вигил с двумя другими едут сюда и будут здесь примерно через час. Но почему «невозможно приблизиться»? Если все хорошо, почему тогда невозможно приблизиться? Если

все плохо... Этого не могло быть, разве что они оба, Эдеко и Вигил, мертвы. Жестоко убиты. Значит, или им удалось осуществить задуманное — это было бы слишком хорошо, чтобы в это можно было поверить, — или все пришлось отложить. Но почему тогда они возвращаются? Загадка явно заключалась в двух словах — «невозможно приблизиться». Он топнул ногой. Зачем понадобилось Кварту морочить ему голову загадками? Нет, не так. Кварт хороший агент. Никогда нельзя недооценивать людей, с которыми работаешь. Значит, он счел почему-то необходимым написать именно так. Видно, сам был сбит с толку. Для Кварта это тоже стало загадкой. Вот как. Они подъезжали, но тут было что-то странное. Вот в чем состоял смысл донесения. Таким он и останется — для Кварта, который, разумеется, не знал всей сути. И теперь Хрисафий понял, что ему делать.

Он коснулся одного из маленьких бронзовых гонгов, и вошел секретарь.

«Приказ префекту города, — написал Хрисафий на своей личной восковой табличке. — Посольство, состоящее из Вигила, вождя скиров Эдеко и других, приближается к городу. Направить их прямо в мой дворец и позаботиться о том, чтобы они больше ни с кем не общались. — ХР».

Он запечатал письмо своим кольцом. «Срочно». Секретарь взял письмо, поклонился и исчез.

Хрисафий стал расхаживать взад и вперед по комнате. Что-то не так. Он чувствовал это,

так подсказывал ему разум. Что-то не так. Но что?

Через полчаса гонец прибыл с ответом.

«Сиятельнейшему препозитору Хрисафию — от Кирилла, префекта города, с приветствиями.

Упомянутые лица являются посланниками короля гуннов императору, и руководитель посольства, Эдеко, настаивает на том, чтобы ему немедленно позволили предстать пред ликом августейшего императора. Я вынужден подчиниться».

Беспокойство. Определенно. Но почему? Каким образом? Оставалось только одно. Присутствовать на аудиенции.

Еще один удар в гонг.

— Мои знаки власти. Жезл.

Едва он успел приготовиться, как из императорских покоев принесли карточку с пурпурным краем. Его требовали к себе.

Посредством карточки. Это означало, что на встрече будут присутствовать император, его свита, дюжина чиновников, а, возможно, также Номий и один или двое военачальников.

Прекрасно. Что ж, поглядим, в чем там дело.

Император Феодосий, высокий, стройный, изнеженно-красивый, не сомневался, о чем будет идти речь. Еще одно посольство гуннов. Очередное требование стольких-то сотен, а возможно, даже тысячи или более фунтов золота. Очередные подношения послам. Очередной утомительный пир с варварами, когда отсутст-

вие беседы сопровождается еще более неприятным отсутствием умения прилично держать себя за столом. А он-то намеревался съездить верхом к новому охотничьему домику и испытать двух соколов. Какая досада! Завтра он не сможет поехать тоже, потому что будет обязательный праздник, и Пульхерия прибудет для участия в торжественном богослужении.

Тоже скучно, снова придется влезать во все эти тяжелые церемониальные одеяния — длинную белую тунику, пурпурный пояс, широкие золотые браслеты, пурпурный плащ с широкой золотой каймой, настолько щедро украшенный жемчугом и драгоценными камнями, что вес его составлял половину веса его владельца — наконец, диадема из золота и жемчуга, добавляющая почти фут к росту императора, и длинный золотой жезл с изумрудной шишкой, на которой укреплен золотой крест, куда вставлен крошечный кусок истинного Креста Христова.

Восемь придворных присутствовали на церемонии одевания, трое держали плащ, а остальные — по одному предмету из полного облачения императора. Когда их труды были завершены, император быстро и не без справедливого удовлетворения погляделся в огромное зеркало из полированного серебра и начал долгое шествие через весь дворец в зал для аудиенций.

Вдоль бесконечных коридоров стояли живые статуи — стража. Время от времени дорога приводила в роскошный зал, где один, двое или трое человек опускались на колени при приближении венценосной персоны,

чтобы потом подняться и следовать на почтительном расстоянии вслед за процессией. В первом зале находился Номий, комит финансов, во втором — Анатолий, генерал-магистр имперских войск, в третьем — Хрисафий и архимандрит Евтихий, пока в конце концов в свите не оказалось около тридцати человек.

На входе в зал для аудиенций группа трубачей протрубила сигнал. Пятьдесят стражей в золотых доспехах, с золотыми шлемами и щитами вытянулись в струнку, когда император взошел по двенадцати ступеням к трону. Главный распорядитель поправил тяжелые складки императорского плаща и отступил назад.

Феодосий подал знак, и магистр церемоний ударил в пол жезлом из слоновой кости.

Два стражника отворили гигантскую боковую дверь, и в зал вошла группа людей, выглядевших отнюдь не внушительно.

Среди них был Эдеко, высокий, плотный, мускулистый, в простых железных доспехах и шлеме.

Хрисафий пристально взгляделся в него, однако сильное спокойное лицо, окруженное ореолом из каштановых волос и каштановой бородой, ничего ему не сказало.

Стоявший рядом с ним человек был, видимо, гунном: маленький, приземистый, желто-коричневый, с глубоко посаженными глазами и тонкими усами. Он был одет в нечто вроде туники из темного меха, на поясе висел кривой меч в серебряных ножнах.

Третий своим умным долгоносим лицом скорей напоминал греческого оратора.

Четвертым и последним был Вигил. Посмотрев на него, Хрисафий понял, что произошло нечто ужасное. Вигил выглядел как собственный призрак. На шее у него висело что-то непонятное, громоздкое.

Магистр церемоний поднял свой жезл, и главный распорядитель воскликнул после этого знака:

— Августейший император, божественный, непобедимый, достославный, рад принять послов Аттилы, короля гуннов. — Величественным жестом руки и жезла он представлял послов. — Глава посольства — вождь Эслав!

Тонкие брови Хрисафия поползли кверху. Так вот кто номер один, этот маленький гунн, одетый в меха, а не Эдеко. Все становится еще более странным...

— При нем вождь скиров Эдеко, протонотариус Онигисий и Вигил, один из слуг августейшего императора.

Главный распорядитель сделал шаг назад. Он был очень подавлен, последние слова повергли его в смятение. Разумеется, немыслимо и беспрецедентно представлять одного из подданных императора ему самому вместе с членами иностранного посольства, однако магистр церемоний настоял на этом — якобы потому, что на этом настаивал глава посольства. И не было времени разобраться во всем, спросить магистра церемоний, какое право имел иностранный посол настаивать на произвольном изменении имперского этикета. Великий император имеет право выразить недовольство — действительно, ему следовало бы выразить

недовольство. Это ведь так необычно. Пусть теперь магистр церемоний сам выпутывается, если сумеет. Он послал было ему иронический взгляд, но, увидев лицо магистра, понял, что, видимо, случилось нечто ужасное. Глаза у бедного магистра были выпучены, а рот полукругом открыт. Поглядев в ту же сторону, главный распорядитель внезапно осознал, что послы гуннов не преклонили колена, они даже не поклонились. Они стояли прямо и спокойно, словно находились одни в зале. Лишь Вигил распростерся, коснувшись лбом пола.

Может, на этих варваров так подействовало присутствие императора, что они потеряли рассудок? Не может быть, чтобы они не знали порядка, ведь это же было, увы, не первое посольство гуннов и этот самый Эдеко уже был здесь и до этого. Может, они сошли с ума?

Он увидел, как магистр церемоний делает послам яростные знаки; он стал похож на сердитого ментора, увещающего своих воспитанников, и, что хуже всего, увещающего напрасно.

Послы гуннов не шевельнулись.

У главнокомандующего Анатолия было свое мнение насчет поведения этих людей. Лицо его налилось кровью, а рука судорожно сжала рукоять меча.

И вот глава Эслав шагнул вперед. Ему пришлось поднять голову, чтобы встретиться глазами с императором, восседавшим над ним на высоте двенадцати ступеней. Однако сделал он это так, как смотрит взрослый на мальчика, забравшегося на вишню и ворующего ягоды. И

произнес сурово и громко, безо всяких эмоций, на прекрасном греческом языке:

— Так говорит Аттила: Феодосий сын знатного и уважаемого родителя; Аттила также потомок благородных кровей, и ОН увеличил своими подвигами владения, которые унаследовал от своего отца Мундзука. Феодосий же потерял право на отцовскую честь, а, согласившись платить дань, опустился до положения раба. И поэтому он должен склониться с почтением перед человеком, которого поставили выше него заслуги и судьба, а не пытаться, будто лукавый раб, тайно плести заговоры против своего хозяина.

Мертвая тишина.

Онигисий, державшийся немного позади железной фигуры Эдеко, был, пожалуй, единственным человеком в зале, который в этот момент действительно забавлялся происходящим. «Ох, Аттила! — подумал он. — Ох, Аттила! Ах, какой момент! За пятьсот лет тут не случилось ничего подобного. Поглядите на них! Вы только поглядите на них! Это же землетрясение, землетрясение без малейшего движения!» Он знал большинство из присутствующих, хотя они, конечно же, не знали его, и это добавляло особую изюминку. Он видел императора, высокого и всемогущего, во время нескольких торжественных процессий, святейшего из святых, достославного, сияющую вершину имперской пирамиды, в сопровождении влиятельных сановников, включая кровососа Хрисафия. И вот! И вот! «Вы только поглядите на Анатолия! Ну вылитый боевой петух, даже конский хвост

на шлеме, казалось бы, хочет задраться кверху от ярости! Ах, а магистр церемоний и главный распорядитель! Ах, если бы они могли сделать то, что им сейчас хочется: отправить в ближайшую тюрьму этих наглых варваров, и завтра чтоб их пытали, и послезавтра пытали бы снова, а в конце концов их бы постигла смерть — не так ли, ведь верно, милые вы мои и любимые? Мне нужно держаться изо всех сил, чтобы не пуститься в пляс, мои ноги просто меня не слушаются! О боги, если вы есть, я не прожил свою жизнь напрасно, раз вы позволили мне лицезреть это, слышать это, пить это и есть это. Как страдали отец, и мать, и сестры, и маленький Скотта, и все отцы, братья и сестры моего народа, год за годом, декада за декадой терпели оскорбления и боль, из них высасывали все соки и мучили до смерти, а они, наглецы, кровососы, мучители, они жили в довольстве, сверкали золотом и томной красотой — и вот сейчас получили по заслугам. Ох, слава, слава происходящему! Они мычат, они разинули рты, они заикаются, краснеют, извиваются как змеи, но не осмеливаются что-то предпринять. Как ты был прав, Аттила, великий, дорогой Аттила! Они не осмеливаются ничего сделать, потому что слишком хорошо знают, что, если хоть один волосок упадет с наших голов, все они будут мертвы, не успеет смениться луна, а этот город будет стерт с лица земли, как Сердика, как Наисс. Поглядите-ка на Хрисафия... Что, он все еще спокойный и собранный, этот жирный паук? Ну подожди немного...»

Наконец Феодосий пошевелился. Они ошеломили его, он почувствовал себя мальчишкой, забравшимся на вишню, — такого никогда с ним раньше не случалось; все так неприятно, к тому же у них невероятно дурные манеры. Чувство такое, будто в тебя плюнул сумасшедший; такое однажды случилось с ним, беднягу немедленно убили, разумеется, но самому ему все-таки почему-то казалось, что убийство вовсе не ответ. Пульхерия сказала ему потом, чтобы он принес этот позор в жертву Божественному Спасу и гордился тем, что ему было позволено претерпеть такое же оскорбление, какие терпел Он, когда находился в руках жестоких воинов. И на этот раз он тоже почувствовал, что у Пульхерии нашелся бы ответ на эту непостижимую грубость. Он наклонился вперед, насколько ему позволяло тяжелое облачение, и четко произнес:

— Это все очень неправильно, очень. Почему вы говорите это нам?

Глава посольства Эслав слабо махнул рукой, словно говоря: «И на такой простой вопрос у тебя ушло столько времени?» А вслух произнес:

— Когда мой друг Эдеко, — и он подтолкнул его локтем, как толкает один простолюдин другого, — явился сюда в прошлый раз послом от Аттилы, он выразил некоторое восхищение вашими золотыми дворцами, красивыми статуями и одеждами. Что ж, мой друг Эдеко не гунн, и это, видимо, ввело вас в заблуждение, вы решили, что он лишен чести. Человек по имени Хрисафий, если его можно считать человеком, явился на встречу с ним в дом вот

этой собаки, — он ногой указал на Вигила, все еще распростершегося на полу и дрожавшего крупной дрожью, — и предложил ему дворец и высокий сан здесь, у вас, много слитков золота, женщин сколько ему захочется, если он убьет Аттилу... — Тут впервые изменился голос посла и выражение его лица, словно набежала грозовая туча, а когда он продолжил, голос его уже напоминал звериный рык: — Убить бога — моего бога и твоего бога!

Раздался чей-то стон. Онигисий огляделся вокруг. Может, застонал Хрисафий? Однако на безвозрастном жирном лице евнуха не было заметно ничего — никакого выражения, даже легкого волнения. Видно, застонал кто-то другой. И был прав, кто бы он ни был. Это смертный час для империи как таковой. Она потеряла свою независимость. Она приняла условия, предложенные рабом...

Одинокая фигура, восседавшая на троне, не шевелилась.

«О, Христос! — думал Феодосий. — О, Христос! Это очень похоже на правду. Хрисафий вполне способен на это. И почему у меня такие слуги? О, Христос, это мне кара за бесчисленные грехи, и я должен страдать, как страдал Ты. И все-таки мне хочется сейчас пробудиться и обнаружить, что все это лишь дурной сон... Должен ли я что-нибудь сказать теперь? Ах, нет, он снова заговорил... Впрочем, это уже другой».

Глава посольства Эслав кивнул Эдеко, и тот произнес спокойным басом:

— Все так, как сказал хан Эслав. Когда твой

слуга Хрисафий сделал мне предложение, чтобы я нарушил торжественную клятву, данную Аттиле, и убил его, сам он находился гораздо ближе к смерти, чем думал. Но я взял себя в руки. Я даже принял предложение и потребовал золото, которое, как я объяснил, пошло бы на то, чтобы подкупить стражу. Хрисафий немедленно согласился. Тогда я пошел дальше и потребовал, чтобы наш договор был оформлен по всем правилам и подписан им, магистром оффицием. Немного поколебавшись, он согласился и на это. Мне требовались доказательства — и я их получил. Он так жаждал добиться желаемого, что там же, на месте, заполнил документ и послал со мной своего слугу Вигила. Мы вернулись, и я отправился прямо к Аттиле, положил перед ним золото и грамоту и рассказал свою историю. Его ответ ты уже слышал. Теперь услышишь его требования.

— Грамота, — подсказал тихонько Онигисий. — Без грамоты он не поверит.

Эслав взял у него грамоту.

— Вот подпись собаки Хрисафия, — громко заявил он. Потом пнул несчастного Вигила так яростно, что тот повалился на бок, и сорвал громоздкий предмет с его шеи. — А вот золото. — Он бросил увесистый кожаный мешок и грамоту на первые ступеньки трона.

— Мой повелитель Аттила очень милостив. Все, что он требует, — это вес сотни Хрисафиев в золоте, а также самого Хрисафия, живого или мертвого. А за ничтожного Вигила хватит и

двух сотен фунтов золотом. Нам он не нужен, вот мы и привезли его назад.

Снова мертвая тишина.

Потом послышался тонкий дрожащий голос комита финансов Номия:

— Ты должен понять, хан Эслав, что этот вопрос требует созыва имперского консистория...

— Мы останемся здесь до завтрашнего полудня, — грубо прервал его Эслав. — И к тому времени я буду знать, воюем мы или нет.

Феодосий был сыт по горло. Он знал, что ни слова не может сказать — несовместимо с императорским достоинством отвечать на подобные речи, не говоря уж о том, чтобы обнаруживать, что он впервые слышит про это отвратительное дело. Он хотел воспользоваться своей прерогативой закрыть аудиенцию, но даже это ему не удалось сделать — на самом деле ее закрыл Эслав. Императору ничего не оставалось, как подняться, и он поднялся с трона.

Зазвучали трубы, и магистр церемоний занял свое место во главе посольства. Его ноги дрожали, а самые худшие ожидания оправдались, когда и на этот раз послы гуннов никак не попрощались с императором. Он постарался хоть как-то компенсировать это особенно низким поклоном, и варвары, уже направившиеся из зала, едва не опрокинули его. Затем со слезами на глазах он вывел ужасных гостей.

Императорская процессия выстроилась заново. Хрисафий шел вместе с остальными и вместе с остальными отделился от императора,

когда они достигли высочайших чертогов. Никто не осмеливался заговорить с ним. Он вернулся в свои комнаты, прошел в кабинет с золотыми занавесями. И уже дотронулся до кресла, когда все вдруг начало кружиться перед глазами, и он рухнул на мягкий ковер в глубоком обмороке.

Ирис коснулась руки Гонории, а когда глаза их встретились, сделала почти незаметное движение в сторону Илдико. Гонория посмотрела и тут же отвернулась. Молодая девушка находилась в том странном состоянии, в которое впадала теперь все чаще: глаза широко открыты, так что видны белки вокруг радужной оболочки, лицо очень бледное, кожа натянута на скулах, все тело напряжено и изогнуто, как серп идущей на убыль луны, голова запрокинута назад. Когда она впервые увидела ее в таком состоянии, то подумала, что девушка внезапно заболела, и позвала на помощь. Это произошло здесь же, в маленькой церкви, и мать Пульхерия стояла на коленях впереди них так же, как и сейчас. Она обернулась и поглядела на Илдико, внимательно и испытующе, потом чуть улыбнулась, словно сейчас увидела ее впервые в жизни и решила, что знакомство будет приятным, махнула чуть заметно Гонории — мол, все в порядке, не о чем беспокоиться, просто нужно оставить девушку в покое, снова взглянула на Илдико, снова улыбнулась и сделала странный жест правой рукой, как будто благословляла ее. После этого отвернулась и продолжала молиться, как и прежде.

Полчаса спустя, когда богослужение закончилось, Илдико не встала вместе с остальными, а осталась на коленях, все в той же неестественной позе. Ирис стала ее трясти, но она, казалось, ничего не чувствовала. Мать Пульхерия покачала головой.

— Оставьте ее в покое. Она сама придет в себя.

По какой-то непонятной причине Гонория рассердилась.

— Мать Пульхерия, она моя придворная дама, мне она нужна, да и служба уже закончилась.

Замечание Гонории было, разумеется, нелепым — оно провоцировало примерно на такой ответ: «В этом доме нет придворных дам и нет дочерей императоров, дитя мое. Это дом Господа нашего». Но вместо подобных слов Пульхерия чуть склонила голову и произнесла:

— Я заменю ее, пока она говорит с Господом. Пойдем, ты мне скажешь, что тебе нужно.

Хуже всего было то, что она сказала это абсолютно всерьез. Неудивительно, что люди называют ее святой. Возможно, так оно и есть. Что же, Илдико тоже святая? Еще ребенком она была невероятно набожной; молитва была для нее обычным делом, она могла молиться часами, и тут, в этой церкви, ей тоже было хорошо. Казалось, она и не замечала, какие жесткие эти отвратительные скамьи. Никогда не ерзала и не глазела по сторонам. Она наверняка поразовала бы Всевышнего своим видом, похожая на увядающую лилию? Ирис, разумеется, нена-

видела ее; и, пожалуй, как раз эта ненависть и помешала Гонории возненавидеть ее тоже.

Временами Ирис бывала грубой, а в прошлом и не слишком разборчивой... Правда, она больше всех страдала в этом доме — надо быть справедливой. А зачем быть справедливой? Разве атмосфера в «монастыре» нравилась ей самой? Она скривилась от отвращения. Нет, она никогда не будет святой. Не из того материала сделана. Ей хотелось жить, жить, а этот дом был домом мертвых, все только и думали, что о будущей жизни, о золотой траве небес, о рубиновых цветах, гармонии сфер, о которых с таким энтузиазмом говорил во время проповеди священник несколько воскресений назад. Жизнь после смерти — больше они ни о чем не могли думать. Ну а как быть с *этой* жизнью, этой молодой, теплой жизнью, когда трава зеленая, а не золотая, а цветы сладко пахнут медом, у каждого цветка свой неповторимый аромат, когда есть мужчины, сильные и мускулистые, прекрасные в своем безобразии, с жадными руками, которым невозможно сопротивляться...

В тысячный раз Гонория дала волю своим мыслям, и они забились о стены ее темницы. Скакать, скакать вместе с ним на диких конях по бескрайним степям, догоняя волков, джейранов или свое собственное счастье, сидеть в подозрительной таверне среди простых мужчин и женщин, грязных и вонючих, пить дешевое вино и слушать грубые шутки; ждать, лежа в постели, шагов, почти неслышных, но таких уверенных, смелых, властных, таких знакомых,

видеть, как тяжелая занавесь отодвигается в сторону и входит он, само воплощение силы, безобразной и славной силы мужчины... Приди, приди!.. Ах, Ирис была права, сто раз права — гораздо лучше иметь в любовниках черного Сифакса или полупьяного моряка из порта, делить с ним его жизнь, рожать ему детей, растить их. Ее сын. Где он? Что они сделали с ее сыном? В своих письмах матери — каждую неделю, мать Пульхерия следила за этим — она никогда не упоминала о нем, никогда. После того ответа, который она получила на свое первое послание, написанное на борту корабля по пути в Константинополь, в святую тюрьму, и отправленное с какого-то острова в Эгейском море, где они остановились, чтобы пополнить запасы пресной воды и продовольствия. Одной строкой, одной-единственной строкой мать ответила на ее отчаянный призыв, на ее мольбу: «О ребенке заботятся». И все. И второй раз уже не хотелось давать повод для подобного ответа. Где он теперь? Жив ли вообще? А если жив, как его воспитывают, кто и где? Наверняка можно было сказать лишь то, что ему не сообщат, кто его родители и что в его жилах течет кровь императоров. Тут она испытывала некоторое удовлетворение: они скроют от него имя матери, но *не смогут* сказать имя отца, потому что сами его не знают. Знала это только она и Илдико. Ирис? Раз или два у нее возникало подозрение, что Ирис догадывается. Но, уж конечно, Илдико ей ничего не говорила, на нее можно было положиться, несмотря на ее странности или,

может, благодаря им. Во всяком случае, она была надежной и, несмотря ни на что, любила свою повелительницу, эта забавная девочка, тогда как Ирис любила лишь себя.

Ну а если она это и сделала? Это было бы вполне естественно. С Ирис можно говорить, с ней можно посмеяться, помечтать о тайных забавных побегах в такие места, про которые бледная маленькая святая и не слышала. Но зато с Илдико можно разговаривать про Этцеля и ребенка. Правда, это всегда одно и то же; никаких новостей, никаких перемен — они отрезаны, отрезаны от земли живых людей.

А Илдико нравится жить здесь, вот почему с ней становится так трудно ладить. Она, кажется, просто упивается атмосферой этого дворца с его священниками, ладаном и деревянными скамьями. Совершенно взрослая девушка, а ей кажется вполне естественным, что ни одному мужчине не дозволяется входить во дворец, за исключением священников. Это и в самом деле монастырь. Что же еще?

Мучаясь от отчаяния и разочарования, она даже пыталась подражать Илдико, убеждала себя, что ей нравится жить здесь, что ее жизни в миру пришел конец, что остаток дней своих она проведет, обратив лицо свое к вечности и Богу. В конце концов, она ведь верила в Бога, хотя бы иногда. Разумеется, в детстве ее приобщили к религии, и мать всегда настаивала, чтобы по воскресеньям и праздникам они ходили к мессе. Бывали и длинные разговоры с епископом Ницетием, но каким-то образом постулаты веры оставались для нее отвлечен-

ными понятиями, не связанными с жизнью, ведь она же не была монахиней и не брала на себя обет послушания. К примеру, уроки в школе. Ты помнишь какие-то выученные факты, другие забываешь, но даже те, что не забыты, редко когда требуются тебе в жизни. Для таких, как мать Пульхерия и Илдико, все это казалось частью жизни или даже настоящей, полноценной жизнью. Она тоже пыталась сделать это своей жизнью, потому что выбора не было, но вскоре отказалась. Все это было не для нее. Или, вероятно, Бог не принимал посредственность. Ему нужно было либо все, либо ничего. Порой у нее шевелились сомнения, существует ли он вообще. И было забавно думать, как мать Пульхерия — в своем доме она никогда не пользовалась своим императорским титулом — все кланяется и кланяется, сложив на груди руки, шепчет молитвы, а вместе с нею и остальные — и все это перед пустотой. Впрочем, думать об этом опасно. Да так оно и есть! Незримый, Непостижимый, Необъяснимый — ох, почему они не могут оставить ее в покое? И ей доставляло какое-то болезненное и угрюмое удовлетворение считать их всех глупцами, которых надо слегка успокаивать, пока не сможешь выбраться отсюда прочь, прочь, прочь...

И, как ни странно, вот такое необычное состояние Илдико, казалось, мешало ей испытать полное удовлетворение. Поначалу она не принимала это всерьез, — Ирис даже поговаривала о притворстве, — но тут она ошибалась: девушке было незнакомо притворство. Правда, ей казалось, что причина крылась в перенапряже-

нии или эмоциональном потрясении — у нее самой было такое в пятнадцать лет, когда она неожиданно решила всерьез отнестись к религии, но только у нее это продлилось лишь несколько месяцев, а Илдико уже не пятнадцать лет. К тому же в другое время она ни в чем не обнаруживает излишней эмоциональности, когда не молится, то походит на нормального, вполне обычного человека.

Но ей не нравится видеть Илдико в таком состоянии. Становится просто жутко. Кажется, что девушка отрицает все, чего желает, на что надеется, о чем мечтает ее госпожа. Она счастлива, и это несправедливо по отношению к ее повелительнице, такое вот ее счастье. И в нем чудится упрек. Вот почему Гонория отвернулась, когда Ирис кивнула ей на Илдико.

Перед алтарем священник размахивал кадилом; бледный пурпур ладана закручивался в воздухе, расползлся, наполняя помещение ароматической сладостью. Все пели. Мать Пульхерия тоже пела. Гонория смотрела на ее изящную статную спину, на тонкую талию, прикрытую полупрозрачной черной накидкой, и чувствовала, что, если бы взглянула ей в лицо, то увидела бы на нем такую же отрешенность. А это было уж слишком: лишь ее не принимали их небеса, лишь она должна была сидеть тут, сжав губы, — и ей захотелось закричать, закричать...

И в этот момент Ирис, наклонившись, прошептала ей на ухо:

— Есть новости...

Новости? О чем? Что за новости? Жест

предостережения — потом, потом, не сейчас. Что бы то ни было, любое разнообразие казалось ей желанным в этом неподвижном мире.

Но почему такая таинственность? Почему она ничего не сказала ей до молитвы — в конце концов, даже здесь между молитвами бывали перерывы. Внезапно ей вспомнилось, что утром Ирис тут не было — ее посылали во дворец императора с письмом от матери Пульхерии. Так случилось не впервые — сестра василевса часто посылала ее, или Илдико, или кого-нибудь из своих придворных дам во дворец с персональными посланиями Феодосию, заодно они забирали оттуда и почту. Вероятно, Пульхерии надо было быть уверенной, что письма попадут прямо по назначению, что их не прочтут бесчисленные шпионы магистра оффиций либо какого другого высшего чиновника. Они все держали тут своих шпионов; впрочем, так было и дома, в Аквилее, и в Равенне, и в Риме. Ирис вернулась как раз к наступлению часа молитвы. Поэтому у нее не было возможности сразу же сообщить услышанные новости. Ах, священник уже вышел! Хорошо! Она сосредоточилась на образе апостола Иоанна, святого покровителя этой церкви — прекрасном, молодом, с трагическими глазами лике на золотом фоне, пока мать Пульхерия не встала и не направилась к выходу. Через минуту принцесса и Ирис уже стояли в узком коридоре, похожем на монастырский.

— Очень удачно, что у Илдико очередной припадок, — шепнула Ирис. — Я услышала во дворце кое-что интересное. Прибыло посоль-

ство от гуннов, и все взбудоражены. Аудиенция еще продолжалась, когда я была там, поэтому не знаю, что произошло, но некоторые считают, что может начаться война, и все страшно обеспокоены.

— Правда? — В голосе Гонории прозвучало удовлетворение. Пусть, пусть они беспокоятся — император, магистры, военачальники. Гунны — это *его* народ.

— Да, домина. Но ты не услышала еще самого интересного. Про того человека, которого гунны сделали своим королем несколько лет назад, про Аттилу. Я встретила старого Приска, историка и философа, и он видел его, когда сопровождал Максимиана с посольством к гуннам некоторое время назад. Он сказал мне, что король гуннов взял себе имя Аттила, лишь когда сделался королем, и что до этого его звали Этцель. Разве не так звался тот гунн княжеского рода, который был заложником во дворце в Аквилее?

У Гонории внезапно закружилась голова и перехватило дыхание, ей даже пришлось закрыть глаза и прислониться к стене. Этцель... Аттила... Этцель...

Она почувствовала на себе острый, пыливый взгляд Ирис и взяла себя в руки.

— Да, домина. И теперь все трепещут перед ним. Приск сказал, что он, если захочет, может овладеть городом после двухмесячной осады или даже еще быстрее, что его невозможно остановить.

— Правда?

«Ну и плохая же она актриса! — с презрени-

ем подумала Ирис. — Если бы я не догадалась еще тогда, когда увидела узкоглазого желтокожего ребенка, то сейчас мне не составило бы большого труда сделать это. Интересно, что она ответит, если я спрошу: каково иметь сына от короля гуннов?»

— Душно, — слабым голосом вымолвила Гонория. — В этой часовне так душно! Я... я должна прилечь ненадолго.

Когда Ирис предложила проводить ее до спальни, она отрицательно потрясла головой и почти оттолкнула ее в сторону.

Комната Гонории была маленькой, с очень простой мебелью и ничем не отличалась от комнат ее придворных дам; принцессу мало утешало то, что и сестра василевса жила точно в такой же комнате.

Она не стала ложиться. С невидящими глазами она стояла возле узкого окна. Кипарисы, кусты олеандра в саду, золотая черепица соседних крыш, великолепный вид на синие воды Босфора внизу — ничего этого она не видела, как не замечала и веселого пения рабынь в саду — женщин всех возрастов и, вероятно, самых красивых служанок во всей империи.

Он стал королем. Все дрожат пред ним. А она тратит тут лучшие годы, забытая, живущая ненавистной жизнью монахини.

Она стиснула зубы. Ведь из-за него попала она сюда. Из-за него и ребенка, про которого он и не знает. Если бы он знал, если бы он знал! Но она не могла сообщить ему об этом. Она даже не знает, жив ли их ребенок. «О ребен-

ке заботятся». Но только где, мама? На небесах?

Помнит ли он ее? Прошло столько лет! Да, он будет всегда ее помнить! Так же, как и она его. Он не может ее забыть. Как могла она усомниться в этом хоть на миг? В этом доме тыряешь все, всю радость, всю гордость, все. А он не забыл! Другие женщины... конечно же, у него были другие женщины, много женщин. «Мы живем, скачем на коне, сражаемся и спим с женщинами». Пускай! Но он не забыл ее. Если бы он только знал, что сделал с ней! Если бы он только знал, где она...

Бежать? Бежать к нему? Безнадежно. Ей даже не позволено выходить из дворца. У евнухов, охраняющих ворота, строгий приказ на этот счет, и приказ этот дала не Пульхерия, а сам император. И она не могла рассчитывать на то, что их удастся подкупить — у нее не было денег, даже ее драгоценности были закрыты. «В этом доме мы не носим драгоценностей». «Нет, мать Пульхерия». Зачем монахиня носить драгоценности?

Бежать невозможно. Весточка... Но кто бы мог ее доставить? Это еще трудней, чем бежать, нужен надежный гонец. И деньги. Но ведь в городе сейчас находится посольство гуннов. Если бы кто-то мог добраться до них, передать им письмо... Но кто? Ирис? Нет. Не Ирис. Евнух, лучше любой евнух, только не Ирис. Впрочем, с евнухами трудно заговорить — они поймут, что это нужно сделать за спиной у Пульхерии и опять-таки потребуют денег.

— Илдико!

Нет ответа. О Боже, она, вероятно, все еще в церкви, в том состоянии, которое Ирис называет припадком! Именно сейчас, когда она ей так нужна, у нее случился этот припадок! Нет, вот ее шаги в коридоре.

— Илдико!

Девушка вошла в комнату, бледная, с виноватой улыбкой.

— Здесь я, домина Гонория. Прости, я чуть задержалась. Я... — Она замолкла, увидев лицо Гонории, ее глаза, сверкающие от возбуждения. — Что случилось, домина, не больна ли ты?

— Нет-нет, глупости, Илдико! Он стал королем своего народа, могучим королем!.. — Вдруг она вспомнила. — Ты помнишь крепость Бариоли и как ты сказала, что он когда-нибудь явится и заберет меня, явится с войском? Помнишь? Может, он так и сделает теперь. — Она схватила Илдико за руки. — Послушай, Илдико, послушай, моя маленькая милая девочка, тут сейчас находятся послы — от него к императору. Он не знает, где я. Даже не знает, что я жива. Я напишу ему. Может, ты... может, ты сможешь мне передать ему письмо? Передать через его послов? Сделай это, и я стану благословлять тебя всю жизнь!

Илдико просияла от радости.

— Конечно, домина. Где письмо?

— Я напишу его сейчас, немедленно. Ах, благодарю тебя, моя овечка, сладкая моя! Я знала, что ты не подведешь меня. Так дай я напишу...

«Как прекрасна она, когда ее переполняет счастье! — подумала Илдико. — Наконец-то

она дождалась! Я молилась об этом каждый день». А вслух она сказала:

— Пожалуй, я пойду сейчас же спросить разрешение у матери Пульхерии.

Гонория резко обернулась к ней.

— Ты с ума сошла? Она не должна знать! Никто не должен знать, кроме нас с тобой!

— Но, домина, — растерялась девушка, ослепленная яростью Гонории, — ты ведь делаешь то, что правильно. Ты и король должны принадлежать друг другу. Так почему святая мать не может знать об этом?

Простушка! Идиотка! Ах, терпение, иначе я все испорчу!

— Да и потом, — продолжала Илдико, — без разрешения меня не выпустят отсюда.

Это было верно. Она совсем про это забыла. Ведь они пленники. Кроме...

— Ты бывала и раньше в императорском дворце, она может снова послать тебя туда.

Но когда? И потом Пульхерия всегда посылала с ней или с Ирис евнуха. А сколько пробудет в городе посольство гуннов? Наверное, недолго. Что, если они уедут до того, как Илдико сможет доставить письмо?

Она задрожала всем телом. И внезапно разразилась безумными рыданиями; ей казалось, что ее разрывают на кусочки, все были против нее, весь мир. Она бросилась на постель, и ее голос был голосом маленькой девочки, когда она причитала, раскачиваясь:

— Лучше бы я умерла! Лучше бы я умерла!

Илдико упала на колени возле нее.

— Не надо, ох, не надо, дорогая домина. Я

сделаю это. Обещаю, что сделаю. Обещаю найти возможность.

Гонория подняла на нее глаза. Прекрасное лицо было залито слезами.

— Поклянись, Илдико, поклянись, что постараешься, чтобы мое письмо оказалось у него. И еще что ты не скажешь об этом никому в этом доме.

Очень краткий миг Илдико колебалась — словно тень упала между ней и несчастной молодой женщиной, лежавшей на постели. Потом сказала:

— Клянусь. Своей жизнью.

— Да, Дидимий? — слабым голосом спросил Хрисафий. — Что случилось? Может, умерла благородная августа Пульхерия? Если это так, я прошу тебя за то, что ты нарушил мой покой. — Он казался собственной тенью. Мясистое тело усохло, а кожа приобрела цвет пергамента.

Первый разговор с василевсом был весьма бурным. Даже сейчас он не был уверен, намерены ли они принять условия Аттилы без переговоров и выдать его гуннам. В этом случае для него оставалась лишь капсула с мгновенно действующим ядом — это лучше, чем невыносимые пытки у Аттилы. Он осмелился намекнуть на удар по императорскому престижу, если его магистр официий будет выдан в руки иностранного короля, однако Феодосий рывкнул на него: «Это ты погубил наш престиж своими ужасными, грешными планами!» Он бросился в ноги императору. Да, он планировал убийст-

во Аттилы, но разве ради собственных интересов? Разве он хотел сделать это не в интересах своего василевса, которого он любит больше, чем самого себя? Разумеется, он не сообщил ему об этом, чтобы не отягощать его императорскую совесть и принять вину целиком на себя, и это необходимо было бы сделать для предотвращения дальнейших набегов гуннов. Мелодрама всегда действовала на Феодосия, по крайней мере он не стал спешить с окончательным решением. Позже он встретился на приватной аудиенции с Номием и Анатолием, однако пока что Хрисафий не знал результата. И теперь была почти полночь — еще двенадцать часов, и гунны уедут...

И вот Дидимий пришел докучать ему рассказами о том, чем занимается сестра императора. Ну так что же?

— Тут находится госпожа из «монастыря», хозяин. Я привел ее к тебе по ее настоянию. Она одна из придворных дам принцессы Гонории. Госпожа Ирис.

— В такое время? Знает ли об этом мать Пульхерия?

— Нет, хозяин.

— Глупец! Ты мой лучший агент в «монастыре». Если она это обнаружит, то тебя прогонят. А ведь так трудно было внедрить тебя туда...

— Не имеет значения, — сказал, ухмыляясь, Дидимий. — Это десятикратно стоит того. Августа Гонория написала письмо Аттиле и...

— *Что* она сделала?

— Она знает его...

— *Что* она сделала?!

Хрисафий вскочил.

— Приведи ее немедленно!

Теперь спокойствие. Это может быть нечто — это может быть все. Нечего гадать. Жди. Вот она идет.

Он видел ее и прежде, раз или два, когда она приходила во дворец. Красивая, чернявая, на египетский лад, вероятно, в ней течет египетская кровь. Нисколько не застенчива. Только, видно, надоели ей порядки дорогой матери Пульхерии. Жесткий, решительный рот.

Он вежливо поклонился ей, помог сесть и направил на нее холодный вопрошающий взгляд. Необычное время и необычный способ навещать магистра официя. Ну так в чем дело?

Ирис не стала терять ни минуты.

— Я пришла, чтобы сообщить тебе невероятно важную весть. Я уже намекнула кое о чем твоему слуге Дидимию.

— Дидимий, — быстро вставил Хрисафий, — слуга благороднейшей августы Пульхерии. — Но улыбнулся при этом, как бы не желая пугать ее, и она продолжала:

— Дидимий знает кое-что, но не все. Мне пришлось сказать ему об этом, иначе он не привел бы меня сюда.

— Конечно, — подтвердил Хрисафий.

Ирис вздохнула.

— Я расскажу тебе все, — сказала она, — однако ты должен понять, что это означает для *меня*. Я должна быть уверена, что окажусь под

защитой и буду вознаграждена. Ведь я нахожусь в очень опасном положении.

— Меня нельзя назвать таким уж бессильным, — улыбнулся Хрисафий. Он не мог не вспомнить разговора с императором, который к этому времени, возможно, уже решил выдать его послам Аттилы, и, несмотря на его отчаянное положение, мысль о том, что для этой женщины он был почти всесильным, вызвала у него горькую усмешку.

— Я полагаюсь на тебя, — лстиво сказала Ирис. — Твой слуга, то есть слуга благороднейшей августы Пульхерии сообщил тебе, как я думаю, что моя госпожа написала письмо королю гуннов. Я сказала ему, что она знает Аттилу. Все это совершенно верно, однако это лишь часть правды. Она познакомилась с ним в Аквилее, когда он был там заложником и звался князем Этцелем.

Верно, подумал Хрисафий. Он был князь Этцель, или хан Этцель, прежде чем сделался Аттилой. И евнух одобрительно кивнул.

Ирис презрительно улыбнулась.

— Тогда у нее была с ним любовь, — сказала она. — Продолжать? — И ханжески опустила глаза. — Кстати, это причина, по которой ее прислали сюда.

— Правда? — тихо спросил Хрисафий. Его мысли заметались. — Это интересно. Понимаю, этот союз между сестрой императора и ханом гуннов явно не приветствовался...

Ирис издала короткий смешок.

— Дома никто об этом не знает. Даже императрица-мать. Моя госпожа категорически отка-

залась назвать имя этого... ну... Я сама обнаружила все гораздо позже.

— Там был ребенок, разумеется, — сказал Хрисафий. — Тебе нет необходимости отрицать это, милая... этот секрет тут всем известен. Что случилось с ребенком?

— Моей госпоже не позволили взять его с собой. Порой она думает, что он умер. Она не знает. Я тоже.

— Сын? — осторожно спросил Хрисафий.

— Сын.

— А Аттила... а отец знает? Нет? Это точно? До сих пор они никак не были связаны? Только теперь? А тебе известно, что она написала ему?

— Да, более или менее. Она обсуждала это с госпожой Илдико. И так случилась, что я слышала отрывок их беседы — случайно.

— Конечно, — сказал Хрисафий.

— Она говорила, что Аттила не знает, где она, и что она просит его забрать ее, но не сообщает ему о сыне, потому что не знает, жив ли он. Когда князь сбежал из Аквилеи, то еще не знал, что она беременна.

— Она просила его забрать ее, — повторил Хрисафий. По лбу его стекали тонкие струйки пота, а лицо немного подергивалось. Есть пределы тому, что человек способен выдержать, делая вид, что его мало волнуют жизненно важные вопросы. — Что произошло с тем письмом?

— Госпожа Илдико обещала доставить его гуннским послам.

Хрисафий с трудом сглотнул комок в горле.

— Когда?

— Как только получит возможность. Видимо, завтра.

Он наклонился вперед.

— Ты уверена, что письмо еще не ушло?

— Абсолютно уверена. Вот почему я поспешила сюда в этот час, чтобы можно было это предотвратить.

Он откинулся на спинку кресла.

— Что ж... Да, понимаю. А ты уверена... вполне уверена, что августа Гонория просит помощи у Аттилы? Уверена. Ты сама сказала...

— Да. И она собирается послать ему свое кольцо с печатью в знак того, что считает его своим женихом.

Хрисафий закрыл глаза. Когда он открыл их снова, решение уже было принято.

— Очень хорошо, моя дорогая госпожа Ирис. Я невероятно благодарен тебе. Только мне хотелось бы узнать еще одно. Почему ты рассказала мне обо всем этом?

Ирис прикусила губу.

— Я больше не могу жить такой жизнью. Я молода, и я женщина. Я не могу жить монахиней, я из другого материала. Я сообщила тебе важные новости. Теперь ты должен мне помочь.

Она поглядела на него, будто обиженный ребенок.

— Бедная девочка! — по-отечески сказал внуч. — И как ты только терпела до сих пор?

— Что я могу поделать! Меня прислала сюда императрица-мать, а собственных денег у меня нет.

Он похлопал ее по руке.

— Не беспокойся, мы все изменим. Теперь слушай меня внимательно. Ты должна вернуться в «монастырь»...

Она вскочила.

— Нет! Нет! Никогда... если там узнают...

Он мягко заставил ее сесть.

— Никто не узнает. И это будет длиться недолго. Обещаю тебе, что ты будешь свободна, не успеет закончиться неделя. Может, и раньше. Но уж точно не позднее. Вот...

Он выдвинул ящичек в своем столе и достал черепаховую шкатулку, инкрустированную золотом.

— Погляди...

Ее глаза широко раскрылись. В шкатулке переливалось и сверкало маленькое море драгоценностей — всех цветов и размеров.

— Это все отборные вещи, — сказал внук. — И каждая не дешевле пятидесяти фунтов золота. Выбирай одну... нет, две. Выбирай сама. Это еще не награда. Это чтобы ты была послушной и задержалась в «монастыре» на несколько дней. Когда все закончится, ты снова придешь ко мне и я дам тебе красивый дом в городе, столько слуг, сколько захочешь, и десять тысяч солидов золотом. Довольна теперь? Ну вот. Теперь возвращайся назад и веди себя так, будто ничего не произошло вовсе. Держи себя естественно. Ты ничего не слышала, у меня не была. Ни во что не вмешивайся. Жди. Жди, пока не уйдет гонец к Аттиле, я имею в виду — гонец к послам-гуннам. Это произойдет не завтра. Скорее всего послезавтра. Дидимий даст тебе знать. Тогда приходи ко мне и

сообщи обо всем официально. Ясно? Замечательно. А теперь возвращайся, милая моя. Что ты выбрала? Рубин и круглый изумруд? У тебя прекрасный вкус. Дидимий! Отведи госпожу Ирис назад. И жди моих распоряжений. Желаю удачи.

Когда за этой странной парой сомкнулись занавеси, Хрисафию пришлось облокотиться на стол. Он стонал от радости. Он ликовал. Потом рухнул в кресло и долго сидел, нахолившись, будто попугай, раздутый попугай, раскачиваясь взад и вперед и издавая негромким фальцетом ликующие возгласы.

Утром он испросил у императора новую аудиенцию и получил ее. Но к этому часу он уже был другим человеком. Ни мелодраматизма, ни оправданий, ни мольбы. Это был гордый человек, бессменный магистр оффиций, уверенный в себе, исполненный достоинства.

Феодосий был изумлен. Сам он так и не смог прийти ни к какому решению. Номий два с половиной часа втолковывал ему, что в имперской казне нет столько денег, чтобы вести настоящую войну, а Анатолий за полчаса ясно объяснил, что в случае войны гунны через несколько месяцев займут Константинополь. Другими словами, они хотели принять условия этих бесстыдных людей с дурными манерами. Господь и святые угодники свидетели, что он не стремится развязать войну. Но они также знают, что их покорный слуга Феодосий не любит, когда его называют рабом, а затем вынуждают соглашаться на все требования, которые выдвигают наглецы.

Откупиться золотом и без того неприятно, однако Хрисафий совершенно прав: для престижа императора будет катастрофой, если он согласится выдать одного из своих высших чиновников в качестве пленника иностранному королю. Да и вообще, этот нахальный гунн может в следующий раз потребовать выдачи самого императора.

Он довел себя до белого каления, его не покидала тупая гложащая боль — сознание того, что он, несмотря ни на что, будет вынужден пойти на это.

Таковы были его мысли, когда появился Хрисафий, и теперь этот человек, чья жизнь была не только в опасности, но вообще потеряна, строил из себя Сократа. Увидев, что император еще так и не принял решения, как всегда, когда выбора не оставалось, Хрисафий торжественно произнес:

— Я много думал, о великий император. Послы требуют ответа к полудню. Я советую тебе, о великий, согласиться на их требование.

— Что? Выдать тебя им?

— И это тоже может оказаться необходимым в ближайшем будущем, о великий. — Хрисафий стряхнул пылинку со своего придворного наряда. — Надеюсь, ты, о великий, не станешь сомневаться, что я буду рад спасти империю от войны такой малой ценой. Я прожил долгую и насыщенную жизнь на службе у тебя. Я готов отправиться туда, куда будет необходимо. Но, говоря о своем совете тебе, о великий, пойти навстречу требованию послов, я имел в виду их требование получить ответ к полудню.

— Понимаю, — сухо сказал Феодосий. — Но что я отвечу? Что я могу ответить?

— То, что больше всего понравится их господину. Что мы не только выполним, но и превзойдем его ожидания.

— Хрисафий! Я не понимаю тебя.

— Даже Аттила поймет, что мы не можем собрать столько золота за несколько часов. А его послы явно торопятся. И тогда ты, о великий, скажешь им, что ожидания их господина будут не только выполнены, но и превзойдены. Что караван, сопровождаемый некоторыми из виднейших людей империи, отправится в путь через несколько дней.

— И мы тогда выиграем время, хоть несколько дней, — задумчиво произнес Феодосий.

— Мы выиграем гораздо больше. Ты, о великий, уже принимал у себя комита финансов и главнокомандующего. Не получив возможности присутствовать на той встрече и не повидав никого из благородных мужей после нее, я смиренно полагаю, что могу догадываться о содержании их речей. Номий объяснял, что война слишком дорогостоящая вещь, а Анатолий — что мы ее не выиграем.

Феодосий слегка повеселел, почувствовав, что евнух полностью восстановил самообладание, и это возродило в нем надежды.

— Продолжай, Хрисафий.

— Ну, я полагаю, что в обязанности комита финансов входит забота о том, чтобы в казне были деньги, а в обязанности главнокомандующего — чтобы мы выиграли войну. Поскольку

Номий и Анатолий явно не справились с ними, едва ли можно будет удивляться, если ты, о великий, повелишь им уладить вопрос с королем гуннов по-другому, а именно отправившись к нему послами. Ах, им нет нужды беспокоиться — их жизням ничто не будет угрожать!

— Но ты, Хрисафий! Аттила ведь требует тебя, разве не так?

— Да, он оказал мне такую честь. Я рекомендовал бы, чтобы Номий и Анатолий взяли с собой только золото и сообщили гунну, что вторая выплата будет доставлена в течение... ну, скажем, шести месяцев взамен жизни недостойного слуги моего повелителя.

— Недостойный, но достаточно дорогостоящий, — произнес Феодосий, хмуря брови. — Номий будет вне себя, когда я скажу ему об этом.

— В этом случае ты, повелитель, скажешь ему, что это будет последняя выплата золота и что империя откупится от Аттилы по крайней мере на несколько лет, а возможно, и навсегда.

— Мой дорогой Хрисафий! И ты думаешь, что он этому поверит?

— Нет, — ответил таинственно евнух, — но, возможно, что так оно и случится.

Феодосий покачал головой в ответ на такое самоуверенное заявление.

— Ты снова задумал что-нибудь ужасное, Хрисафий?

Евнух спокойно улыбнулся.

— О повелитель, ты можешь почивать спокойно. На этот раз все обдумывать и прикидывать придется не мне.

- Кому же тогда?
— Аттиле, о повелитель.

5

Когда настало время, Илдико в последний раз пришла в маленькую церковь. Уже миновала полночь, весь монастырь спал. Она очень серьезно молилась перед алтарем, и, как обычно, ее молитва была чистосердечной и искренней.

— Мне так жаль, что я должна уйти, но Ты ведь понимаешь, как это необходимо, правда? Я дала слово, даже поклялась своей жизнью, поэтому должна это сделать. Моя госпожа любит этого человека, и я уверена, что он любит ее так же сильно. Они совершили в прошлом тяжкий грех, и долгие годы разлуки послужили им наказанием. Теперь же моя госпожа хочет одного — выйти за него замуж и быть с ним вместе, вот почему я должна пойти и отнести ее письмо тем людям, которых он прислал сюда. Она запретила мне говорить об этом матери Пульхерии, и это мне больно, ведь я не люблю секретов и люблю мать Пульхерию. Но я обязана подчиняться своей госпоже, да и потом я говорю об этом ТЕБЕ, и никто не может мне запретить это сделать. Мне не нравится, что я ускользаю среди ночи, а еще мне немножко тревожно, хоть я и не боюсь на самом деле... нет, пожалуй, все-таки боюсь, но это ничего, да и вообще, Ты уже помог мне, сделав Дидимия таким добрым, что он согласился помочь мне, так что я уверена, что все

будет хорошо. Он даже приготовил мула для меня и сам отправится со мной. А теперь я должна идти. Спасибо Тебе за все.

Она немного поспешно поднялась на ноги и вышла. Она знала, что, задержись она чуть дольше, она уже не сможет уйти. И прошептала свои слова так, как ребенок передает чужое послание, не поднимая глаз на икону, хотя ее сердце стремилось к этому с неодолимой силой. Однако сейчас не время для счастливых мгновений — надо выполнять свой долг.

Дидимий ждал ее. Он немного нервничал, но улыбался. Он приложил короткий палец к губам, бесшумно прошел вперед к тяжелой двери и отворил ее. Больше не было видно никого. Дежурил в эту ночь Дидимий. Сначала выскользнула Илдико, он последовал за ней, осторожно прикрыв дверь. Жестом велел идти по траве — по гравию ноги ступали бы слишком шумно. Вскоре они уже были в конце сада и там увидели двух мулов. Дидимий отвязал их от тонкого ствола дерева и помог девушке взобраться на спину одного. Она умела ездить верхом — не раз сопровождала Гонорию в верховых прогулках. И это было кстати, поскольку Дидимий, кажется, очень спешил. Через некоторое время она увидела, что он направился не к императорскому дворцу.

— Куда мы едем, Дидимий?

Он обернулся к ней.

— Послы уже уехали из города, госпожа Илдико. Мы должны спешить, чтобы догнать их.

— Уехали из города? Но тогда мы не вернемся сегодня ночью назад!

— Нет, госпожа Илдико, не вернемся. Но если ты отдашь мне письмо, я поскачу один. А ты легко найдешь обратную дорогу.

Илдико заколебалась. Именно Гонория говорила с Дидимием обо всем или скорее он говорил с ней. Во всяком случае, Гонория с восторгом приняла помощь умного евнуха, но настояла, чтобы Илдико отправилась с ним. По ее словам, евнухам никогда нельзя доверять до конца. Если даже они и честные, то ленивы и вполне могут сказать, что выполнили поручение, хотя сами просто забыли про него. А это письмо значило для нее все.

— Нет, добрый Дидимий, я поеду с тобой.

Он спокойно кивнул, и они продолжили путь. Каким ужасным окажется утро, когда мать Пульхерия обнаружит ее отсутствие! Нет, не окажется. Гонория скажет, что отправила ее с каким-нибудь поручением, она не позволит матери Пульхерии плохо о ней подумать. А она поклялась доставить письмо. Тут ее внезапно поразила еще одна мысль.

— Дидимий...

Евнух оглядывался по сторонам.

— Да, госпожа Илдико?

— Дидимий, если поездка получится долгой, нам нужны будут деньги, верно? А у меня ничего нет.

Он тихо рассмеялся.

— Не беспокойся. У нас достаточно денег.

Они уже добрались до окраин. В лунном свете Илдико видела там и сям людей, глазевших на них с уличных углов или из-под сводов

зданий. Просто замечательно, что у Дидимия есть деньги — он подумал обо всем.

Раз или два ей казалось, что она слышит топот копыт где-то позади, но, вероятно, она ошибалась.

Наконец дома остались позади, и они выехали на широкую дорогу, содержащуюся в прекрасном состоянии. По ее сторонам росли кипарисы. Галльская дорожная колесница, запряженная четверкой лошадей, выехала из-за деревьев, и возничий что-то крикнул.

Дидимий махнул рукой, и повозка остановилась.

— Это мой брат, — объяснил евнух. — Теперь мы поедем с удобством и быстрее.

Брат Дидимия показал в широкой улыбке все свои зубы.

— Значит, ты привез маленькую госпожу? Садись, садись — Тиракс тут присмотрит за мулами.

Раб помог им слезть на землю, потом сел на одного из мулов, натянул поводья и ускакал прочь.

Через минуту Илдико уже сидела рядом с Дидимием в колеснице, и четверка лошадей сразу рванула с места. Кипарисы полетели назад.

Дидимий действительно подумал обо всем. Наверняка при такой скорости они очень быстро догонят послов — возможно, она сможет вернуться в дом до восхода солнца.

Когда она проснулась, стоял уже день. Лошади все еще мчались. Дидимий спал рядом с ней, приоткрыв рот.

Бедный Дидимий, как ему неудобно провести сидя целую ночь! Ведь он такой огромный и толстый.

Было холодно. Дрожа, она прочитала утреннюю молитву, а затем стала глядеть по сторонам. Они мчались по красивой холмистой местности.

Немного отодвинув грубую ткань, она увидела брата Дидимия — возничего. Он был похудей, чем Дидимий; на поясе у него болтался кинжал, а на сиденье возле него лежал тяжелый меч.

Вот евнух издал тяжкий вздох, открыл глаза и зевнул. Потом он выпрямился, огляделся по сторонам и улыбнулся.

— Доброе утро, Дидимий. Ты знаешь, где мы едем?

— Более или менее, госпожа Илдико. Мы держим путь на Сердику.

— Сердику?

— Или, пожалуй, то, что от нее осталось. Послы уехали на двадцать четыре часа раньше нас, так что маловероятно, что мы догоним их до того, как доберемся туда.

Она подумала про «монастырь», где, вероятно, уже обнаружили ее отсутствие.

— И когда, по твоим расчетам, мы приедем в Сердику, Дидимий?

— Скорее всего завтра днем, если повезет. Сердце ее упало.

— Но, Дидимий, что скажут дома? Тебя это не беспокоит?

— Нет, госпожа Илдико. Мы делаем очень важную вещь, не так ли? Что надо сделать, то

надо. Эй, братец, как там насчет постоянного двора, где мы могли бы перекусить? Хорошего, я имею в виду.

— Через час, — ответил возничий, не поворачивая головы.

Дидимий достал маленький мешок с финиками и инжиром.

— Угощайся, госпожа Илдико, нам понадобятся силы. — Она с благодарностью стала есть сушеные фрукты, и он тоже не отставал.

На постоялом дворе, куда они прибыли часом позже, их ждал завтрак — горячая каша с лимонным соком, оливки, козий сыр и сладкое красное вино. Человек, похожий на переодетого воина, сообщил Дидимию, что посольство гуннов проехало мимо десять часов назад. Он держался почтительно, почти подобострастно, и Илдико заметила, что он внимательно глядит на нее — не так, как порой глядели мужчины, когда хотелось стереть их взгляды как что-то липкое и неприятное, а так, словно он очень удивлялся и одновременно немного жалел ее. Возничий обменял уставших до смерти лошадей на пару свежих. Хозяин постоянного двора был, видимо, богатым человеком, если в его ветхой конюшне стояли такие лошади.

Через полчаса они снова тронулись в путь. На сей раз возничим стал Дидимий, а его брат спал.

К вечеру они прибыли еще на один постоянный двор, где снова нашли свежих лошадей, а уставших оставили там. Это было почти точным повторением первой остановки — там

тоже их ждал человек с выправкой воина, который знал, когда проехали послы.

Они нагоняли их. Дидимий был уверен, что это произойдет днем или вечером следующего дня.

— С ними дюжина телег — с дарами императора. Это замедляет их продвижение. Крепись, госпожа Илдико. Скоро все закончится.

Она спокойно улыбнулась. Скоро или нет — дело надо сделать.

Дорога стала хуже. Однако она ухитрилась поспать несколько часов, прежде чем они добрались до третьего постоянного двора. Проснувшись, она увидела, что уже темно, и не сразу сообразила, где находится. Ей что-то снилось, но сон улетел от нее в неведомые края. Слышны были грубые резкие голоса, в темноте летали красные искры. Ни Дидимия, ни его брата рядом не было.

У крыльца толпилась группа воинов — крупных мускулистых людей. Она вылезла из колесницы и направилась к дому, где у входа с факелом в руке ждал хозяин.

Внутри дома была только одна большая комната. Дидимий находился там, он тихо разговаривал с офицером. Из того немногого, что удалось расслышать, Илдико показалось, что он настаивал, чтобы воины их сопровождали, тогда как офицер в чем-то оправдывался. В конце концов Дидимий отвернулся от него, сделав презрительный жест, а офицер, сильно покраснев, вышел наружу к своим людям. Странно было то, как говорил с ним Диди-

мий — словно он обладал властью, а офицер его боялся.

Во время еды Дидимий, казалось, находился в дурном расположении духа и о чем-то тревожился. Илдиго не смогла устоять от искушения и спросила его про офицера. И тут Дидимий взорвался. Он кричал, что этот ублюдок, этот жалкий трус отказывается сопровождать их через пояс. Но скоро он пожалеет об этом, центурион Симмахий из шестого легиона, вспомогательная конница, первый эскадрон шестого крыла. В таком случае понижение в звании еще не самое страшное, и пусть он радуется, если обойдется только этим. И все потому, что некоторые из его проклятых коней могут свалиться. Конечно, это всего лишь плохая отговорка. Его кони не были усталыми — не могли быть. Они проскакали только четыре часа. Предыдущему отряду пришлось скакать дольше, и то они не устали. Что? Да-да, для их защиты неподалеку постоянно скакали конники, всю дорогу от Константинополя. Тут Илдиго вспомнила про топот копыт, который слышала на улице города позади них. Но почему? И кто послал охрану?

Дидимий пожал плечами.

— У твоей повелительницы есть влиятельные друзья, госпожа Илдиго, — пробормотал он не без смущения.

Почему он смущен? Ведь вполне естественно, что у домины Гонории есть такие друзья. И почему офицер отказался сопровождать их? Что это за «пояс», которого тот, видимо, боится?

— Пей, — умоляюще сказал Дидимий, —

пей, госпожа Илдико. Ты мало спала в прошлую ночь, а дороги впереди ждут плохие. Если ты не выпьешь, то вовсе не заснешь всю ночь.

Она послушно выпила темно-красного вина. А съесть смогла лишь немного жареной рыбы и фруктов; евнух же с братом ели огромные порции мяса, жадно и серьезно, будто это была последняя трапеза в их жизни. И потом они снова пустились в путь.

Дидимий был прав — дорога становилась все хуже и хуже. Пришлось ехать значительно медленней, хотя ночь была такой ясной, что им не требовалось зажигать факелов. В свете луны местность казалась странной, почти фантастической — сплошные камни и скалы, лишь временами тощие деревья. Воздух тоже, казалось, изменился — временами на них веял ужасный сладковатый запах, и, когда это случалось, Дидимий и его брат внезапно становились говорливыми.

Затем Илдико увидела дерево. Жалкое, лишенное листвы, в два человеческих роста, а на нем...

— Сворачивай с дороги, — прошептал Дидимий. — А то у нее начнется истерика.

Но возникший лишь покачал головой. Свернуть с дороги было невозможно — он и по ней-то еле-еле ехал. Все, что он мог, это подхлестнуть лошадей, чтобы как можно скорее проскочить мимо ужасного места.

— Остановитесь, — произнесла Илдико. Ей пришлось повторить это ясным, твердым голосом, чтобы ее послушались. Оба брата перегля-

нули с беспомощным удивлением, когда она вылезла из колесницы и направилась к страшному дереву.

— Почему ты не остановил ее? — прошептал возничий. — Этот парень распят.

Дидимий судорожно сглотнул, но не ответил. У него не было никакого желания подойти хоть на шаг к этому ужасному месту — ни ради девчонки, ни ради императора. И даже ради Хрисафия он не подойдет ближе.

Они увидели, как она остановилась перед деревом и опустилась на колени.

— Она сошла с ума, — пробормотал возничий. — Она что, думает, что это Иисус Христос? Погляди на нее. Она сошла с ума.

Дидимий услышал, как застучали его зубы.

— Заткнись, — прошипел он. — Сам ты свихнулся.

Однако между утверждением его брата и действительностью некоторая связь имелась. Потому что Илдико и впрямь подумала, что это Христос, хотя ее безумие было совсем иного рода, о котором братья и понятия не имели.

— Ведь это Ты, — молилась она, — это всегда Ты, когда люди страдают, а сейчас это тем более Ты, ведь именно так Ты умер. Они не видят Тебя, они не чувствуют рук Твоих, простертых к ним, не слышат биения Твоего сердца, как тень их собственных сердец, которые бьются до тех пор, пока Твое сердце едино с их сердцами, и именно их сердца являются тенью, до тех пор, когда даже тень исчезнет, оставив Тебя одного. Кто реален? Ты, Который и есть единственная реальность. Им неизвестно пони-

мание единения с Тобой — почему иначе они так несчастливы всю жизнь до могилы? — Она поймала какую-то мысль — была ли то мысль мужчины, висящего на дереве и умершего уже десять часов назад, или чья-то еще мысль, возникшая в ночи? Это была мысль о благочестивом разбойнике, и она с чувством благодарности перекрестилась, поднялась с колен и пошла назад.

— Сейчас он уже на небесах, — сказала она и села в колесницу. Дидимию пришлось два раза толкнуть брата, чтобы тот ехал дальше.

И тогда он хлестнул лошадей так яростно, что те рванули с места.

Рывок, еще рывок... Они неслись, словно за ними гналась стая волков. Возничий не осмеливался оглядываться назад. Дидимий быстро и пристально поглядел на девушку, которую, казалось, вовсе не ужаснуло такое страшное зрелище, слегка пожал плечами, поплотней завернулся в широкий плащ и сделал вид, что спит.

И хорошо, потому что они встречали еще много крестов: некоторые в миле или двух друг от друга, некоторые маленькими группами. Ведь «пояс» именно таков — это всем было известно. Так король Аттила расправлялся со шпионами и с теми людьми, кого патруль почитал таковыми.

Это могло стать и их уделом, если они наткнутся на патруль прежде, чем догонят послов, и если начальник патруля не захочет слушать их доводы.

Илдико видела кресты, но больше не просила возникшего останавливаться.

Таким был настоящий мир — за пределами «монастыря». Не дворец в Аквилее, и даже не крепость Бариоли — это был реальный мир, где люди страдали и умирали в страшных муках, как сам Он. Дорога слез. Почему-то ей казалось, что она знала это все время с тех пор, как умерла мама. И ни на миг не подумала она о связи между этим зрелищем и мужчиной, женой которого хотела стать ее госпожа.

Даже на следующее утро, когда они добрались до развалин Сердики, она не поняла, что всего несколько лет назад это был красивый процветающий город. Это была часть мира, реального мира, в котором все вывернуто наизнанку. Они остановились возле базилики, на три четверти разрушенной, чтобы дать отдых лошадям. На свежих тут надеяться не приходилось, как и на то, что удастся найти пищу и питье. Сердика была превращена в пустыню, если не считать нескольких десятков истощенных людей с потухшими глазами, слишком старых и слишком больных, чтобы уходить с места, где они прожили всю жизнь. Осталось несколько садов, где можно было найти немного фруктов, а наиболее сильные из них сажали овощи. Они собрались вокруг колесницы, молчаливые и хмурые, и глядели на путешественников пустыми глазами с воспаленными веками.

Дидимий старался узнать у них, когда прошел караван с послами, но они не отвечали.

Едва лошади немного отдохнули, они двинулись дальше.

— Стикс, — произнес Дидимий, когда они увидели небольшую реку с бурой водой.

Возница хрипло засмеялся.

— Могу поспорить, что у Стикса более приятный вид. Ох, святые угодники! Вон они едут. Ах, святые апостолы, помогите нам! Спаси нас, Иисусе Христе...

Несколько всадников мчались во весь опор с вершины холма — одетые в звериные шкуры, с остроконечными шапками, на низкорослых лошадях.

Дидимий побелел как снег и встал.

— Остановись, брат. Нечего и пытаться убежать от них.

Дрожащей рукой он махнул патрулю. Гунны приблизились быстрее молнии, окружили повозку и остановились; шесть стрел нацелились на путешественников.

— Не стреляйте, — взмолился Дидимий на языке гуннов. — Мы послы, едем к вашему королю. Кто у вас главный?

— Это страна гуннов, — произнес ближайший всадник. — Нам тут не нужны шпионы. — Его быстрые раскосые глаза примечали все.

— Мы не шпионы, — запротестовал Дидимий. — Мы послы. Мы сопровождаем эту госпожу, которая везет важное послание королю Аттиле.

К этому времени гунны все разглядели: два человека, только один из них вооружен, и женщина. Очень красивая женщина. Они сгрудил-

лись еще тесней вокруг повозки; вонь от их невымытых тел казалась невыносимой.

— Эта госпожа, — торопливо сказал Дидимий, — специально послана к вашему королю. Не смейте обижать ее — он страшно за нее отомстит. Мы послы. Послы. Госпожа везет важную грамоту.

Желто-коричневое лицо с раскосыми глазами оставалось бесстрастным.

— Ты лжешь, жирный человек. Послы, направляющиеся к Аттиле, богато одеты и везут дары — много телег с дарами. Вы шпионы. Мы убиваем шпионов в своей стране. — Он закинул лук за плечо и вытащил длинный кривой кинжал.

— Подожди! — завизжал Дидимий. — Не будь глупцом, парень, подожди, мы принадлежим к тем послам, которые проехали здесь совсем недавно, вашим собственным послам Эславу и Эдеко! Они проехали с обозом, ведь верно?

— Эге, — с сомнением в голосе произнес гунн. Имена Эслава и Эдеко произвели на него, кажется, определенное впечатление. Он потер заросший щетиной подбородок. — Мы отвезем вас к хану Эславу, — решил он. — Он скажет, кто вы такие. Давай поезжай вперед.

Возничий натянул вожжи, и Дидимий упал на сиденье с глубоким вздохом облегчения. Он вытер лоб. Потом поглядел на Илдико. Та сидела спокойно и чинно, словно на обычной прогулке в колеснице по Константинополю, словно гунны служили им почетным эскортом.

Неужели она не видела лиц этих полузверей, когда они пялились на нее? Правда, она не понимает языка варваров, так что, возможно, и не представляет, что он сейчас спас ее от грязных лап этих дьяволов и от вещей похуже, но ведь наверняка она не могла не догадаться об их намерениях. Она очень молода, но не настолько же... Где ее женское чутье? А если оно отсутствует, то видела же она нацеленные на нее стрелы.

— Что ты за девушка, госпожа Илдико? — произнес он сердито. — Неужели ты ничего не боишься? Мышей, например?

— Мыши тоже Божьи твари, — бодро отозвалась Илдико.

Евнух вздохнул.

— Может, оно и так. Только сомнительно, чтобы и гунны были такими.

— Ты не беспокойся, — сказала Илдико. — Они приведут нас к каравану. Они знают дорогу. Ведь это их земли, верно?

Дидимий открыл рот, чтобы что-то ответить, закрыл его снова и сдался.

Через час показался караван послов. Старший конвоя помчался галопом с докладом, и несколько минут спустя Дидимий увидел, что караван остановился.

Когда они подъехали достаточно близко, Дидимий вылез первым и помог выбраться из колесницы Илдико. Вместе они подошли к двум гуннским послам, окруженным дюжиной рабов и двумя десятками всадников.

Дидимий низко поклонился сначала Эславу, затем Эдеко.

— О мои господа и вожди, — сказал он, — я ничтожный слуга августы Гонории, сестры императора Запада, великого Валентиниана. А здесь возле меня госпожа Илдико, придворная дама августейшей особы и ее посланница. Она везет важное сообщение вашему королю — письменное сообщение. Мы должны доставить его и немедленно вернуться.

Он снова поклонился и сделал шаг назад.

Человек с умным длинноносым лицом что-то шепнул на ухо Эславу. Главный посол, не отрывая глаз от Илдико, задумчиво кивнул.

— Дидимий говорит правду, — спокойно сказала Илдико. — Вот письмо. — И она извлекла его из складок простого синего одеяния.

— Для своего высокого положения вы путешествуете со слишком малыми удобствами, — медленно проговорил Эслав.

Илдико кивнула.

— Моя госпожа не думала, что мне придется ехать так далеко. Она только велела мне передать вам это письмо. Она не знала, что вы уже уехали из Константинополя. В том месте, где мы живем, такие вещи нам не бывают известны.

— Где ты живешь? — спросил Эслав, снова выслушав шепот грека.

— В доме матери Пульхерии.

— Августейшей и благороднейшей Пульхерии, сестры василевса Феодосия, — торопливо объяснил Дидимий.

— Замолчи, собака! — оборвал его Эслав. И снова обратился к Илдико: — Кто знает о твоей поездке? Император?

— Не думаю, — ответила Илдико. — Не знала даже мать Пульхерия. По крайней мере, — добавила она, — не знала, когда я уходила. Вероятно, моя госпожа уже сказала ей об этом теперь. Я не знаю.

Снова грек что-то зашептал.

— Ладно, — принял решение Эслав. — Но ты должна сказать все это самому Аттиле. Он решит. Этот раб и тот, другой, могут возвращаться. Сумак! Позаботься, чтобы они живыми добрались до границы. Спокойно, раб. Твоя госпожа будет находиться под моей защитой, пока не предстанет перед Аттилой. Ступай.

Неделей позже имперское посольство, возглавляемое комитом финансов Номием и главнокомандующим Анатолием, прибыло в лагерь Аттилы на берега реки Тибиск. Они привезли с собой вдвое больше золота, чем просил Аттила, клялись, что Хрисафий брошен во дворцовую темницу, «поскольку сам император пожелал наказать того, кто плел заговор против его августейшего друга — короля гуннов», и предложили заключить договор о взаимном ненападении. А на то обстоятельство, что Аттила заставил их ждать, принимая в это время каких-то варваров, посчитав их более важными, они милостиво не обратили внимания.

Глава гуннов терпеливо выслушал их, не перебивая. Потом заявил:

— Ваш император может оставить при себе Хрисафия; если евнух ему дороже золота, это его дело. Тут мы смотрим на вещи по-другому. Но никакого договора с ним я не подпишу, потому что не доверяю письменным клятвам и потому что нападаю на тех, на кого хочу и когда хочу. И вообще, я могу напасть на вас очень скоро, если вы не выполните моих условий.

— Каких условий? — заволновался Анатолий. — Мы выполнили все условия, которые ты поставил нам через твоего посла — хана Эслава.

— Да, но я передумал.

— Мы уже и так зашли настолько далеко, что дальше уже не можем, — взмолился комит финансов. — Уже сейчас мы буквально разорены. Население в наших провинциях стонет под бременем налогов, которые мы вынуждены брать, чтобы наскрести столько золота... — Он замолчал под резким взглядом Аттилы.

— Мне знакома эта песенка, человек, сидящий на деньгах императора. Слышал ее и раньше. Нечего тут выть у моих ног. Я лучше тебя знаю, что могут мои данники, а чего не могут. А они стараются пойти на все, лишь бы избежать моего личного визита. Кто сказал тебе, что я хочу еще золота? Нет! Я не хочу золота. По крайней мере не сейчас. На этот раз мне нужна женщина. Я требую выдать мне августу Гонорию в качестве моей невесты. А вместе с ней, естественно, и долю имперского наследства.

Номий и Анатолий переглянулись.

Аттила не без подозрения увидел, что они скорее удивлены, чем напуганы; ему даже показалось, что он заметил что-то вроде улыбки на лице старого воина.

— Моя доля будет немалой, — мрачно добавил он.

Однако Анатолий, согнувшись в глубоком поклоне, просто выразил уверенность, что Аттила сообщит о своем намерении по нужному адресу.

— Что ты хочешь этим сказать? По какому такому адресу?

— Решения касательно августы Гонории принимает только августейший император Валентиниан III, правитель Западной Римской империи, о великий повелитель! Он, ее брат, как глава семьи и как правитель Западного Рима, должен сам рассматривать это весьма лестное предложение. Это не является и не может быть сферой полномочий Восточного Рима.

Аттила топнул ногой. Движение это было почти незаметным, но сорок или пятьдесят гуннских племенных вождей зашевелились, и оба посла увидели блеск в их глазах — предвкушение чего-то, что доставит им радость.

— Вы лжете, — сказал Аттила. — Августа Гонория живет под кровом вашего императора Феодосия в Константинополе.

— Нет, о великий повелитель, — ответил Анатолий со всей твердостью, какую мог найти в себе. — Это верно, что благородная принцесса жила некоторое время во дворце августы

Пульхерии, но только как гостя. Почти три недели назад она уехала в Италию, которой, возможно, уже достигла к этому времени.

Молчание.

Неожиданно на лице Аттилы появилась широкая ухмылка.

— Ладно, — произнес он. — Онигисий, Пилзал, позаботьтесь о том, чтобы мои благородные гости не скучали и ни в чем не испытывали нужды.

— Он догадался, конечно, — сказал Номий, когда они шли назад в свои покои, находившиеся в огромном деревянном доме для гостей, специально выстроенном, чтобы принимать иностранные посольства.

— О чем догадался?

— Что мы отослали Гонорию прочь, потому что она нашла с ним контакт. Вероятно, он догадался и о большем...

— Что там еще?

— Дорогой мой Анатолий, это же так просто! Неужели ты не понимаешь?

— Честно говоря, нет. Знаю лишь то, что Хрисафий снова оказался прав, смертельно прав. Все происходит именно так, как он и предсказывал. Этот человек порой кажется мне наделенным сверхъестественными способностями.

Номий издал короткий смешок.

— Это шедевр Хрисафия. Помнишь, какой переполох он вызвал, заявив, что располагает неопровержимыми доказательствами секрет-

ных сношений августы Гонории с Аттилой? Что она послала ему письмо и свое кольцо с печатью и практически просила прийти и забрать ее, потому что считает себя его невестой? И все это за спиной императора и его святой сестры! В какую ярость пришел Феодосий! Как он лишил бедного Кирилла должности префекта города за то, что тот не задержал письмо! А затем Хрисафий предложил спасительную идею: немедленно отослать назад Гонорию, и — о небо! — с какой скоростью они это проделали! Отправили ее на корабле так поспешно, что она едва успела упаковать половину своих вещей. А Феодосий теперь счастлив, поскольку Аттила будет требовать ее от Западного Рима, а не от нас! А Хрисафий снова стал любимцем императора и находится в небывалом фаворе. Восточный Рим спасен — на много лет...

— А Гонория действительно предложила себя в невесты гунну?

— Хрисафий предоставил императору секретные доказательства этого. У него было несколько свидетелей, одна из них, кажется, придворная дама августы. Никто не знает об этом ничего наверняка. Ходят слухи, что причиной, по которой она попала к нам, был ребенок от Аттилы, но только я не очень в это верю. Как могли они встретиться? Все слишком нелепо. И как она могла себя предложить? Бесмертная заслуга Хрисафия в том, что он разузнал про все и своевременно доложил императору, так что мы смогли от нее вовремя избавиться.

Даже императору было ясно, что гунны могут воспользоваться этой возможностью, чтобы оттяпать жирный кусок приданого для своей имперской невесты! А теперь ему придется иметь дело с Валентинианом, а не с Феодосием!

— Что ж, я это понимаю. Но что, если Аттила обо всем догадался? Ведь ясно как день, что мы отправили августу назад ради нашей собственной безопасности.

— Разумеется. Но тебе ни разу не приходило в голову, каким образом Гонория смогла направить своего посла к Аттиле? Ведь она находилась под неусыпной охраной матери Пульхерии, верно? И все же ухитрилась отправить одну из своих дам к Аттиле. Как та девушка проделала такой опасный путь, я тебя спрашиваю?

— Ты имеешь в виду...

— Что Хрисафий знал обо всем и раньше и что он помог ей добраться. Он был больше всех заинтересован в том, чтобы послание достигло цели! Оно спасло его собственную жизнь, и оно же переключило интерес гуннов с Востока на Запад.

— Это его шедевр, ты прав. Но Аттила...

— ...возможно, достаточно проницателен, чтобы догадаться о нашей заинтересованности в его претензии на Гонорию — только чтобы требовал он ее у Валентиниана. Вот почему, мне кажется, он ухмыльнулся. Ты знаешь, что Хрисафий сказал мне перед нашим отъездом? «Аттила увидит тебя насквозь, но это ничего. Он будет действовать так, как хочу я». Вот что он сказал.

— Самый хитрый лис из всех на свете, — пробормотал Анатолий. И потом добавил: — Интересно, что случилось с той девушкой, которую Гонория направила к Аттиле?

— Интересно? Если она красива, он найдет, что с ней делать. В отличие от Хрисафия.

И они оба рассмеялись.

Книга третья

1

Гроза разразилась весной 451 года. Опытные политики из Западной империи задолго предвидели ее приближение. Прибытие августа Гонории на итальянскую землю было грозным предвестием.

Августа была привезена в Милан в сопровождении вооруженного эскорта. Там ее приняли приватным образом император Валентиниан и императрица-мать Плацидия. Единственный свидетель встречи — Ницетий, теперь архиепископ Миланский, вышел после беседы, по словам очевидцев, весь в слезах. Все три императорские особы появились позже в дворцовом храме. Несколько присутствовавших на мессе чиновников заметили, что императрица-мать молилась одна; император сидел во время мессы с закрытыми глазами. Августа, превратившаяся в собственную тень, немного постояла на коленях, но ее глаза блуждали по храму,

ничего не видя. Потом она упала в обморок, и ее пришлось унести.

В тот же день принцесса была отправлена на юг, а через несколько недель в Милане и Риме появились слухи, что ее тайно обвенчали со старым сенатором Геркуланом.

Слухи подтвердились лишь тогда, когда прибыло гуннское посольство и потребовало от имени короля гуннов, чтобы августу выдали за него замуж, а в качестве приданого отдали ряд римских провинций — никто точно не знал, сколько. Требование было отклонено вежливо и категорично. Сестра императора замужем, а брак нерасторжим. Но даже если бы она была свободна и если бы дали согласие на ее брак с Аттилой, римский закон запрещает женщинам наследовать власть, и таким образом не может быть и речи о том, чтобы римские провинции стали гуннов. Глава посольства, хан Пилзал, громко рассмеялся, услышав такой ответ.

— Скоро вам придется привыкать к законам гуннов, — пообещал он.

Война становилась неминуемой. Лет сто назад Рим сам бы перехватил инициативу и уже начал бы военные действия. Но те дни прошли, и Аэций был вынужден информировать императора и императрицу-мать, что срочный союз с другими народами абсолютно необходим. Посольство за посольством стало отправляться к королям и племенным вождям вестготов — единственному народу, достаточно сильному, вместе с которым можно было надеяться остановить грядущее продвижение армии гуннов, вероятно, самой грозной из всех, какие когда-

либо видел мир. Последнее посольство под предводительством сенатора Авита, старого друга Аэция, оказалось успешным, и, как только король вестготов Теодорих подписал договор о союзничестве, бургунды, рипуары и франки последовали его примеру.

Сам Аэций привез эти новости в Милан. Даже Валентиниан выразил ему свою благодарность. Императрица-мать была больна — настолько больна, что врачи протестовали против того, чтобы она принимала участие в каких-либо государственных делах. Но она настояла на свидании с Аэцием — свидании наедине. Он увидел худое изможденное лицо с запавшими глазами, горящими от лихорадки.

— Да, Аэций, это конец. Не спорь со мной. Я знаю, что это так. Я ухожу. Возможно, это и хорошо. И все-таки мне хотелось бы прожить еще столько, чтобы увидеть, как ты разгромишь этого варвара и его орды, ведь тебе не впервой. Впрочем, если это неуютно Господу, то я должна повиноваться, хотя ты знаешь, и, пожалуй, лучше, чем кто-либо еще, что я никогда не умела этого делать...

На ее лице появилась слабая улыбка.

— Помнишь, как ты мне говорил, что у меня в империи есть только двое настоящих мужчин? Папа и ты сам. И раз они оба еще живы, это важней, чем моя жизнь. Когда-то я назвала тебя последним римлянином, верно? Я не переменяла своего мнения. Пока у нас останется хоть один римлянин, ни один варвар не сможет покорить Рим. И это не пустая фраза, а очевидная истина.

Он молча поклонился, а она кивнула.

— Я знаю, ты так и не простил мне Гонирию, Аэций. Но сейчас ты и сам должен понимать, что ничего хорошего бы не вышло, если бы ты женился на ней. Не так-то просто для моей гордости даже сейчас произносить такие слова, друг мой. *Res ad triarios venit*¹ — а ты единственный из оставшихся триариев.

Триарии были третьей и последней волной старой римской боевой формации, наиболее опытными старыми вояками, которые, как считалось, всегда могли спасти ситуацию, когда назревала в этом необходимость.

— Императрица может спать спокойно, — твердо заявил Аэций. — Рим не умрет.

— Это зависит от тебя, умрет он или нет. «Нет, пока живы мы с тобой», — ты сказал эти слова несколько лет назад, помнишь? Теперь ты остаешься один. Я буду молиться за тебя — оттуда. Прощай, старый мой друг и старый враг. Вообще ты всегда был моим лучшим врагом, а теперь я знаю, что ты мой лучший друг. Я покончила со всеми имперскими делами, поговорив с тобой. Теперь пошли ко мне архиепископа.

Аэций почтительно поцеловал горячую от лихорадки руку.

— Моя вина, — проворчал он, — что я всегда слишком благоговел перед тобой. Если бы не это, я попросил бы тебя, а не Гонорию выйти за меня замуж.

Плацидия было нахмурилась, но потом

¹ Настал черед триарию.

улыбнулась, и внезапно ее измученное болезнью лицо вновь засияло прежней красотой.

— Благодарю тебя, Аэций. Прежде я думала о жизни империи, а теперь надо подумать о смерти грешницы. Благодарю, что напомнил мне — увы, в последний раз, — что Плацидия была не только императрицей и христианской душой, но еще и женщиной.

Двумя днями позже, двадцать седьмого ноября, Плацидия умерла. Согласно ее желанию, тело ее было набальзамировано и помещено в сидячем положении на кипарисовое кресло. Так покойницу и отнесли в Равенну, где ее ждал построенный еще при жизни мавзолей.

Пять месяцев спустя разразилась гроза.

Курултай — сходка гуннов — собрался в Эйзенахе, в Тюрингии. Проскакав восемьсот миль, Аттила самолично прибыл туда с равнин Венгрии, а с ним столько королей и племенных вождей, что можно было составить огромное войско из одних только коронованных особ. Ардарик привел своих гепидов, Валамер — остготов; ругии, герулы, ряд племен франков, тюринги, сарматы и много других племен и народов составили армию численностью более полумиллиона человек. Как только позволила погода, конница гуннов ворвалась в бельгийские провинции, а оттуда и в Галлию. Левый фланг атаковал и покорил Мец; город был полностью разрушен, а большинство его жителей убито. Уцелела одна-единственная часовня Св. Стефана, словно только для того, чтобы показать, где стоял Мец... Епископ Меца был зарублен

во время обряда крещения возле купели вместе с ребенком, которого он держал на руках.

Армия гуннов неудержимо продвигалась вперед. И успех ее объяснялся не только силой оружия. Тысячи хорошо оплачиваемых агентов подготавливали почву, рассказывая истории о милосердии и справедливости правления Аттилы — что при нем простым людям живется так же хорошо, как и знатым, потому что все находится под покровительством Аттилы, а налоги повсюду в империи гуннов настолько низкие, что их практически никто и не замечает, «поскольку великому Аттиле не требуется роскошь, и он живет так же просто, как я и ты», и что первые, кого сразу же убивают при новом правлении, это сборщики налогов, ростовщики и толстобрюхие богатеи. И эти слухи делали свое дело. Бедные слои городского населения и деревни почувствовали, что грядет избавление. Были случаи, когда они открывали гуннам ворота римских городов. А уж гунны старались не оставить в живых ни богачей, ни бедняков, чтобы никто не мог донести правду в те города, где еще вели свою работу секретные агенты.

Орлеан был первым городом, оказавшим серьезное сопротивление. Незадолго до этого он был укреплен, и первые атаки гуннов закончились неудачей. Душой сопротивления был епископ Аниан. Глубоко убежденный, что Бог пришлет его городу подмогу, он заразил своей верой горожан и воинов. Его видели повсюду, и не только молящимся и произносящим проповеди; его неистощимый и оптимистично настроенный разум выдавал одну идею за другой,

касавшиеся обороны любимого города, и даже когда гунны в конце концов проломали стены на севере и северо-востоке и ринулись в пригороды, он не утратил надежду. Вокруг него лежали, простершись в молитве, старики, женщины и дети. Аниан спокойно велел молодому клирику вскарабкаться на высокую стену и высматривать подкрепление, которого жаждала его вера. Дважды мальчик возвращался, ничего не увидев. Наконец он сообщил о «маленьком облаке пыли на горизонте». Епископ Аниан повернулся и возгласил: «Помощь Господня приближается — она уже видна». Весть эта стремительно, как лесной пожар, пробежала по рядам защитников. Гарнизон собрал последние силы. А пыльное облако все росло и росло, пока не стали различимы римские и готские знамена. Аэций и Теодорих, король вестготов, пришли на помощь Орлеану.

Гунны немедленно ретировались по личному приказу Аттилы. Местность вокруг Орлеана не была благоприятной для армии, состоящей в основном из кавалерии. Решающее сражение может состояться только там, где захочет он.

Каталаунские поля длиной в сто пятьдесят и шириной в сто миль были идеальными для такой цели. Там Аттила и стал ждать встречи с армией римлян и вестготов.

Он сам начал это сражение, первым метнув копье. Бой длился целый день. Когда удача стала изменять гуннам, Аттила приказал соорудить в круге, составленном из телег, погребальный костер. Поднялся на него, держа меч Пуру в одной руке, а горящий факел — в другой, и

лег, готовый к самосожжению, если бой будет проигран.

Король вестготов пал в сражении с мечом в руке, и его сын Торизмунт взял на себя роль полководца; он бился как безумный, желая отомстить за смерть отца. Наконец последняя ночь опустилась на сто шестьдесят тысяч убитых.

Сражение не принесло победы никому. Аттила убрался на север. Римская и вестготская армии разделились. Война закончилась.

Италия ликовала. Империя и мир были спасены от разрушения — наступление самого опасного врага, какой когда-либо грозил Риму со времен Ганнибала, было отражено. Фестивали в честь победы продолжались месяцами.

А затем, к изумлению и даже насмешкам населения, в Милан прибыло посольство от Аттилы, возглавляемое все тем же ханом Пилзалом, который вновь хладнокровно заявил о притязании его господина на руку императорской сестры Гонории и на ее приданое.

Отказ Валентиниана прозвучал еще более категорично, чем в первый раз. Как гунны осмелились на такое, ведь они только что были разбиты, потеряли лучшие войска в сражении на каталаунских полях! Император не собирался поддаваться на столь наглый шантаж.

Через несколько недель армия гуннов, такая же сильная, как и первая, перешла через Альпы и вторглась на землю Италии.

Народ на улицах ликовал, когда колесница с Аэцием подъехала к Латеранскому дворцу.

— Поглядите на него — разве он не великолепен?

— Он похож на самого Цезаря.

— Он задаст жару гуннам.

— Но ведь на этот раз у него нет вестготов.

— Ничего. Он бил гуннов раньше, сумеет справиться с ними и теперь.

— Да, но...

— И он намерен получить благословение у самого папы. Он богобоязненный человек, наш Аэций, папа будет молиться за него, и Бог ему поможет.

— И все-таки хотелось бы, чтобы и вестготы тоже ему помогли.

— Оставь меня в покое с этими вонючими еретиками! Да здравствует Аэций! Да здравствует Аэций! Смотрите, он улыбается, он машет рукой, он поглядел на меня! Победы тебе, Аэций!

Ликование получилось немного жидким — не более двухсот человек собрались перед воротами, однако Аэций был удовлетворен. Две сотни голосов разнесут по улицам Рима весть о том, что главнокомандующий пришел перед битвой засвидетельствовать свое почтение главе церкви. Это придаст уверенности набожным римлянам, а она им как раз очень нужна. Конечно, им требовалось намного больше — более сильная армия, более мощные фортификационные сооружения и особенно боевой дух. Однако вот это-то получить было не так легко.

Два клирика шли впереди него легкими шагами; он следовал за ними, бряцая золотыми доспехами, а за ним слышалось бряцание до-

спехов двух его молодых ординарцев, высоких и бесстрастных, шлемы они держали в руках.

В приемной архидиакон Церетий поклонился с подчеркнутой учтивостью и пошел объявлять папе о прибытии главнокомандующего. В том же помещении лихорадочно работали восемь клириков, и за то короткое время, что отсутствовал архидиакон, не меньше пяти гонцов прибыли к нему с донесениями.

Церетий появился вновь.

— Святой отец ожидает тебя, сиятельнейший.

Аэций кивнул своим спутникам, чтобы дожидались его, и один вошел в кабинет папы.

— Ты очень кстати пришел, Аэций, — сказал престарелый папа, когда остался позади обмен традиционными церемониями. — Сдается мне, Господь не желает, чтобы эта страна пала под натиском гуннов, иначе зачем бы Ему давать тебе командовать римской армией?

Воин загадочно поднял брови.

— Мне известно, как далеко ты всегда заглядываешь вперед, святой отец, ведь в конечном счете все от Бога, как я полагаю, даже Аттила. Мне говорили, что его называют бичом Божиим. По-моему, похоже на то. А командовать армией мне поручил император. Ему не слишком хотелось это делать, но больше он никого не нашел.

— Император Божий слуга, как и все мы.

— У Господа бывают порой странные слуги, святой отец.

Папа сухо произнес:

— Так нам может казаться — иногда. И мы

не думаем при этом о самих себе, а не мешает. Господь сотворил нас и все остальное. И поэтому требует полного подчинения Его воле. Многие ли из нас понимают это? И даже те, кто понимает — многие ли живут подобающим образом?

— Ты так живешь, вероятнее всего, — вежливо сказал Аэций. — И, кажется, заставляешь своих людей делать это. Я нечасто бываю здесь, но всякий раз меня поражает усердие твоих подчиненных. За дверью у тебя работают восемь секретарей; ни один из них даже не поднял головы, когда я вошел со своими молодцами.

— Надеюсь, это не жалоба...

— Конечно же, нет, святой отец.

Архидиакон был весьма вежлив.

— Эти секретари делают крайне важную работу. Тебе бы тоже не понравилось, если бы твои воины прерывали марш и разевали рот на прохожих.

Аэций рассмеялся.

— Я люблю говорить с тобой, святой отец. Порой мне кажется, что из тебя бы вышел хороший полководец.

Папа улыбнулся, и от этого его тяжелое, орлиное лицо с седыми кустистыми бровями странно помолодело.

— Я понимаю, что это очень большой комплимент в устах самого Аэция. Ну, мы оба римляне, а в каждом истинном римляnine, по моему, найдется капля крови воителей. К тому же посох пастыря, которым он сгоняет овец в

стадо, может использоваться и как оружие против волка.

— Не думаю, что мне хотелось бы быть волком, пока ты пастух, — рассмеялся Аэций. — Хотя ясно как день, что мы сражаемся на разных равнинах. И это достаточно плохо. Некогда я сказал покойной императрице Плацидии, что не завидую тебе и твоей должности, что перед тобой стоит непосильная задача — превратить наших дорогих римских граждан в маленьких христосиков. Но только я боюсь, что задача, вставшая теперь передо мной, настолько же непосильна.

Лицо папы посуровело.

— Ты хочешь сказать, что не сможешь победить Аттилу?

Полководец пожал плечами.

— О прямом столкновении не может быть и речи. У него перевес шесть к одному.

— А союзники? — лаконично спросил старец.

— Ни одного благодаря неуживчивости моего августейшего повелителя. А вестготы перессорились между собой из-за вопросов престолонаследия — там у них пять или шесть претендентов.

— А Восточная империя?

— Хрисафий слишком рад, что его оставили в покое. Он и пальцем не пошевелил в последние годы, чтобы поддержать нас, не будет этого делать и впредь. Он не настолько крупный политик, чтобы уметь заглядывать вперед.

— Понятно. — Папа внимательно посмотрел на Аэция. — Итак, какие же у тебя планы?

— Создавать как можно больше помех на пути Аттилы — и надеяться на лучшее. Многое зависит, разумеется, от тех укреплений, которые есть у нас на севере, особенно от Равенны и Аквилеи. Это новые крепости, и я сомневаюсь, сможет ли их взять Аттила. И не думаю, что он посмеет пройти мимо них и оставить у себя в тылу обе. Он может оставить, скажем, Равенну. Или Аквилею. Но не обе. Слишком опасно. А если он их не сможет взять, то истощит свои силы, как это случилось в прошлый раз.

Лев кивнул.

— Логично. Но не убеждает до конца. Аттила великий полководец, и он, конечно, подумал об этом заранее. А если он захватит твои крепости или одну из них?

И снова Аэций пожал плечами.

— Тогда он обрушится на Рим.

— Еще один Ганнибал, — задумчиво произнес Лев.

— Да, однако Рим давно уже не тот, каким был во времена Ганнибала. Я, может, и не хуже, чем Фабий Кунктатор, и я могу применить ту же тактику, какой тот пользовался во время Пунических войн. Но...

— Но Фабий верил в Рим, — заметил Лев. — А ты нет. В этом дело, Аэций?

— Вера... — проговорил Аэций. — Такое замечательное слово! Кто знает, во что на самом деле верил Фабий? Но ему приходилось действовать так, *будто* он верил, иначе его люди утратили бы веру в него. Ты знаешь так же, как и я, святой отец, что в этом состоит секрет силь-

ных мира сего — не показывать никому, что происходит у тебя внутри. Мы должны действовать так, словно верим в победу.

— Не согласен, — сказал папа. — Высшая форма веры — это вера в Бога. Высшее всегда включает в себе совершенство низшего. И делать вид, будто мы верим, это еще не вера.

Аэций склонился вперед.

— Конечно, святой отец, мы должны давать людям уверенность, даже если сами сомневаемся. Пожалуйста, не истолковывай меня превратно. Именно потому, что я испытываю высочайшее почтение перед твоим умом и твоим искренним желанием делать добро, я и говорю тебе подобные слова.

— Мне непонятно, — заявил папа, — как ты можешь использовать слово «искренний» в таком словосочетании. Моя обязанность — поддержание и распространение Богом данной истины. Если сомнения одолевают меня, мой долг их перебороть. Но если они одержат верх и подчинят меня себе, — упаси Господь! — как смогу я поддерживать то, во что не верю, и распространять то, что отвергаю сам, — и все-таки быть искренним?

— Ты можешь по-прежнему искренне желать вершить добро, — сказал Аэций. — У меня нет сомнений, что народу нужно верить в Бога, Христа и во все прочее. Когда я был маленьким, моя скифская нянька пугала меня ужасным демоном тьмы. «Будешь плохо себя вести, — говорила она, — он прилетит и тебя загрызет». И эта угроза безотказно действовала, уверяю тебя. А народные массы — дети. Им нужна

угроза, чтобы они вели себя хорошо. И тебе это известно, святой отец.

— Я был лучшего мнения о тебе, Аэций, — прямо заявил папа. — Вера, по твоему мнению, полезна и хороша для народа, чтобы заставить его прилично вести себя, как ты это называешь. А избранным такие вещи не требуются. Это один из самых ужасных софизмов, какие мне доводилось слышать. Что ты имеешь в виду под словами «вести себя хорошо», Аэций? Выполнять свой долг солдата, платить налоги в имперскую казну, быть хорошим гражданином — это? Замаливать грехи всех слишком алчных, слишком эгоистичных людей? И тогда приветствуется все, что помогает достичь цели, — будь то Иисус Христос или скифский демон?

— Я вовсе не хотел оскорбить тебя, святой отец, — сказал воин с подчеркнутым добродушием.

— Ты не хотел и выглядеть глупцом, Аэций, но все-таки выглядишь. Подумай, друг мой! В действительности ты хотел сказать, что Бог придуман ради утилитарных целей — заставлять людей выполнять свой долг перед государством. Следовательно, государство является твоим высшим принципом. Однако высочайшим принципом для человека, острием пирамиды всех его помыслов является Бог — вот ради чего он живет, чего жаждет, ради чего умирает. Значит, твоим богом будет государство, Аэций. Но так ли это? Я помню время, когда ты бунтовал против государства, когда ты отверг приказание твоей императрицы и развя-

зал войну против Бонифация, твоего соперника в борьбе за власть. Скажи откровенно, Аэций, вел ли ты тогда войну во имя высших принципов или просто хотел вывести из борьбы ненавистного соперника, чтобы увеличить свою собственную власть? И тогда получается, что не государство было для тебя высшим принципом, им была твоя собственная власть. Был *ты* сам. Но меня поражает даже не это, а то, что ты считаешь этого источенного червями колосса, Римскую империю, самым высшим в мире — такова была твоя позиция в этом вопросе, позиция смертного человека, на жизнь которого отведен крошечный отрезок времени в несколько десятилетий. Вот в чем суть твоих заблуждений, Аэций.

Полководец поскреб затылок.

— Кажется, я должен себя поздравить, что буду драться с Атиллой, а не с тобой, святой отец. Однако все не так плохо, как тебе показалось, — я не отрицаю существование Бога. И никогда этого не говорил. Командовать войсками — значит, знать кое-что о порядке. Порядок — это нечто, создающееся разумом. В военном порядке, возможно, содержится и не много ума, но что-то все же есть. Сама природа демонстрирует порядок — повсюду и во всем. Следовательно, за ней должен стоять разум.

Он бросил быстрый взгляд на лицо папы. Как ни странно, оно оставалось непроницаемым, словно старец знал, что все это была лишь попытка отвлечь его внимание, словно знал, что у его посетителя замашки старого

вояки, режущего правду-матку в глаза, были не более чем простой маской.

— Прости, — произнес Аэций, на этот раз с полной искренностью. — Однако этот час предоставил мне возможность, о которой я давно мечтал. Мне всегда хотелось задать тебе несколько вопросов — трудных настолько, что я даже и не знаю, как их задать. Однако теперь, когда я сам себя загнал в невыгодную стратегическую позицию, я могу себе позволить навлечь на себя твое проклятие за все вместе, а не только за часть моих слов. Да, я признаю, моя вера в империю сузилась в большей или меньшей степени до веры в Аэция. А моя нынешняя слабая вера в Аэция в основном связана с тем, что у него под началом находится недостаточно материала... чтобы ему быть прежним Аэцием. — Он помолчал. Когда он заговорил вновь, в глазах его появился стальной блеск. — Я очень искренен с тобой, святой отец. Мы здесь одни, ты и я. Если бы не мои усилия, империя пала бы еще в прошлом году, на каталаунских полях. Но я знал стратегию и тактику гуннов и остановил этих ублюдков. На этот раз я не думаю, что это удастся. Но все равно я должен попытаться это сделать, и мои воины должны думать, что я уверен в победе. Я должен держать себя так, словно я верю в победу. Таков мой долг. Вот я и решил, что ты находишься точно в таком же положении. Человек с твоим умом не может верить в то, что Творец вселенной родился от обычной земной женщины, притом еще и девы. Тут противоречие в терминах, разве не так? Но такой язык мистики впе-

чатляет народ, говорит о мире ином, где все возможно, даже противоречия, — короче, подготавливает почву для веры и поэтому представляет из себя ценность. Я могу это понять. Подобные истории — множество их — есть и в других религиях, а цель у них у всех одна. Очень хорошо. Однако ты — ты не можешь в это верить. Только не ты. Твой разум слишком хорош для этого. Твой долг — говорить, что ты веришь, так же, как мой долг — говорить, что я верю в победу.

— Долг? — тихо спросил папа. — По отношению к кому?

— К твоей церкви, разумеется.

— Моей церкви? — повторил папа. — Сонму епископов, священников, монахов, диаконов, покрывших многие страны тонкой сетью, худой, как у бедного рыбака? Организации, которую постоянно приходится поддерживать? Для чего? Зачем мне заботиться о том, чтобы эти мелкие людишки, мужчины и женщины, в Риме, Милане, Лютении или Лугдуне, Эбораке или Лондини, в Византии либо другом каком городе стали лучше? Если бы моя задача заключалась только в укреплении организации ради самой организации, не проще было бы заключить сделку со злом? Тогда что же мешает мне пойти на это? Неужели ты и впрямь полагаешь, что я рассматриваю церковь как самоцель? Неужели ты не подаришь мне по меньшей мере веру в то, что я служу Богу? Или ты пал так низко, что не можешь поверить в старания разумного человека служить Богу?

Аэций судорожно сглотнул.

— Я оговорился. Я имел в виду не церковь. Я имел в виду Бога. Вот что я на самом деле хотел сказать.

— Но если я служу Богу, могу ли я это делать, опираясь на ложь? Если Бог таков, каким Он должен быть, то есть совершенство, можно ли ему служить посредством лжи?

— Прекрасная поэма и ложь — разные вещи, разве не так?

— Только я не поэт, — сухо заметил папа. — Я священник. Ты сказал, что мне с моим умом невозможно поверить в то, чтобы Творец вселенной родился от обычной земной женщины, да притом еще и девы. И ты сказал, что тут есть противоречие в понятиях. Так ли это? Действительно ли так? Неужели ты не можешь понять, что если царство Божие и царство земное когда-то и где-то пересекаются, перекрываются, во времени или в пространстве, то в результате возникает нечто одновременно земное и небесное? Когда встречаются сверхъестественное и естественное, может ли результат быть целиком естественным? Не получится ли как раз в *этом* случае противоречия в понятиях?

— Но...

— Ты не можешь настаивать на том, что сверхъестественные вещи случаются обычным путем. Не можешь ты и отрицать того факта, что Бог захочет когда-нибудь вмешаться. Он создал порядок в природе. И ничто не мешает Ему это сделать — и уж меньше всего усмешки людишек, настолько привыкших к чуду естественного зачатия и рождения, что они отказы-

ваются простираť свое воображение дальше, когда речь идет об инкарнации самого Живого Бога. А что касается обыкновенной земной женщины, то не подобает так говорить о той, кто была Его матерью, а теперь стала твоей и моей.

— Как это?

— Когда наш Господь произнес с креста апостолу Иоанну: «Се, мать твоя», он оставил бесценный закон для всех нас. Потому что в лице Иоанна обращался ко всему человечеству.

Аэций прокашлялся.

— Но Он — Он сам — разве не признал свое поражение? Разве не признал, что ошибался, воскликнув: «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты меня оставил?» Один священник когда-то объяснял мне, что в этот момент Христос принял на себя все грехи земные и что это в Нем говорила вина, а другой говорил, что Он проходил через всю тщету человеческой жизни и даже через отчаяние. Я не могу этого принять, святой отец. Если Он был невинен и если был Богом, тогда у Него не было нужды отчаиваться. И не было нужды испытывать вину. Но вот если Он был человек, который заблуждался относительно себя и своего дела, а теперь увидел, как все рушится, тогда я могу понять этот весьма трогательный крик.

— Но ведь Он был Богом и человеком. Именно в нем пересекались два царства. И совершенный человек, гибнущий под тяжестью

грехов земных, вполне мог закричать от отчаяния. Но это еще не все. Вот, суди сам.

И папа развязал ленты тяжелой связки листов пергамента.

— Что это? Ветхий завет?

— Да, псалмы царя Давида, написанные за много веков до времени нашего Господа. Вот псалом двадцать первый. Прочти его.

— «Боже мой! Боже мой! — читал Аэций. — Для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего». — Он остановился. — Занятно, — произнес он. — Как мог Давид знать?.. Но нет, конечно же, тут все наоборот. Христос знал этот псалом.

— Естественно, — кивнул Лев. — Это широко известный псалом, часто применяющийся при богослужении, и Он произнес его, напомнив внимавшим Ему, что в Его лице пророчества исполнены до последней буквы.

— Я понял. — Аэций поднялся, немного неловко. — Мне не следовало бы задавать тебе эти вопросы, — пробормотал он скорее себе, чем папе. Потом взял себя в руки. — Я должен извиниться перед тобой, святой отец.

В больших глазах папы сверкнула искорка юмора.

— Диалектика, разумеется, сплошная диалектика, — произнес он. — Верь священнику, ибо тот всегда найдет ответ — разве зря так говорится?

— Когда все будет позади, — улыбнулся Аэций, — я, пожалуй, попрошусь к тебе в секретари. Впрочем, не думаю, что ты мне дове-

ришь такую должность. Моя теология слишком хромает. Ты был очень терпелив со мной сегодня, святой отец. Ты пробил брешь в моем центре, сковал фланги и разбил меня наголову, но я просто окрылен в результате всего, правду тебе говорю. Возможно, оттого, что радостно обнаружить человека, который во что-то верит, особенно человека такого масштаба, как ты. А разве не будет огромным облегчением верить, что мы сражаемся за Божье дело? Хотелось бы мне обладать твоей уверенностью — твоей верой. Пожалуй, я смог бы перенести скалу по имени Аттила назад, в те далекие горы, откуда, по преданию гуннов, пришли их предки. Как жаль, что ты не воин, святой отец, ведь это тебе следовало бы возглавить армию. Ты простишь меня? Нет, я не уверен, следует ли тебе давать мне свое благословение, я ведь не знаю, во что верю в действительности, если что-то...

— Тогда ты можешь просто принять благословение старца, — тихо сказал папа.

Как только Аэций вышел из комнаты, серебряный колокольчик позвал секретаря.

— Мы продолжаем, — произнес папа. — Пиши, сын мой: дальнейшие заметки к трактату об инкарнации. Когда Дух Святой сошел к Марии и мощь Высочайшего осенила ее, неизменное Слово Божье взяло себе из непорочного тела облик человеческой плоти.

Он помолчал. Непорочное тело. На его разум, такой ясный и четкий, когда он диктовал это предложение, внезапно обрушился ворох вопросов, которые будут возникать в

головах у людей через тысячу и более лет. *Jesus Nominum Salvator*. Спаситель людей — всех людей. Разве нуждалось в спасении то, что было непорочным? Первородный грех, проклятие всех людей, растлитель душ и тел, мог он остановиться перед кем-нибудь?

Молодой клирик ждал, учтивый, терпеливый, с приятными манерами, готовый тут же исполнить волю папы римского.

Время замерло в объятиях вечности. Непорочное тело. Новая раса. Новое начало, начало без тени.

Глаза Льва сверкнули.

— Непорочное тело, — сказал он.

— ...облик человеческой плоти. — Молодой клирик старался быть полезным.

Папа набрал воздуха в легкие.

— ...которое не ведает похоти плотской, но тем не менее обладает всем, что принадлежит к природе души и тела. Подкрепленная Божественной благодатью, она зачала в чреве своем, оставаясь девой, произвела младенца на свет девой и сохранила свое девство.

Он никогда не мог читать первые главы апостола Луки без слез радости. Ему по душе был призыв идти и просвещать народы, но более всех чувств его захлестывала волна благодарности.

— Когда наш Господь Иисус Христос был рожден, как истинный человек, Он никогда не переставал быть истинным Богом. Он ознаменовал собой начало нового творения, а по характеру своего рождения дал человечеству

богодуховенные истоки, дабы, ради удаления заразы плотского воспроизводства, это могло быть надеждой для тех, кому суждено переродиться в начало без семени греха¹.

За стенами Латерана Аэций поднимался на свою колесницу. Возничий, молодой трибун Марцелл, с тревогой улыбнулся ему.

— Долгая проповедь была, командор?

— Заткнись! — свирепо отозвался Аэций. — Да езжай поскорее!

Лишь позже он вспомнил, как сам выразил надежду, отправляясь на аудиенцию к папе, что святой отец избавит его от долгой проповеди. Молодой Марцелл надулся и не разговаривал всю оставшуюся дорогу.

— Новые стенобитные орудия! — приказал Аттила.

— Их осталось только шесть, Маленький Отец. Остальные сгорели от огненных стрел.

— Подтаскивайте эти оставшиеся. Пусть воины берут бревна и пробивают стену ими. Северная стена должна быть разрушена.

Однако стены Аквилеи были слишком мощными для такой примитивной атаки. Воинов, несущих бревна, отстреливали как воробьев меткие защитники города, оставаясь сами в укрытии. Загорелись еще два стенобитных орудия. В пятидесятый раз огромные массы гунн-

¹ Записи папы Льва являются историческими.

ской конницы напрасно ждали, когда появится брешь в стене. Большинство воинов уже изнывали от скуки в этой осаде.

— Маленький Отец...

— В чем дело, Пилзал?

— Люди Друлгура снова отброшены на юге. Там у них три ряда стен, один за другим.

— Я знаю, Пилзал. Друлгур сдаст командование моему сыну Эллаку, а сам пусть сражается под его началом как простой воин. Направить две большие башни против того бастиона.

— Да, Маленький Отец.

Аттила закусил губу. Три месяца!.. Целых три месяца они не могут взять этот город. Он ощетинился словно еж. И ни гунны, ни гепиды с остготами, ни остальные германцы не годятся в осаждающие. В их рядах нарастает беспокойство. Большинство воинов выступают в роли наблюдателей, и развлечения, которые они себе устраивают, мародерничая в окрестностях, не компенсируют долгих недель ожидания. С провиантом тоже становится все хуже.

— Все башни против бастиона, Пилзал!

Теперь — или никогда. Он погладил рукоятку меча Пуру. Башни — его последняя надежда. Они немного выше стен, и каждая вмещает сотню человек.

Вот их уже катят...

Если удастся овладеть хоть одним бастионом, можно будет открыть изнутри какие-нибудь ворота и впустить конницу. А остальное уже будет просто.

Горящие стрелы со стен бастиона полетели в башни справа и слева. Но те продолжали двигаться. Одна уже запылала.

Вот загорелась и вторая.

Подкатывают новые.

— Быстрее, быстрее, вы, собаки! Не давайте им опомниться!

— Вот так-то лучше!

— Вон, вон и третья уже пылает!

— Четвертая и пятая еще целы, но двигать их вперед нельзя. Дорога к бастиону заблокирована тремя горящими.

Лицо Аттилы окаменело.

— Хватит, — сказал он. — Передай всем приказ, Пилзал. Осада снята.

Наутро защитники города увидели, что армия гуннов свернула шатры. Многие отряды уже отправлялись прочь.

Поднялось невероятное ликование. Удалось! Они спасли свой город. Через час об этом уже знали все в Аквилее. Люди плясали на улицах, выкатывали бочки, выносили бурдюки с вином, чтобы устроить праздник измученным воинам. Это был день бессмертной славы. Женщины взбирались на укрепления, и высокий дискант их голосов смешивался с хриплыми криками и громким смехом мужчин. Они наперебой выкрикивали насмешки и брань в адрес побежденного врага.

Гунны испытывали одновременно досаду и облегчение. Но, когда вблизи появлялся Аттила, все старались держаться от него подальше, охваченные необъяснимым страхом.

Они никогда еще не видели его таким.

«Он похож на самого Пуру».

Аттила скакал вдоль северного вала, где ог-

ромные кучи обугленной древесины и пепла говорили о конце боевых башен и их экипажей, на которые он возлагал последнюю надежду.

Внезапно он остановил коня.

Из гнезда на городской дозорной башне вылетел аист, а вместе с ним и два его птенца. Они сделали круг и полетели куда-то далеко в поля.

Атила проводил их вдруг вспыхнувшим взглядом. Дрожь пробежала по его мощному коренастому телу. Он вскинул руку.

— Глядите! Глядите! Птицы покидают Аквилею! Пуру говорит это! Город пропал!

Обернувшись, он увидел, как на обращенных к нему лицах забрезжила новая надежда. Он воззвал к ним:

— Забирайтесь в оставшиеся башни! Берите стенобитные орудия! Все против этого города! Я сам поведу вас в атаку!

Войско заревело от восторга. Гонцы тут же помчались в разные стороны, разнося приказ вождя. Через час с небольшим армия гуннов, казалось, образовала гигантскую могучую спираль, затем спираль развернулась и молниеносно, будто копье, устремилась к дозорной башне, с которой улетели аисты. Удар страшной силы застал защитников в разгар их праздника...

Аквилея пылала. Сорок тысяч гуннов проломли укрепления на севере и теперь грабили пригород, несмотря на усилия Эллака заставить их идти дальше и штурмовать внутреннее

кольцо, построенное вокруг императорского дворца, где его отец когда-то содержался в качестве заложника.

— Вы позорите меня, собаки! — кричал Эллак, раздавая направо и налево удары тяжелой плеткой. — Что, легче протыкать баб короткими кинжалами, чем мужиков мечом, а? Я покажу вам!

Ему пришлось убить двоих лучших воинов, прежде чем остальные снова подчинились, и у большинства из его командиров были те же трудности.

Важно было, чтобы он, а не Денгизих с Пилзалом оказались во дворце первыми.

— Я предоставляю своим сыновьям возможность отомстить за пленение отца, — сказал Аттила, как только пал первый бастион возле башни с аистами.

Конечно, Денгизих был слишком молод, чтобы по-настоящему вести за собой людей, но рядом с ним был Пилзал, проницательный и опытный. Однако никто, кроме старшего сына, не отомстит за отца лучше. Сделать это должен он, и только он. Иначе отец может вспомнить, что сам он не был перворожденным и все-таки пришел к власти...

Стоя на вершине безлесого холма, Аттила наблюдал за продвижением сыновей, обозначаемым дымом горящих домов.

Теперь, когда триумф был гарантирован, он оседлал своего лучшего черного жеребца арабских кровей по кличке Римский Император, которого год назад прислал ему великий шах Персии не без намека. Шах был человек муд-

рый. Он дожидался своего часа. Пусть Аттила закончит работу на западе, а потом они заключат союз и вместе нападут на Восточную империю одновременно с запада и востока. А возможно, такая атака и не понадобится. Будущее покажет.

Вот Эллак, кажется, справился с трудностями. Пламя продвинулось к центру города с его стороны. Он неплохой воин, его Эллак. И тоже честолюбивый. Но это все, что можно сказать о нем. А Денгизих — комок неуправляемых страстей. Ирна, тот вовсе еще ребенок. А остальные сыновья... Нет! Нет!

Только императорская кровь может дать такого сына, какой нужен ему.

Только Гонория.

Но пусть они думают, все они, что могут стать наследниками его могущественного трона. От этого они будут только усердней сражаться. Денгизих тоже продвигается вперед.

Две горизонтальных полосы дыма и огня быстро ползли к центру города. Аквилея была обречена. Он поклялся разрушить ее в тот день, когда над ним смеялись во внутреннем дворе дворца, в тот день, когда он впервые увидел Гонорию. И вот наконец-то он может сделать это. Он сотрет Аквилею с лица земли, как слова с восковой дощечки.

Вот и дворец запылал! Оба отряда добрались до центра города. Хорошо, Эллак! Хорошо, Денгизих! Я вами доволен. Хоть вы и не будете править после меня, но я доволен.

Он повернулся к улыбающимся вождям племен и сказал лишь одно слово:

— Милан.

Для них этого оказалось достаточным. Теперь предстояло разослать агентов, разведать дороги, набрать провиант и фураж. Очередная цель намечена. Цигур уже отдавал приказы налево и направо. Гонцы мчались вниз по холму к огромным резервным войскам.

Аттила послал насмешливую ухмылку Онигисию, который низко поклонился ему с коня. Это было признанием того, что его господин оказался прав в безвыходной ситуации.

Снова он сломал все законы холодного рассудка, логики и здравого смысла. Снова он прав. Со временем пора бы уже и привыкнуть к этому. Но сегодня все складывалось хуже, чем всегда. Меч бога войны — что ж, тут слышится по крайней мере отзвук мифа. Но аисты... По сути, это было признанием того, что неразумная птица проявила интуицию большую, чем командующий самой великой армией мира. Чистое безумие. Но ведь помогло! Отсюда и насмешливая улыбка Аттилы. Отсюда и почтительный поклон. Это было признание торжества предрассудка над человеческим разумом.

Аттила знаком подозвал Онигисия к себе.

— Ты так ничего и не понял, маленький грек. Или понял?

— Нет, господин. Не понял.

Аттила грустно кивнул.

— Решение, Онигисий, часто бывает таким же тонким, как лезвие меча, и таким же легким, как перо птицы. Я все время знал, что мне нельзя сдавать позиции. И я просил знака, знамения. Вот оно и пришло.

— Но птица, Аттила? Что могла птица знать об этом?

— Ты мудрец среди людей, Онигисий, но в остальном ты глупец. Пуру может говорить со мной через мертвое железо своего меча. Так почему бы ему не дать мне знак через полет птицы? Зачем требовать, чтобы бог использовал человека, посылая мне знак? Люди поворачивают и так, и сяк каждую весть, которую получают. А птицы и животные нет. Этот язык, мой маленький грек, твой конь понимает гораздо лучше, чем ты.

Что ж, возможно, Аттила никогда на самом деле и не собирался снимать осаду, просто прикинул, как ему заставить свои войска еще раз пойти в невысшимую атаку, и аист послужил лишь предлогом. И все-таки Онигисий чувствовал, что это не было объяснением или, во всяком случае, полным объяснением.

К вечеру из города прибыли колонны пленных — понурое стадо человеческих существ, мужчин, женщин, кое-где виднелись и дети. Их сопровождали всадники-гунны, окружив со всех сторон. Большинство пленников задыхались от дыма, который повис над городом.

Аттила нахмурился. Он не отдавал приказа брать пленных в Аквилее.

Впрочем, он сделал исключение для одного здания — дворца. Эллак воспринял приказ буквально и пригнал сюда всех, кого встретил во дворце, включая евнухов и служанок. Эллак был глуп. Впрочем, нет. Не был. Просто он не имел времени отсортировать пленных. Вдруг некоторые из них к тому же успели переодеть-

ся? Лучше брать всех подряд. Эллак был прав. Никогда нельзя ругать человека, выполняющего приказы буквально. Не его вина, что ему не удалось подняться над ситуацией.

— Цигур, пусть эти колонны пройдут мимо меня. Я сам хочу их посмотреть.

Да, все они — обитатели дворца. Около шестидесяти или семидесяти стражей, безупречная одежда которых разорвана и испачкана, а остальные — придворные обоюбого пола, евнухи, разного рода слуги. А вот и группа военных. Среди них его давние знакомцы — Ювенций, Хлодомер-франк, Гербод-бургунд.

— Этких троих, — приказал Аттила, — вывести из колонны.

Немного позже он обнаружил еще нескольких придворных, чьи лица помнил. Их велел вывести тоже. Затем подскакал Эллак, сияя от гордости. Аттила одобрительно кивнул ему, не отводя глаз от проходивших мимо пленных.

— Кто они?

Он показал на группу молодых людей — не старше семнадцати лет, одетых в одинаковые темно-синие туники. Почти все они были ранены.

Эллак рассмеялся.

— Сыновья знатных людей, отец. Они да еще несколько стражей были единственными, кто пытался спасти дворец.

И снова Аттила кивнул. Хорошие лица. Хорошие тела. Старая змея еще давала потомство.

— Их тоже сюда. — Затем он обратился к Цигуру: — Пусть принесут картину — ту, которую мы захватили в Вероне.

Когда прошли последние ряды пленных, он добавил:

— Вот те люди, которые были мне нужны. Убить остальных.

Маленькая группа, которую он отобрал, сгрудилась тесней. Они услышали последний приказ страшного человека на черном коне; они увидели, как один из гуннских племенных вождей собрал большой отряд лучников и галопом поскакал с ними вслед за колонной, частью которой они были совсем недавно. Оттуда донеслись пронзительные крики. Повезло ли им, что их забрали из колонны, или их ждала еще более ужасная участь? Несколько человек перекрестились и стали молиться.

Двадцать гуннов привезли на холм большую картину и развернули ее перед повелителем. Крики пленников все еще продолжали раздаваться.

Аттила пристально посмотрел на полотно.

— Да. Да, это она. Осторожней обращайтесь с ней, дети мои, я хочу, чтобы она в целости и сохранности прибыла домой. А теперь пусть эти люди приблизятся.

Они встали перед ним полукругом.

— Семнадцать лет назад, — сказал Аттила, — художник получил приказ написать портрет князя гуннов, его брата и отца его брата. Им было сказано, что император пожелал иметь портреты правящих особ из всех стран. Потом я выяснил, что в действительности нужна была картина, на которой все князья изображались бы раболепными слугами императора. В этой картине была ложь. Я восстано-

вил правду. Вот, смотрите. Поверните картину, дети мои, пусть они поглядят.

Это была картина работы Стимпала. Однако или он, или какой-то другой художник перерисовал некоторые фигуры. Теперь на троне восседал Аттила, а две коронованные особы в имперском облачении простирались перед ним и целовали его ноги. В них безошибочно можно было узнать императоров Валентиниана и Феодосия.

Среди тяжелого мрачного молчания чей-то юный голос крикнул:

— Это тоже ложь!

Это был один из подростков в синих туниках.

— Подойди ближе, ты, — приказал Аттила.

Юноша подошел, не проявляя признаков страха. Он был не очень высок, но складно сложен и явно обладал большой физической силой. Спутанные черные волосы и глубоко посаженные темные глаза не портили его необычной красоты.

— Кто ты?

— Мое имя Игноций.

— Повтори, что ты сейчас сказал?

— Эта картина тоже лживая. Ты покорила Аквилею, но она еще не Италия, не говоря уж о Римской империи. И ты никогда не увидишь, чтобы римский император распростерся перед тобой.

Аттила улыбнулся.

— Такой юный — и уже пророк. Кто же это остановит меня?

— Я попытаюсь! — воскликнул мальчик и,

выхватив кинжал из-за пояса стоящего возле него гунна, бросился на Аттилу, который при этом не сдвинулся с места ни на дюйм. Юный смельчак рухнул под градом ударов телохранителей.

— Не убивайте его, — остановил их Аттила. — Я хочу сохранить этого змееныша. Увести его. Он умрет, как только будет готов кол. А остальных убить сейчас. Всех, кроме троих моих друзей — Ювенция, Гербода и Хлодомера. Да, я вас помню. Вы опустили глаза, когда я показал картину. Правда вам невыносима, верно? Если же человек не может смотреть на правду, зачем ему глаза? Я хочу, чтобы этих троих ослепили, Цигур. И потом они могут идти и рассказывать о том, как Аттила отомстил им. Пусть отправляются в Рим и расскажут императору, что я уже иду. Он тоже должен увидеть мою картину. Сначала Милан. А потом — Рим!

Несколько сотен человек сумели выбраться из горящей Аквилеи, в основном на маленький остров Градус; тут они могли быть уверены, что гуннская конница их не настигнет. Обследовав в рыбацких лодках окрестности, они обнаружили, что и многие соседние острова заняты беженцами из Патавии, из Ривус Альтус и Клодии¹, где до той поры жили только беднейшие из бедных, ловя рыбу и выпаривая соль из морской воды. Вся венецианская провинция была

¹ Падуя, Риальто, Кьоджо.

занята гуннами. Эти островки, эти лагуны были все, что осталось от нее, и с горькой иронией беженцы назвали свое новое обиталище тоже Венецией.

Так был основан знаменитый город на воде.

2

Сенатор Флавий Кассий Геркулан был утонченным знатоком придворного этикета и изысканных манер. Уже давно — а его возраст приближался к пятидесяти годам — он принадлежал к самым пылким и восторженным обожателям августи Гонории, с тех самых пор, как она оформилась в девушку, впрочем, вполне отдавая себе отчет в том, что вряд ли он может рассчитывать на взаимность. Человек с хорошими манерами всегда знает свое место в мире. Он был отпрыском благороднейшей фамилии, однако мысль о том, чтобы жениться на женщине из императорской семьи, не могла прийти ему в голову даже в самых честолюбивых мечтах. Поэтому когда императрица-мать Плацидия приказала ему явиться в миланский дворец и там сухо и кратко объявила о его незамедлительной женитьбе на Гонории, он был настолько поражен, что колени его подкосились и он едва не рухнул на пол. Он знал, разумеется, что благородная принцесса вела себя не так, как хотело бы ее августейшее семейство, и по этой причине была отправлена на несколько лет в изгнание. Также он смутно слышал, что она совершила какой-то ложный в политическом отношении шаг, когда находилась

в Константинополе, хотя никто не знал, в чем конкретно он состоял. Насчет этого ходило множество слухов, а как же иначе? Он был достаточно неглуп и сразу понял, что эта внезапная идея насчет его брака с Гонорией имеет политическую подоплеку и что тем самым предотвращается другой, не желательный империи альянс. Однако больше он не знал ничего. И не хотел знать. Что бы там ни задумала императорская семья, великая честь, что избрали они не кого-то другого, а сенатора Флавия Кассия Геркулана.

Он был маленьким, худым, лысеющим и довольно близоруким. Никогда до этого не был женат и, подобно многим старым холостякам, приобрел ряд привычек и манер старой девы. Его пристрастие к этикету было немного смущено неподобающей поспешностью, с какой совершили церемонию — их обвенчали через двадцать четыре часа после того, как объявили женихом и невестой, и в присутствии лишь трех свидетелей, но зато каких! Императора, императрицы и императрицы-матери! Он утешил себя мыслью о том, что никогда еще ни одна свадьба не была совершена в присутствии такого числа августейших особ. Он с удовольствием воспринял также пожелание императора, чтобы они с молодой супругой уехали на виллу, что находилась возле Неаполя, хотя и тревожился, что скромное жилище окажется недостойным его августейшей половины. Они отправились на юг сразу же в день свадьбы в сопровождении эскорта из пятидесяти дворцовых стражей.

Прибыв на место, он обнаружил, что благодаря предусмотрительности и заботе императора там уже находятся несколько слуг, предназначенных «для личной службы августейшей Гонории», а немного позже убедился, что вилла охраняется весьма строго — настолько строго, что его самого дважды арестовывал патруль, когда он гулял по собственным садам. Впрочем, к таким вещам нужно быть готовым, когда женишься на особе из императорского дома.

То, что Гонория держала дверь своей спальни закрытой для него, не показалось ему удивительным и даже было воспринято с некоторым облегчением, ведь возраст и привычки брали свое. То, что она обращалась с ним почти как с дворецким, было перенести немного труднее, но все же их разница в ранге была столь велика, что приходилось мириться и с этим. А холодный и надменный вид, с каким августейшая супруга восседала на пирах, неизменно переполнял его непомерной гордостью. К несчастью, такие случаи выдавались крайне редко. Геркулану и в голову не приходило, что одна из причин, по которой был выбран в мужья именно он, и состояла в том, что у него было мало приятелей, и это знали его августейшие повелители, втайне посоветовавшие его друзьям не слишком часто показываться у него дома, лишь так, изредка, чтобы соблюдать видимость приличий.

По большей части ему приходилось вкушать трапезы в одиночестве; августейшая супруга делала это в своем крыле виллы.

Когда вести о первом посольстве Аттилы и

его наглom требовании отдать ему Гонорию достигли Неаполя, Геркулан преисполнился негодования. Он был всего лишь скромным человеком, не императорского ранга, он полностью сознавал, что оказанная ему честь слишком велика для его положения в обществе, но он был римлянином — хвала Господу! — да еще и сенатором, а не каким-то варваром, который, по слухам, в своей забытой Богом стране передвигался на четвереньках. Бесстыдство этого Аттилы не знало границ!

Гонория присутствовала при его взрыве, и в тот раз он увидел ее улыбку впервые со дня их свадьбы. Но это была отнюдь не улыбка благодарности и согласия. В ней сквозило столько жуткого и загадочного, что сенатор содрогнулся. Он попытался восстановить уверенность в себе, выразив готовность отправиться в военный поход, а потом впал в меланхолию на много недель, когда император прислал ему краткий приказ оставаться на месте.

Еще более загадочным показалось ему поведение Гонории во время первой военной кампании против гуннов. Когда пришли известия о том, что Аттила вторгся в Галлию, она определенно была этому рада. А когда после битвы на каталаунских полях все закончилось и обе армии разошлись, она тоже удалилась в свои покои и почти месяц не появлялась вовсе.

Затем пришло второе посольство с тем же требованием и началась вторая война. На этот раз уже сама Италия оказалась под угрозой. Геркулан опять выразил готовность принять участие в битвах и снова получил отказ, сопро-

вождавшийся строгим напоминанием о том, что его особый долг состоит в защите августейшей супруги. И не мог отделаться от ощущения, что и у императора играла на губах загадочная улыбка, когда он диктовал этот приговор.

Вскоре стали ходить слухи, что война идет вовсе не так, как планировалось, что Аттила занял северные провинции, что Аквилея пала и что императорское семейство перебралось в Рим. Конечно, новости плохие, но было что-то утешительное в том, что император находится в Риме. Сколько бы Милан и даже Аквилея ни кичились тем, что стали новой столицей Западной Европы только потому, что императорское семейство предпочитало находиться там, Рим оставался Римом. И когда враг стал угрожать священной земле Италии, именно Рим был тем местом, где надлежало находиться императору. И уж наверняка Рим был неприступным.

Предпочтение северу отдавала скорей Платидия, чем император, но она вообще была странной особой. Конечно, величия у нее не отнимешь, но все равно она была странной. Она так и не смогла завоевать любви и доверия своих детей — это было ясно по тому, как Гонория приняла известие о ее кончине. Она вскинула свои прекрасные брови, слегка наклонила изящную головку и чинно удалилась в свои покои. Императорский гонец принес ей эту новость и письмо от императора. Наверняка там было приглашение принять участие в похоронах. Но когда гонец уехал и Геркулан нанес визит супруге, чтобы узнать, когда они

должны будут отправиться на прощальную церемонию, Гонория ответила, что неважно себя чувствует и не в состоянии перенести утомительную поездку.

И вот теперь, когда одна плохая новость догоняла другую, она вроде бы, как это ни удивительно, возвращалась в прежнюю силу. Даже согласилась делить с ним трапезу, и тогда он поспешно распорядился, чтобы подавалось с полдюжины дополнительных блюд и чтобы слуги надели новые туники.

Она появилась, стройная и прекрасная, блистательная в одеянии аметистового цвета, на голове венец из рубинов, на руках рубиновые браслеты, на белой шее сверкает ожерелье с рубинами.

Геркулан был заморожен. Он настоял на том, чтобы первое блюдо подать ей собственноручно — устрицы из Британии и языки молодых жаворонков, старательно приготовленные с ростками бамбука, которые привозились в Италию морем из Египта. Говорили, что в Египет они поступают с острова Зеландиб, расположенного к югу от Индии.

Едва они покончили с этим блюдом, как Цестиний, дворецкий, возвестил о прибытии посланника от императора.

— Не простой посланник, а благородный сенатор — Ком Марк Ювенций.

— Ах, Ювенций! — радостно воскликнул Геркулан. — Я прекрасно его знаю. Веди его сюда, Цестиний, и принеси еще один прибор. Конечно же, он пообедает с нами — если августейшая Гонория изъявит свое благоволение.

Гонория дала согласие, и Цестиний добавил конфиденциальным шепотом опытного и тактичного слуги, что благородный посетитель, очевидно, страдает болезнью глаз — он носит повязку и его привел слуга.

— Мне жаль слышать это, — сказал Геркулан. Он взглянул на Гонорию, лицо которой, однако, оставалось безучастным. — Введи его, Цестиний... или, пожалуй, их, а не его.

Ювенций появился, опираясь на руку рабانبийца, как всегда, тщательно одетый и холерный. Закрывавшая его глаза повязка была из тончайшего китайского шелка, и тем не менее было очевидно, что он очень болен: лицо его казалось белее мела, а губы бескровными. Сетка глубоких морщин тянула уголки рта книзу, а правая рука заметно дрожала, когда он приветствовал хозяев.

— Бедный Ювенций, — произнесла Гонория, — что с тобой случилось?

На губах гостя появилась странная кривая усмешка.

— В любви и на войне всякое бывает.

Геркулан же неловко переминался с ноги на ногу.

— Нам сказали, что ты прибыл как императорский посланник, Ювенций, — произнес Геркулан, недоумевая. Этикет требовал, чтобы послание императора принималось стоя; если оно передавалось письмом, его надлежало почтительно поцеловать, если было словесным, то гонец должен был сообщить его немедленно, без всяких предварительных разговоров. Гонория не соизволила подняться, но ведь она

и сама принадлежала к императорской фамилии.

— Моя миссия носит неформальный характер, — ответил Ювенций, по-прежнему криво улыбаясь. — Я доложил некоторые новости с севера императору и был послан сюда, чтобы дать вам отчет о том, что там произошло.

Глаза Гонории сузились, но голос ее оставался нежным и ровным, когда она сказала:

— В таком случае не угодно ли присоединиться к нашей трапезе? Мы только начали.

Цестиний принес еще одно кресло, а нубиец помог своему господину удобно в нем устроиться.

— Я не голоден, — сказал Ювенций. — Однако с благодарностью принял бы кубок неразбавленного вина.

Он едва не опрокинул вино, когда его поставили перед ним. Но когда взял кубок в руку, то держал его твердо и произнес сильным голосом:

— Я пью за здоровье милостивого императора и за победу над врагом. За безопасность империи — и да очистится священная земля Италии от всех варваров и предателей!

— Амен, — присоединился Геркулан. — Амен, амен — да, определенно. Но я все-таки хочу, чтобы ты попробовал блюдо из моих лучших калканов, приготовленных по старинному рецепту, которые много лет откармливались гусиной печенкой. Попробуй хотя бы кусочек, хорошо?

— Мне не хотелось бы обижать моих хозяев, — медленно произнес Ювенций, — но я не

могу есть. Пожалуйста, продолжайте трапезу. Я внесу свою лепту тем, что буду говорить с вами — сделаю свое сообщение.

К огорчению Геркулана, Гонория тоже отказалась от великолепного блюда. Тогда он положил себе щедрую порцию.

Ювенций стал рассказывать про осаду Аквилеи, про то, как они три долгих месяца отражали атаки гуннов, как гунны, казалось, сняли осаду и отправились прочь, а потом внезапно вернулись и с удвоенным рвением возобновили натиск, так что в конце концов им удалось прорваться в город.

— Я видел гуннов в бою и до этого, когда мы сражались с ними на каталаунских полях, к северу от Кенаба. И мне приходилось видеть, что они делали с покоренными городами в Галлии. Но совсем другое дело, когда все это происходит у тебя на глазах, и ты ничего не можешь сделать. Я видел, как епископу Клементу, восьмидесятилетнему старцу, вонзили в живот кинжал. А когда он стал падать, другой гунн ударил его по обнаженной голове плетью, и его белые волосы окрасились кровью, а третий варвар в это время выкручивал из его рук священный ковчег, который старец пытался спасти. Я видел детей, затоптанных до смерти копытами коней, и поверьте мне, это происходило не случайно. Потому что они убивали всех детей так же, как убивали и всех женщин. С красивыми они, разумеется, сначала развлекались, а если рядом находились их мужья, то привязывали их к спинам жен, прежде чем набрасываться на них; это особенно веселило их.

— Война всегда бывает жестокой, — сухо заметила Гонория.

— Да, августа Гонория, но мир никогда не видел подобных жестокостей. Ведь гунны не такие, как мы. Господь свидетель, мы тоже бываем жестокими и наша история запятнана этим от дней Ромула до нынешних. Мы можем быть очень жестокими, но гунн только из жестокости и состоит. Возможно, наша теперешняя религия заставляет нас глубже понимать сатанинскую природу жестокости, ведь в конце концов некоторые из старых богов сами были жестокими, к примеру, Марс, Беллона и Диана. Но гунн *верит* в жестокость; это часть его природы — или так нам кажется. И то, что сейчас пришлось пережить северу нашей страны, в сто раз хуже, чем было во времена Нерона и Домициана.

И он продолжил рассказ о том, что видел. Один случай был страшней другого. Геркулан перестал есть, не без сожаления.

«Почему, — думала Гонория, — он приехал рассказать нам обо всем этом? По приказу Валентиниана? Не по той ли самой причине, которая так отвратительна ему в гуннах, — жестокости? Валентиниан хочет, чтобы я почувствовала себя ответственной за это, вот и все. Это похоже на него. Но и он тоже во многом виноват».

У нее в ушах до сих пор стоял его истерический крик, когда она только что прибыла в Милан из изгнания, смертельно уставшая и больная: «Это ты навлекла на нас гуннов, на свою родную страну! Гонория, ты совершила

самое чудовищное предательство в нашей истории! Тысячи людей будут невинно страдать из-за того, что ты сделала. И почему ты это сделала? Потому что соскучилась по объятиям грязного варвара, вождя самого чудовищного народа, который когда-либо насылали на землю демоны тьмы!» И мать, разумеется, вторила ему: «Почему небеса наказали меня таким ребенком, как этот?» Гонория тогда не ответила им ни единым словом. Они говорили о предательстве, а ведь предали-то все вокруг ее. Сначала мать и брат, потом Ирис, потом евнух, которому она доверилась, потом Феодосий. Из всех женщин на земле только ей не позволяется любить. В чем состояло ее преступление? В том, что она просила своего возлюбленного и отца ребенка забрать ее к себе? Что было естественнее, чем это? Но Валентиниан, чьи постыдные делишки с женщинами, и не только с ними, все время приходилось скрывать, еще смел читать ей проповеди! Ее отдали в жены этому ничтожному существу, этой настоящей карикатуре на мужчину — разве удивительно, что такая жестокость теперь наказывается? Война с гуннами случилась бы в любом случае! Все в Константинополе боялись гуннов, и наверняка то же самое было и в Риме!

И пусть этот Ювенций продолжает рассказывать свои кошмарные истории. Он не увидит ее раскаяния. Хотя, конечно же, он и так ничего не видит.

— Мы обороняли дворец, но были захвачены в плен и отведены к самому Аттиле. Нас было две или три сотни, включая многих, кого

вы хорошо знали, и все были убиты по приказу Аттилы, я сам слышал его слова...

«Ну и что? — думала Гонория. — Будут и другие жертвы — все новые и новые, пока эти глупцы не перестанут оказывать сопротивление неодолимой силе. На этот раз Этцель не уйдет, пока не добьется своего. Он найдет меня и на краю света; все страны открыты мириадам его всадников. И нет нужды стонать от потери того или иного знакомого. Никому не позволено стоять между королем гуннов и его возлюбленной».

— ...показал нам картину — знаете, ту, что императрица-мать велела написать Стимпалу. На ней все цари земные поклоняются императору, а он ее переделал, и теперь император целует ему ноги...

— Ублюдок! — возмутился Геркулан, патриотизм которого был оскорблен. — Бесстыдный, грязный выскочка...

— Он происходит из более древнего рода, чем твой и мой, — ледяным тоном остановила его Гонория.

— Признаюсь, что во мне вскипели те же чувства, что и в твоём супруге, благородная августа, когда я увидел картину, и я полагаю, что большинство римлян...

— Я весьма сожалею, что мое мнение не совпадает с твоим, Ювенций.

Человек с повязкой на глазах сделал очень изящный жест рукой, как бы прощая ее вину.

— Позиция даже самой великой августейшей особы может и измениться.

В его словах прозвучал сарказм, которым он

ответил на ее иронию; в них послышалась враждебность. Возможно, и угроза. От Валентиниана не мог прибыть никто иной, кроме врага. Ювенций был врагом. Но чем мог он ей грозить? Если бы Валентиниан хотел ее арестовать либо совершить какую-нибудь подобную глупость, то прислал бы стражей. Но он не сделал этого. Слишком большой трус. Почему он прислал Ювенция — просто попугать ее, чтобы она почувствовала вину за действия Аттилы? Ей показалось, что тут существует какая-то связь с повязкой на глазах Ювенция.

Она не ответила, и он продолжал:

— Я наблюдал Аттилу с расстояния в несколько ярдов. Он наслаждался нашим оскорбленным видом, когда показал картину. Нас было трое офицеров дворцовой стражи: граф Гербод, граф Хлодомер и я. Мы отвели взгляд от этой мерзкой картины, и он с насмешкой сказал, что мы не в состоянии глядеть на правду, а затем приказал нас ослепить.

— Ювенций! — ахнул Геркулан. — Бедный друг мой...

Гонория тоже вскрикнула. Но ничего не сказала...

— Приказ был исполнен достаточно быстро, — бесстрастно продолжал Ювенций. — К счастью, я потерял от боли сознание. Когда пришел в себя, Гербод и Хлодомер покончили с собой. Они не могли вынести мысли о жизни в потемках. Все же они были язычниками, и тут, пожалуй, проявилось языческое представление о жизни. Но они были добрыми язычниками, и мы были друзьями все эти годы. Я буду

скучать без них. Аттила рассердился, когда ему сказали об этом. Он хотел, чтобы они отправились в Рим и рассказали императору — да осенит его путь победа! — что он намерен показать и ему эту картину в Риме. Он велел заковать меня в цепи, чтобы я не мог последовать их примеру. Необходимости в этом не было — я сам хотел добраться до Рима и рассказать обо всем увиденном. А увидел я немного больше, чем сам Аттила, хотя мы смотрели с ним вместе на одно и то же. Могу ли я получить еще один кубок этого превосходного вина, благородный Геркулан?

Сенатор сам наполнил кубок, его пальцы дрожали.

Ювенций спокойно выпил вино. Затем продолжал.

— Мне даже всячески помогли добраться до Рима. Через три дня я уже доложил обо всем императору и получил приказ отправиться сюда, как только мне позволит здоровье, чтобы рассказать обо всем благородной августе Гонории, поскольку великий император решил, что этот рассказ может представлять для нее определенный интерес.

— Что ж, ты так и сделал, — холодно произнесла Гонория. — Действительно, ты не скупился на краски.

— О, я рассказал еще далеко не все, — последовал быстрый ответ. — Еще было много чего. Я сейчас испытываю почти облегчение, что впредь уже не смогу лицезреть ничего подобного. Даже в слепоте есть свои преимущества, благородная августа, поверь мне. И все же

было еще одно обстоятельство, о котором мне придется тебе рассказать. Я уже намекал, что об этом не знает даже сам Аттила, по крайней мере он не знал того, что знаю теперь я.

— Все загадки, — пожала плечами Гонория.

— Ждать осталось недолго, о благороднейшая августа. Видишь ли, с нами были около двадцати отроков в возрасте от четырнадцати до семнадцати лет — сироты из хороших семейств, заботливо взращиваемые во дворце лучшими педагогами. Покойная императрица-мать Плацидия сама основала это заведение — да упокоит Господь ее душу! И вот один из них — юный орел — крикнул Аттиле, что на этой проклятой картине изображена ложь. Что никогда римский император не падет к его ногам. А когда тиран насмешливо поинтересовался, кто же помешает этому, он выхватил кинжал и пытался заколоть Аттилу. Конечно же, его схватили, и Аттила приказал посадить его на кол. — Ювенций отхлебнул еще вина. — Это была самая жестокая казнь, которая существует у гуннов. Все остальные пленники были убиты на месте, а этот смелый юноша мучился еще день, безмерно страдая, — я специально спрашивал об этом, — и умер только в середине ночи.

Геркулан с шумом выдохнул воздух.

— Бедный мальчик! — произнес он. — Кто это был?

— Его звали Игноций, — ответил Ювенций. — Никто не знал о нем много — его рождение окружала какая-то тайна. Но когда я

рассказал об этом императору, он... расхохотался.

— Расхохотался? — не веря своим ушам, переспросил Геркулан.

— Да, он расхохотался. И сказал, что сами небеса отомстили за все. Поскольку Игноций был сыном одной дамы из дворца, которая много лет назад сочла князя гуннов достойным своей любви. Он не назвал имени женщины, но назвал имя мужчины — это был Аттила.

Гонория медленно встала. Открыла рот, чтобы что-то произнести, но слова не шли. И внезапно упала, потащив за собой скатерть с блюдами, кубками, вазами.

Геркулан бросился ей на помощь. Она лежала в глубоком обмороке, на губах ее выступило несколько капель крови. Геркулан застонал. Его глаза горели, а на губах застыл немой мучительный вопрос.

Однако от слепого гостя не последовало никакого ответа, а его бесстрастное лицо с повязкой на глазах странным образом напоминало статую правосудия.

3

Рим был охвачен паникой. Весть о разрушении Аквилеи быстро сменилась сообщениями о падении Милана и Павии, Виченцы и Бергамо. Прибытие императора все сочли поначалу знаком сбора сил для противостояния варварам. Но вскоре разнеслись слухи, что он в столице долго не задержится, что из дворца выносят дорогую мебель и что нанято большое количество

телег и повозок для отъезда императорского двора дальше к югу; кто-то называл Неаполь, другие Сицилию.

Все знали, что стены и оборонительные сооружения Рима пребывают в плачевном состоянии. Префект города призывал добровольцев в ополчение, но, когда первые отряды были созданы, им пришлось тренироваться без оружия — его оказалось недостаточно, потому что все отправлялось Аэцию и его регулярной армии. И все же ни для кого не было секретом, что эта армия была слишком мала для того, чтобы Аэций мог пойти на риск открытого противостояния. Все, чего можно было от него ожидать, так это того, что проделал в свое время Фабий Кунктатор в войне против Ганнибала: атаки против отставших отрядов, небольшие стычки — и торопливое отступление, лишь только появятся крупные силы противника. Нервничающие, обеспокоенные жители обсуждали это повсюду. В Аэция и его войско верили мало.

— У него большая разница со стариной Фабием — тот мог достаточно быстро уходить, а Аэций не может. Ведь гунны все на конях, а разве не ясно, что конь быстрее человека?

— Ох, заткнись! Ты же не станешь отрицать, что Аэций прекрасный военачальник? Ну и что же мешает ему отступить в холмы или горы, куда коннице гуннов уже не добраться?

— И поэтому гунны держатся подальше от гор, а тут Аэций полностью бессилен. Да и вообще Аттила может быть в Риме через неделю,

а уж через десять дней наверняка. Я уезжаю в Неаполь, как это делает император.

— Знаешь, что я слышал? Аэций продался Аттиле, и гунн обещал поставить его своим наместником в Италии.

— Ты поосторожней со своими словами.

— Ну, тут нет ничего удивительного, разве не так? Ведь за прошлогоднюю победу он не получил никакой награды.

— Не слишком уж славная была победа, раз Аттила вернулся через год полный сил! Возможно, он продался ему еще в прошлом году и позволил тогда уйти. Вот что я слышал.

— Чушь! Аэций честный человек и всегда им был. Он никогда не продаст свою страну. Хотя, возможно, это сделал кто-нибудь еще. Почему Аэцию не позволили сохранить армию?

— Потому что наступило время сбора урожая. Мы не можем себе позволить, чтобы здоровые молодые парни бряцали оружием круглый год!

— Да-да, мне знакомы такие разговоры — это старо, как Рим. И всегда, когда наверху говорят такое, мы проигрываем войну.

— Но почему всегда нужно думать о грядущей войне? Ведь мы же христиане, и...

— А гунны тоже христиане? Ты не можешь жить в мире, если твой сосед не христианин. А порой и с христианами не знаешь покоя.

— Короче, мы совершенно не подготовлены, вот что я тебе скажу. И это вина не Аэция, а кого-то другого. Я не стану называть имен.

— Лучше не надо. Но я могу назвать тебе имя подозрительного мне человека. Это Сероэс.

— Кто он такой?

— Откуда ты свалился, раз не знаешь этого? Сероэс — любимый маг императора. Его оракул, пророк, предсказатель — все на свете. У сестры моей жены во дворце есть приятель — он там в охране, и по его словам, Сероэс предсказал неминуемый конец города.

— Чушь! Рим никогда не погибнет.

— Ох, так уж и не погибнет? Да почему же? Просто потому, что ты в нем живешь, я так полагаю? Разве ты не слышал про коршунов Ромула? Их было двенадцать, они кружились вокруг него, когда он заканчивал первую стену Рима, и все уселись на стену, а это означало, что Рим проживет двенадцать столетий. Похоже на правду, верно? А теперь посчитай: со времени основания Рима как раз и прошло двенадцать веков!

— Все это языческие толки. Я не верю в это.

— Может, ты и не веришь: а император верит!

— Гляди, это уже пятидесятая императорская повозка, которую я увидел за последние два часа. Я считал. И все едут из города.

— Это означает, что император собирается оставить Рим.

— Конечно, глупец, что же еще? Хотя если бы он и собирался остановиться, то все равно не стал бы делать это здесь. Он бы задержался в Равенне. Стены там достаточно мощные. У меня там живет брат, и он говорит, что город

практически неприступен. А вместо этого император прибыл в Рим...

— ...который нельзя назвать неприступным.

— Конечно, нет. Половина стен разрушена, а воины так же редки, как молоко в грудях семидесятилетней старухи. Подумай, осел! Если уж император не рискнул остаться в Равенне, разве он задержится в Риме? Он уедет на рассвете, если хочешь знать.

— И оставит Рим гуннам?

— Он ведь не может их остановить, верно?

— Никто не может.

— Оставить Рим гуннам — город Цезаря, Августа...

— Он давным-давно перестал быть таким, приятель.

— Город апостола Петра...

— И это тоже уже давным-давно не так.

— Нет, ты не прав. Каждый папа — преемник святого Петра, и...

— Ох, не рассказывай мне этого! Мне жена и так все уши прожужжала об этом. Она ходит в собор дважды в день и часами молится там, стоя на коленях, бедное, перепуганное существо.

— То же самое происходит и с моей женой. Я устал останавливать ее — церкви забиты до отказа, да и для ее здоровья это нехорошо, но только она не слушает. Молиться, может, и хорошо, но наверняка...

— ...но наверняка это едва ли поможет — ты это хотел сказать?

— Ну, я не понимаю, как это может остановить конницу Аттилы, приятель.

— Все это оттого, что ты атеист, бедняга. Разве ты не слышал, что случилось в прошлом году в Галлии? Как молитвы святой девы Женевиевы спасли город Лютецию от разрушения? Аттила покругил вокруг него, но так и не стал атаковать. А разве Кенаб не был спасен молитвами епископа Аниана?

— Жаль, что ты сам не стал священником. Кенаб был спасен, потому что Аэций и король Теодорих вовремя подоспели со своими армиями.

— Да, но кто молился об этом, ослик ты мой? И кто вдохновил всех жителей Кенаба своей верой, и те держались из последних сил, потому что он был уверен в помощи Господа? Епископ Аниан святой человек, скажу я тебе...

— А что касается святых и непорочных дев, то я не думаю, что в Риме таковые найдутся.

— И все-таки это по-прежнему град Святого Петра, и святой апостол пребывает среди нас в облике папы. И это факт.

— Ну, и как ты считаешь, что предпримет в этой связи папа Лев? Пойдет и будет сражаться с Аттилой в одиночку? Или станет молиться, чтобы тот покругил вокруг города, не входя в него? Нет, приятель, подобные вещи хороши для мирного времени, когда все тихо и приятно. Я ничего не имею против, когда люди ходят в церковь, если чувствуют, что от этого им спокойней, — пусть делают это. Но в военное время нам нужно смотреть в глаза реальности. Я уезжаю из Рима завтра утром и отправлюсь в свое маленькое имение на Сицилии. Там мы будем в безопасности, я надеюсь.

— Чем это ты все время играешь? Куском коралла?

— Верно, это коралл. Мой амулет. Купил его у египтянина. Он хранит меня от смерти все эти годы. Прощай, приятель.

— Это конец, святой отец, — мрачно сказал Валентиниан. — Конец Риму, империи, всему. Бог наказал меня, сделав императором как раз в эти годы. Нам конец.

— Осторожней, — предостерег его папа, — чтобы не говорили, что Бог наказал империю, сделав тебя ее императором во время испытаний.

Валентиниан вспыхнул.

— Это жестокие слова, святой отец. Я-то пришел к тебе искать утешения.

— Есть только Один, кто вправе был произнести слово «совершилось» на кресте. Его земные труды были завершены. А ведь ты человек, на которого смотрят все народы и от которого ждут действий, — на своем троне ты не имеешь права на отчаяние.

Наступила пауза. «Утешения хочет от меня, — с горечью подумал папа. — Если бы это было утешение за горе и слезы его подданных! Но он только и может говорить, что о собственных бедах, о собственной безопасности; он изливает это долгим, нескончаемым потоком слов. Очевидно, его подвели драгоценный Серозс и прочие некроманты и прорицатели. Как не похож он на свою мать! Но ведь Плацидия сама воспитывала его таким. Он всегда был в тени ее личности. Возможно, большинство

его слабостей связано именно с этим. И все же...»

Он с трудом справлялся со своим негодованием. Ведь был он не только епископ римский, но и римлянин. И слушать римского императора, говорящего о бегстве из собственной столицы, из Вечного города, было ему тяжело. Вот так и случилось — Валентиниан явился искать утешения у папы, а нашел римлянина, жестоко критикующего его за недостаточный патриотизм. К тому же надо было делать работу — лавину работы. Она шла со всех сторон — из больших и малых городов Галлии, многие из которых все еще лежали в руинах после прошлогодней кампании, из Испании, полной внутренних раздоров, из Северной Африки, где каждый день мужчины и женщины умирали мученической смертью. Из восточных провинций, куда священникам приходилось проникать переодетыми, чтобы совершать святые таинства — все время под угрозой смерти и страшных мук. И каким мирным все было двенадцать лет назад, когда он взошел на трон Петра! Тогда можно было думать об украшении церкви Христовой на земле, об ее укреплении, а теперь сплошные землетрясения, наводнения, прорванные плотины, и не знаешь, куда кидаться с помощью. Много раз он жалел, что у него не сотня голов, чтобы справиться со всем или по крайней мере чтобы они могли по очереди спать. Четыре с половиной часа из каждых двадцати четырех ему приходилось отводить на сон, пребывать в бессознательном состоянии.

Но он просто не мог отказать императору в

просьбе прийти и повидаться с ним в этот час — даже для утешения. Если бы только он желал большего, чем это...

— Я не говорил тебе еще, святой отец, — сказал робко Валентиниан. — Сегодня днем мы совещались о том, что можно сделать или, пожалуй, о том, чего сделать нельзя. И не только я не вижу выхода из сложившейся ситуации, даже такие люди, как Тригаций, Меммий и Авиен, просто пожимали плечами. Пизон зашел настолько далеко, что предложил мне согласиться на требования Аттилы и позволить ему жениться на моей сестре Гонории...

— Невозможно, — сурово отрезал папа. — Она уже замужем за сенатором Геркуланом.

— Я вспылил и закричал, что скорее готов увидеть ее мертвой. А через полчаса прибыл курьер из Неаполя с письмом от Геркулана. Я посылал к ней бедного Ювенция сообщить о смерти молодого человека, почти мальчика по имени Игноций. Аттила убил его, когда взял Аквилею. Игноций... понимаешь, святой отец, когда Аттила находился заложником в Аквилее — я был в то время ребенком — он встретил Гонорию и... ну, в общем, Игноций был ее сыном от него. Мать замалчивала эту историю все время. Гонория не знала, где ее ребенок. Известие о его смерти было первым, что она услышала о нем за семнадцать лет. Она упала в обморок, а ночью приняла яд. Отравилась. Она мертва. Это... это ведь не моя вина, верно, святой отец? Я хочу сказать... я знал, что она тяжело воспримет смерть сына, и я... ну, я хотел, чтобы она тоже испытала страдание, как испы-

тываем мы его из-за того, что она написала бесстыдное письмо Аттиле. Но я не мог предполагать, что она способна на такое, ведь верно? Нет, святой отец, не нужно соболезнований. Она никогда не была по-настоящему мне сестрой. Всю жизнь она вела себя дерзко и самонадеянно, ненавидела и презирала меня, я это знаю. Она не могла ладить и с матерью. И все-таки... я не убил ее, верно?

«И это император! — с горечью подумал Лев. — Вероятно, Господь решил, что империи пора положить конец. Даже вопрос, который он мне только что задал, звучит неискренне. И опять все, что ему требуется, это утешение, не оттого, что умерла сестра, а как подтверждение того, что он невиноват. Он не страдает. Он просто слегка озабочен». А вслух сказал:

— Только внимательная проверка собственной совести может дать ответ о степени твоей вины. Тебе хотелось заставить страдать бедную женщину. В этом твоя вина. Насколько сильно ты хотел этого? Желал ли ты, чтобы она рухнула под тяжестью этого известия? Избрал ли ты своим посланцем человека, который сообщил бы ей о смерти ее ребенка осторожно, так, как надлежит сообщать такую весть матери? Какими были инструкции, которые ты ему дал? Нет, не отвечай мне, ты ответишь священнику, который будет слушать твою исповедь. Быть может, Господь и простит твою бедную сестру — я стану молиться за нее.

— Она совершила самоубийство, святой отец, — поспешно сказал Валентиниан. — Ведь это же самое тяжкое преступление, разве нет?

Разве это не означает, что она не может быть спасена?

Жадный интерес, прозвучавший в его вопросе, заставил папу содрогнуться.

— Один лишь Господь ведает это, — ответил он, и впервые за много лет его голос не звучал твердо. — Она могла не владеть собой в это время или могла раскаяться перед тем, как умерла. Но вот тебе я скажу со всей твердостью: ты должен молиться за нее каждый день до конца своей жизни.

Валентиниан повесил голову. Внезапно он зарыдал, его худые плечи содрогались в конвульсиях.

— Что мне делать, святой отец, что мне делать? Я не могу остановить этого страшного человека. Аэций слишком слаб, его войска в десять раз малочисленнее, и они все в отчаянии, все сенаторы, мои советники, все — они думают только о бегстве и о спасении собственного богатства, многие уже уехали, а другие уезжают каждый час. Мне не на кого опереться, не на кого... — Тут он поднял голову. На его лице застыло выражение истеричной ярости, и он прошипел: — Это конец империи. Я знаю это. Но это значит, что придет конец и церкви. Гуннам так же легко ворваться в Латеран, как и в мой дворец.

— Конечно, — спокойно ответил папа. — Но только это не станет концом церкви. Вероятно, это будет означать мою смерть, но какое это имеет значение?

— Наверняка, святой отец! Как сможет цер-

ковь жить без империи? Она основана на ней, живет в ней и с ее помощью. Или ты думаешь, что сможешь проповедовать учение Иисуса Аттиле? Нет, если погибнем все мы, рухнет и церковь. Потому что это конец цивилизации.

— Цивилизации приходят и уходят, — медленно произнес Лев. — Церковь остается. Даже если Рим будет разрушен до основания, а с ним и вся Италия, вся эта империя — церковь останется. Всегда отыщется в мире какой-нибудь уголок, где руки священника принесут святыне дары. Так предсказал Христос. Нет ничего более ошибочного, чем полагать, что церковь и империя неразрывно связаны между собой. Христос, а не империя наш жених. Господь не наделил меня даром провидения. Но одно я знаю: все империи в истории сотворены людьми и, следовательно, смертны, как смертен человек. Они исчезают раньше или позже, и всякий раз это означает конец цивилизации. Конец того или иного образа жизни. Конец того или иного политического господства. А Христос умер ради всех людей, и нам суждено учить все народы.

Для Валентиниана это означало лишь то, что церковь тоже покидает его в час беды. Он пришел искать помощи, находясь в смутном, неопределенном положении, и вот туман в его мыслях рассеялся и вещи начали вырисовываться с резкой, почти гротескной четкостью. Он поймал себя на мысли о том, что этот старик просто отказывается стать его сообщником...

Он рассердился на себя. Ведь он император.

Империя в опасности. Videat imperator!¹ Чувство долга привело его сюда или по крайней мере отчаяние, а отец христианства, спокойный и далекий, словно горная вершина, отказывается иметь с ним что-то общее. Как ошибалась мать, как ошибалась! Временами она говорила о двух великих людях в империи. Аэций и Лев, Лев и Аэций. Он впадал в раздражение от одних только этих имен. А теперь, в момент опасности, ни от одного из них нет толку. Пора бросать все — Латеран, Рим, Италию. Он отдаст приказ флотилии готовиться к отплытию в Константинополь, ведь нельзя отправляться в изгнание с пустыми руками.

— Что, — услышал он голос папы, — намеревается делать император?

Валентиниана внезапно поразило, что впервые за всю беседу папа обратился к нему подобающим образом. Вероятно, это означало, что до сих пор он разговаривал с ним, как с одним из своих прихожан, и что теперь аудиенция подошла к концу. Он машинально поднялся.

— Не знаю, святой отец, — слабым голосом произнес он. — Вот так, не знаю совершенно. Я уеду из Рима — это точно.

— Покинешь столицу?

— Что еще мне остается?

— Значит, ты намерен присоединиться к Аэцию и его войску?

Император печально усмехнулся.

— Не думаю, что Аэций был бы рад этому,

¹ Заботься, император!

святой отец. Сам я не военный человек, и мое присутствие будет лишь сковывать его. К тому же он, конечно, не сможет остановить наступление Аттилы на Рим — он слишком слаб для этого.

Теперь поднялся папа, так резко, что несколько документов было сметено со стола складками его облачения.

— Понимаю, — произнес он, — ты собираешься поехать к Аттиле.

Уважая старость папы, Валентиниан стал собирать документы. Слова папы застали его врасплох, и он подскочил так, словно его ужалила змея.

— К Аттиле?! Я?!

— Это действительно неплохая мысль! А что еще ты можешь предпринять? Ты император — тебе не позволено делать то, что делают напуганные горожане: просто бежать, оставив Италию на волю рока.

— Нет, — сказал Валентиниан, кусая губу.

— И поэтому встреча с Аттилой представляется мне единственным выходом. И решать вопросы такой важности надлежит лично вам между собой, не прибегая к услугам послов.

— Да, — сказал император сдавленным голосом. — Но это означает для меня идти навстречу своей гибели. Он убьет меня. Я знаю, что убьет. А потом все равно войдет в Рим. Вопрос о том, надо ли отправлять к нему послов с предложениями мира, тоже обсуждался сегодня. Но никто, кажется, не думал, что он пойдет на это. Вопрос личной безопасности, возможно, тоже играл тут свою роль — да, я уверен,

что это так, однако, безопасно это или нет, но я не вижу ни малейшего основания для того, чтобы Аттила стал слушать послов. Нам нечего предложить ему, чего он не сможет взять сам и без наших предложений. А он намерен не только покорить нас, но и унижить. Вот что сказал Авиен, и у меня не нашлось доводов против его слов.

— Понимаю, — кратко ответил Лев.

— Любить собственную жизнь — не преступление, — жалобно заявил Валентиниан. — Этот человек — чудовище, святой отец, антихрист. Встретиться с ним означает верную смерть.

Папа вздохнул.

— Нерон был антихристом и Диоклетиан, а теперь Аттила. И будет ли их еще много до настоящего конца — кто знает? — Он сел и спокойно произнес: — Тогда я отправлюсь к Аттиле. Если ты согласен.

Император задохнулся от удивления.

— Ты, святой отец? Это невозможно!

Он заявил это вполне искренне. В отличие от Льва он никогда не верил в активные действия и всегда предпочитал уклоняться от них. И уж меньше всего он мог предполагать такую возможность решения проблемы. Он явился сюда лишь за утешением и благословением церкви — несчастный правитель, которому приходится уезжать в изгнание.

— Я не могу дать тебе никаких обещаний, — поднял руку Лев. — Могу лишь попытаться сделать все, что в моих силах... Но я поеду.

— Свят-той от-тец, — смятенно забормотал

Валентиниан. — Рим, Италия — империя, все, все, все до единого затаят дыхание! Ох, я просто и не знаю, что сказать... Я подпишу все, что ты привезешь мне оттуда, я слепо соглашусь на любое твоё решение...

— Молись за меня, — просто сказал Лев, — и проси народ Рима молиться. Мне это будет в помощь.

4

На рассвете следующего дня из города выехали четыре колесницы и направились на север. В первой сидели четыре священнослужителя, среди них и архидиакон Церетий, во второй ехал папа, в третьей — несколько секретарей, хозяева которых, ближайшие советники императора, ехали в четвертой: сенатор Авиен, человек консульского ранга, и Тригаций, бывший преторианский префект Италии. Они не осмелились в одиночку совершить поездку к Аттиле, однако выразили готовность к риску за спиной епископа римского. Помимо того, они знали, — а папа мог и не знать, — что может позволить себе империя обещать грозному завоевателю, в случае если он согласится пощадить Вечный город. В конце концов, речь могла идти о подкупе, и едва ли можно было рассчитывать на то, что папа много понимает в таких деловых переговорах. Авиен и Тригаций были виртуозами подобных сделок. От цен на египетскую пшеницу за несколько лет до продукции британских оловодобывающих рудников — все цифры они держали в голове.

Никакого предварительного совещания не проводилось. Им просто пришлось захватить за Львом и его небольшой свитой в Латеран незадолго до рассвета, когда папа уже отслужил мессу и позавтракал. Так что лишь в полдень, на первой остановке, им представилась возможность для разговора, и Тригаций осмелился спросить, может ли святой отец сказать ему, о чем он намеревается говорить с Атилиой.

— Но я совсем не знаю, что скажу ему, — последовал ответ папы. — Я оставляю это на промысел Святого Духа.

— Разумеется, — склонил голову Тригаций. Он ничего не понимал. Авиен же был в ярости и едва это скрывал. Когда колесницы снова тронулись в путь, оба государственных мужа обменялись взглядами.

— Святой Дух, — простонал Авиен.

Однако Тригаций уже оправился от потрясения.

— Успокойся, приятель, этот человек не так наивен, как хочет казаться. Он весьма умелый администратор, каких давно не знала церковь. Просто он не желает говорить, вот и все. Могу поставить свое имение в Сармио против твоего дома в Байи, что у него имеется разработанный до мельчайших деталей план.

— Хорошие условия, — усмехнулся Авиен. — Сармио уже заняли гунны, верно?

— Ах да! — всплеснул руками Тригаций. — Я и забыл. Чтоб чума забрала этих гуннов.

— Это, — заметил Авиен, — пожалуй, единственное, что могло бы привести нашу миссию к успеху.

— Не знаю. Согласен, что мы не можем ожидать слишком многого от нашего дорогого старика, имеется у него план или нет. Боюсь, что мы все чересчур оптимисты. Все было бы хорошо, если бы Аттила был христианином. Но наиболее вероятно, что преемник Святого Петра значит для него слишком мало. Я не знаю, во что там верят гунны...

— В грабежи, насилии и разрушение, вот и все! Если бы Аттила был христианином, он бы не был Аттилой. Послушай, Тригаций, ты понимаешь или нет, что нам придется проделать серьезную работу? Разумеется, мы дадим старику возможность произнести небольшую речь. Это будет выглядеть благопристойно и создаст нужную атмосферу. Для этого он просто бесценен. Но затем придется выступить нам.

— Да, но что мы можем предложить? Давай будем честными по крайней мере друг с другом, дружище. Может, предложим ему Британию, возможно, вместе с частью римской флотилии, чтобы он смог переправить своих лошадей через пролив? Поступления оттуда значительно сократились, и мы не будем слишком скучать без этого маленького острова. Или обещаем ему руку Пульхерии, поскольку Гонория мертва, а он, кажется, так хочет жениться на представительнице императорского семейства? Или...

— Прекрати, говорю тебе! — Авиен не скрывал раздражения. — Я не в настроении для подобных шуток. Чем дальше мы едем, тем больше я понимаю...

— ...что у нас нет ни намека на шанс. Конечно, нет. Это не миссия, приятель. Это глупая затея. Это может дать императору — да вершит он победы! — лишь несколько дней передышки.

— А мы окажемся с перерезанными глотками, и еще нам повезет, если это сделают быстро.

— Вполне возможно.

— Император — да вершит он победы!.. — повторил Авиен и, к немалому удивлению Тригеция, заплакал.

Следующие три дня не улучшили настроения императорских послов. Их путь проходил через самую прекрасную страну в мире, полную солнечного света и цветов; однако в глазах людей — сельчан и горожан — отражался смертельный страх, который охватил всю Италию, а по ночам, когда они лежали на гостевых постелях в домах самых высоких чиновников округа, им чудился топот приближающихся лошадей — тысяч и тысяч. Чиновники тоже были напуганы. Они уже упаковали свои пожитки и готовы были к бегству при первых же признаках тревоги, и Авиену пришлось прибегнуть к строгости, дабы они снова распаковались и обеспечили необходимым комфортом послов великого императора.

Папа, несмотря на уговоры, настоял на том, что будет спать в доме ближайшего духовного лица, и по крайней мере двое из них оказались простыми сельскими священниками. Тригеций

был убежден, что сделал он это нарочно, избегая разговоров со своими попутчиками.

— У него имеется какой-то секрет, у хитрого, старого... — Он не смог заставить себя добавить слово «лис». В облике Льва не было ничего лисьего. А орлы не бывают хитрыми — или бывают?

Интересно, что люди повсюду узнавали папу почти сразу же, хотя скорее всего ни разу прежде его не видели. Они толпились вокруг его колесницы, матери протягивали детей, чтобы получить его благословение. Много раз их поездка замедлялась, потому что его не хотели отпускать, падали на колени перед колесницей, простирали к нему руки, касались его одежд, если это удавалось. А он, казалось, ничего не имел против таких промедлений, без усталости раздавая благословения направо и налево.

— Ну, полагаю, что ни один человек не свободен от тщеславия, — пробормотал Авиен.

Тригений пожал плечами.

— Да пусть старик занимается этим, раз это доставляет ему удовольствие. Может, это последние дни, когда он может кого-то благословить...

В тот вечер они увидели на севере первые огни пожарищ.

Затем он ехали по местности, охваченной паникой: население городов и деревень спасалось бегством, тысячи телег, повозок, колесниц запрудили все дороги. За много часов им удавалось продвинуться лишь на несколько миль. Однажды, когда огромнейшая толпа

остановила их продвижение в очередной раз, Тригаций встал в своей колеснице и произнес речь. О том, что они императорские послы, направляющиеся к Аттиле. Император — да вершит он победы! — очень старается добиться мира для своей любимой страны. Он не жалеет сил. Готов на величайшие жертвы. Возможно, через несколько дней все получают возможность вернуться в свои дома и жить в мире, как и прежде, под справедливым правлением императора.

Однако его слова потонули в криках людей, просивших святого отца о благословении. И все пали на колени, когда он давал его.

Вытирая лоб, Тригаций сел на место.

— Неблагодарный сброд!

Наконец-то поток беженцев стал иссякать. Они с трудом нашли местного жителя, который показал им объездную дорогу вокруг маленького городка, пылавшего будто огромный костер. Через полчаса около сотни всадников какого-то волчьего вида налетели на них — казалось, они возникли из ниоткуда. Четыре колесницы были тут же окружены. Тригаций закричал во всю мочь:

— Посольство от императора направляется к Аттиле! К Аттиле! Аттила!

Гунны переглянулись между собой и разразились смехом. Никто из них не понимал латынь, но им было достаточно ясно, что эти смешные старики хотели попасть к Аттиле, под меч Пуру, к Хозяину Мира. Все бежали при одном упоминании его имени, а эти старики хотели к нему попасть; они спасались бегством

не в том направлении. В этом и состояла шутка. Гунны стали горячить своих коней и нахлестывать лошадей, запряженных в колесницы. Кто-то из них запел песню собственного сочинения: «Кто слышал про старых быков, которые хотят попасть на бойню, кто слышал про стариков, которые не могут дождаться смерти», а остальные корчились от смеха и подпевали каждый на свой лад.

Через час они въехали в лагерь гуннов. Там находилось по крайней мере сорок тысяч воинов, и главный из варваров, сопровождавших посольство, доложил обо всем гунну в острокопечной шапке из драгоценного черного меха; на его груди висела дюжина цепей из золотых солидов, невероятно перепутанных между собой и служивших одновременно доспехами и украшением. Он сурово их выслушал и подошел к колесницам, чтобы поглядеть самому.

— Послы императора направляются к Аттиле! — снова закричал Тригаций.

Гунн удостоил его мимолетного взгляда и снова продолжал осмотр. Одинокая фигура во второй колеснице, казалось, вызвала у него раздражение. Он схватился за рукоятку меча. Лев не поднял на него глаз. В течение последнего часа он спокойно молился и не видел причин, по которым ему придется прекратить разговор с Богом и говорить с гунном. Гунн задумчиво поскреб себе шею. Потом рявкнул, отдавая приказ, и к нему подвели коня. Он вскочил на него и что-то гаркнул снова. Лошадей, везших колесницы, снова подхлестнули, и вся процессия продолжила путь. Впереди ехал гунн в чер-

ной меховой шапке и с золотыми цепями на груди.

В течение следующих четырех часов они миновали два похожих лагеря.

— Они не боятся показывать нам свои войска, — прошептал Тригеций.

В ответ Авиен горько засмеялся.

— Они могут себе это позволить, дружище.

— Ну, если мы и будем убиты, то по крайней мере по приказу самого Аттилы.

Авиен пожал плечами.

— Какая разница! Но, как видишь, он размещает войска за пределами городов, чтобы не тратили силы на разные эксцессы. Это значит, что он вскоре намеревается атаковать.

Вскоре после этого они достигли реки Минций, как раз в том месте, где она терялась в водах озера Бенак. Лес шатров покрывал берега реки.

— Ну, дружище, вот мы и прибыли, — произнес Тригеций. — Вон там, должно быть, его шатер — где торчит копье с черными конскими хвостами.

— Один из моих предков участвовал в битве при Заме, — произнес Авиен. — А другой при Фарсале. И вот...

— Они ведут нас прямо к шатру. А по мне, так лучше бы дали для начала что-нибудь поесть. В конце концов, даже если человека ожидает казнь...

Их процессия все двигалась, чтобы остановиться как раз перед большим шатром.

Пятьдесят или шестьдесят гуннов, все в шапках из черного меха и с золотыми цепями,

лежали перед входом, образуя живую стену. Прозвучал рог, и они поднялись.

Тригаций и Авиен слезли с колесницы, разминая затекшие ноги.

Из шатра вышел человек. На его голове была такая же шапка, как и на всех остальных, однако на простой красно-бурой тунике не было золота. Старый железный меч висел на его кожаном поясе.

В третий раз за этот день Тригаций испробовал свою фразу после низкого поклона:

— Мы послы от великого императора Валентиниана III к королю гуннов. Это...

— Мне не нужны никакие послы, — перебил его Аттила.

Авиен поклонился.

— Выслушай нас хоть немного, великий король. И я уверен, ты увидишь свою выгоду...

— Кто это? — спросил Аттила, указывая большим пальцем на вторую колесницу, из которой два клирика помогали в это время выбраться папе.

— Это преподобнейший епископ римский, — торопливо объяснил Тригаций.

Лев медленно приблизился, узловатая старая рука сжимала нагрудный крест. А в приветствии прозвучала цель его миссии:

— Мир тебе!

Аттила уставился на него.

— Я тебя знаю, — произнес он. — Это было очень давно, но я тебя знаю. Проходи в шатер, епископ. Пилзал! Позаботься, чтобы эти люди получили еду, питье и шатер, где они смогут ждать. Я не хочу их видеть. Завтра они отправятся туда, откуда прибыли.

Аттила вошел в шатер, и Лев последовал за ним, все еще удивляясь, не ошибся ли король гуннов или они действительно где-то встречались в прошлом? Но где? Когда? Это коренастое, приземистое тело, эти быстрые движения... Внезапно он все вспомнил, и, когда они остановились и поглядели друг другу в глаза, он кивнул.

— Теперь я припоминаю. Это было в Аквилее. Примерно двадцать лет назад.

Внутренний двор дворца... Он остановил воинов, много воинов, нападавших на одного, глаза которого, как у загнанного зверя, налились кровью и яростью. Они были заложниками, эти люди, вожди и князья в своих странах, а тот, кто выступил один против всех, был гунном, и, когда он остановил драку, гунн что-то сказал ему, что-то дикое и нелепое...

— Да, в Аквилее, — подтвердил Аттила. — И я сказал: «Когда я сожгу этот город, то пощажу тебя». Я сжег Аквилею. Ты жив.

— Епископ Клемент из Аквилеи был убит на ступенях алтаря, — печально произнес Лев.

— Война означает убийство. И я ничего не обещал епископу Клементу. Садись. Ты голоден? Хочешь пить? Нет? Проси все что хочешь.

Лев потряс головой.

— Я приехал не для того, чтобы просить что-то для себя.

Раскосые глаза сузились.

— Не проси у меня пощады для императора. Он недостойн этого. Я не желаю слышать ничего, что исходит от него. Забудь, что ты его человек.

— Я не человек императора, Аттила. Епископ римский не подчиняется ни одному человеку. Он отец всех христиан и подчиняется только Богу. Вот почему он и зовется папой.

— Это хорошо, — сказал Аттила. — А то мне неприятно думать о тебе как о человеке, которого прислал император. Тебя называют отцом, и меня тоже. Значит, мы равны. Хорошо говорить с равным себе.

Они смотрели друг на друга твердым, оценивающим взглядом. Но были они слишком непохожи. Лев с грустным сердцем и все же не без восхищения созерцал это удивительнейшее, могучее Божье создание, само воплощение человека после грехопадения. «В безобразной внешности этого человека кроется великая красота», — подумал он и поймал себя на том, что его мысли возвращаются назад, к самому началу времен и дальше, когда могучие духи восстали и отторгли себя от источника добра и красоты. Да, уж точно неподходящий момент для таких мыслей...

И он услышал свои слова:

— Нет. Мы не равны.

Аттила усмехнулся.

— Вот так сказал в свое время император Ки-тая моему предку. Он верил, что народ Китая был необыкновенным и как таковой превосходил все прочие народы. А мой предок — его звали Мундзук, как и моего отца, — вырвал ему за это бороду и сжег двести его городов. Выше тот народ, который выигрывает сражения. Какие сражения выиграл ты, епископ римский?

— Много сражений, в которых ты ничего не понимаешь, король гуннов. Битвы против греха и предательства, против невежества и предрассудков, против гордыни. Тяжелую битву против равнодушия и пассивности. А порой и самую трудную из всех — против самого себя.

Аттила кивнул.

— Слова жреца должны быть загадочными. А мужчина, если он настоящий мужчина, всегда считает свой народ самым лучшим. Я не осуждаю тебя.

— Есть только один народ, Аттила, — человечество.

Аттила рассмеялся.

— Погляди на меня — и погляди на себя. Разве я такой, как ты, или как Ардарик из народа гепидов, или как Чанарангеш, перс? Народов столько, что их пересчитать невозможно. И все разные, хотя у всех найдутся и трусы, и храбрецы.

— И все-таки народ един. В нашей священной книге ты прочтешь все это. — Лев провел слабой рукой по лбу. И снова его мысли полетели в даль времен, к самым истокам. — У самых первых людей на земле, мужчины и женщины, родились два сына, — произнес он усталым голосом. — И один, его звали Каин, убил другого из зависти. И Бог спросил убийцу: «Где брат твой?» А тебе Он не задавал такого вопроса?

Пальцы Аттилы крепче сжали рукоять железного меча.

Лев, казалось, не заметил этого движения.

— Я преемник Святого Петра, избранный должным образом, — произнес он. — Ты забрал свой трон преступным путем — преступлением Каина. Ты его настоящий преемник. Мы приходим из одного народа, Аттила, но мы не равны.

Глаза Аттилы сверкнули.

— Ты не в меру смелый, священник. Пожалуй, ты слишком веришь моему обещанию сохранить тебе жизнь...

— Ты никогда мне этого и не обещал, — поправил его Лев. — Ты сказал: возможно, ты сохранишь мне жизнь.

Аттила поднялся, борясь с гневом.

— Тебе не следовало напоминать мне об этом. Но ты напомнил. Бледу убил вот этот меч.

— Моей кровью его не очистишь, — сказал Лев, очень медленно осеняя себя крестным знаменем. В мертвой тишине он добавил: — Двадцать лет назад я говорил тебе, что каждый мужчина, гунн или римлянин, должен уметь выслушивать правду.

Железный меч звякнул о маленький стол. Аттила снова взял себя в руки.

— У тебя есть еще какая-то правда, которую ты хочешь мне сказать, священник?

— Да, Аттила. Ты убиваешь своего брата Бледу всякий раз, когда убиваешь другого человека. Ты убиваешь его снова и снова.

— Ты ничего не понял, а должен был бы понять. У нас существует древнее поверье — оно живет в моем народе уже много поколений, —

что если князь найдет меч бога войны Пуру, то он покорит весь мир. Вот этот меч. Никто не может встать на пути избранного богом войны и остаться в живых. А избранный богом не ведет поражения.

— Ты усомнился в этом однажды, Аттила, когда лег на погребальный костер посреди своего лагеря на каталаунских полях. И будешь сомневаться в этом и впредь.

— Теперь я не стану сомневаться, — отрывисто заявил Аттила. — Завтра я пойду в наступление. Через неделю, а возможно, и раньше, въеду в Рим во главе миллиона воинов. Кто может остановить меня?

Теперь Лев поднялся, тяжело, с трудом.

— Не так давно ты задал тот же вопрос, Аттила. Очень молодой человек, почти мальчик, дал тебе ответ — он предсказал твое будущее.

Аттила издал короткий смешок.

— Ты знаешь об этом, да? Тогда, впрочем, должен знать и о том, где этот мальчишка сейчас.

— Да, Аттила. Он там же, где и твои надежды. Тебя не нужно останавливать, Аттила. Ты остановил сам себя, убив мальчика Игноция. Он был твоим сыном — от Гонории.

После минутного молчания Аттила тихо произнес:

— Возьми свои слова назад. Я не хочу их слышать. Это неправда. Возьми их назад.

Но он увидел глаза папы и почувствовал, что это правда. Ему вдруг стало не хватать воздуха. Он разорвал на себе одежду. Боль подби-

ралась к сердцу. Почти сверхчеловеческим усилием он восстановил контроль над собой.

— Благородная Гонория подарит мне другого сына. Успокойся, жрец, подарит. Она сделает это, пусть даже мне придется заставить ее, даже если придется заковать ее в цепи, пока она не родит. Такова моя воля. Так и будет.

— На то не будет Божьей воли, Аттила. Благородная Гонория мертва. Она совершила самоубийство, когда услышала о гибели сына.

Аттила отпрянул назад. Прижал кулаки к глазам. Кровь стучала в голове. Пуру... где же был Пуру? Он наклонился вперед, чтобы дать рассеяться красному туману. Когда открыл глаза снова, то не мог смотреть на ужасного старика. Он попытался привести мысли в порядок. Нет смысла убивать его. Он разрушит империю, и этим отомстит за себя. Не оставит ни одной живой души в Италии. Принесет Гонории такую жертву, какой еще не видел мир.

Но старик заговорил снова. Еще какую-нибудь правду?

— Ты невластен в мести, Аттила. Вся месть в руках Божьих.

Раздался рев дикого зверя.

— Что же еще остается, кроме мести? А я — меч Пуру.

— Сожги Рим — и он возродится снова. Ты будешь не первым, кто пытался это сделать. Не избежишь и ты своей участи.

Аттила задрожал от ненависти.

— Что разрушу я, то уже не поднимется. Будь в этом уверен!

По-прежнему он не глядел на священника. Но не мог не видеть сзади на стене его тень; она росла и росла, пока не заполнила все пространство. И он не мог не слушать его голос, который становился все громче и громче, пока тоже не заполнил собой все вокруг.

— Разве ты не видишь, что Господь забрал у тебя все плоды победы еще до того, как ты ее одержал? Этим он говорит тебе, что победа твоя призрачна.

В тот миг, когда прозвучало последнее слово, раздался странный, зловещий звук, похожий на звучание гигантской арфы, на которой играют гигантские пальцы.

Аттила посмотрел на стену, где висел роговой лук. Тетива лопнула. Тетива лука, который принадлежал ему, потом перешел к Бледе, а затем снова вернулся к первому хозяину.

— Твои слова разят, как хороший воин, жрец. Они разрушили оружие воина.

— Настал час, — сказал Лев, — когда тебе нужно понять, что у человека выбор невелик — служить Богу, повинаясь ему — либо не повинаясь. Ты хотел править миром со спины своего коня...

«Так мне сказал тогда хан Руа. Но откуда об этом известно жрецу?»

— ... но Небо — вот единственный наш правитель. И вот ты страдаешь подобно многим твоим братьям. Ты тоже потерял своего ребенка и мать своего ребенка.

— Ты жалеешь меня? — Он произнес это сдавленным голосом.

— Я сострадаю тебе, брат Аттила. А это означает, что я страдаю вместе с тобой.

Аттила вздрогнул и посмотрел на него.

— Никогда еще я не встречал людей, подобных тебе. Что ты от меня хочешь?

— Я? Ничего. Я уже сказал тебе. — Но голос его, только что нежный, вновь стал строгим и резким. — Господь уже сказал тебе, что Он от тебя хочет. Этого достаточно. Больше терпеть Он не будет. Отправляйся домой, Аттила.

А гунн все смотрел. И ему казалось, что тень за спиной священника совсем не похожа на него — это была тень другого старца, высокого, с бородой. Может, тень и говорила?

Лев медленно подошел к нему, и Аттила увидел, что в лице его нет ни кровинки и что глаза у него закрыты.

— Ступай домой, Аттила, — прошептал Лев. — Преодолей себя и ступай домой. И никогда не возвращайся. Потому что если ты решишь вернуться, то прольется твоя собственная кровь.

Не открывая глаз, он направился к выходу и вышел из шатра.

Последовавшие минуты он потом так и не мог вспомнить, как два его помощника подбежали к нему и, поддерживая под локти, довели до гостевого шатра, где Церетий и еще один священник вскочили с колен, лучась радостью, которая сменилась ужасом, а затем безмолвным благоговением.

— Я совершу молитву на рассвете, — сказал папа. — Постарайтесь разбудить меня вовремя.

— Но, святой отец, — взмолился Церетий, — разве ты не расскажешь нам про Аттилу? И что ты ему сказал?..

— Я сам не знаю, — просто ответил Лев. — Святой Петр говорил за меня.

Тригений внезапно проснулся. Резкий солнечный свет лился на него. Протерев глаза, он увидел, как несколько гуннов волокут прочь шатер, а сам он сидит на траве, и рядом с ним Авиен, который тоже приходит в себя от сна. Видимо, у гуннов принято будить гостей таким образом. Он поделился этими соображениями с Авиеном.

— Но то же самое происходит со всеми шатрами, — ответил Авиен. — Ты погляди...

Всюду, куда бы они ни смотрели, убирались шатры.

— Боже! — простонал Тригений. — Они готовятся к наступлению. Вот что это означает. Они будут в Риме задолго до нас.

— А что они сделали с папой?

— Откуда я знаю! Я был пленником в этом грязном шатре так же, как и ты. Почетная охрана! А стоило тебе хоть чуть-чуть высунуть нос, они тут же натягивали тетиву. Видимо, его убили.

— Нет, не убили. Вон он едет в колеснице. А вот и остальные.

Кое-как приведя в порядок одежды, сановники направились к колесницам.

Их окружили гунны на конях и мрачно сопровождали до свободной повозки. Секретари уже заняли свои места. Напрасно пытался Три-

геций перемолвиться словом со Львом. Его и Авиена впихнули внутрь колесницы, и, едва они уселись, как кони рванули с места.

В угрюмом молчании они увидели, как река Минций осталась позади.

За полдня они обменялись шепотом лишь парой слов. Эскорт гуннов держался вплотную к ним, и неизвестно было, понимает ли кто-то из них латынь.

Казалось, гунны везут их назад другой дорогой, иначе бы они снова проехали мимо трех больших лагерей.

Внезапно командир эскорта прокричал приказ, и гунны повернули своих коней и ускакали прочь. Прошла минута, другая, и топот копыт затих в отдалении.

Тригений склонился вперед.

— Догони вторую колесницу.

Возничий послушался. Когда они поравнялись с папой, то увидели, что он спит. Лицо его было осунувшимся, глаза ввалились, и выглядел он на много лет старше своего возраста.

Сзади застучали копыта, и они оглянулись.

Одинокий всадник мчался по дороге, на солнце сверкали его доспехи.

— Римлянин! — воскликнул Тригений. — Значит, мы выехали из зоны гуннов?

Всадник, молодой офицер, догнал их. Тригений крикнул ему, и тот придержал коня.

— Откуда ты? — спросил он.

— Кто ты такой, чтобы задавать вопросы? — огрызнулся офицер.

— Советую тебе держаться повежливей, юноша. Я сенатор Тригений. Это императорское посольство.

Нисколько не смутившись, молодой офицер ответил военным приветствием.

— Трибун Марцелл, двадцать второй легион, направляюсь к командующему. Вы слышали прекрасную новость?

— Какую новость?

— Гунны повсюду отступают. На север. Они убирают свои лагеря.

— На север?.. — повторил Тригаций. — Это означает...

— Они уходят. У нас имеются донесения из десятка мест. А вы не знали этого?

— Дорогой мой трибун, — произнес со вздохом Тригаций, — я же сказал, что мы императорское посольство. Мы этого и добились.

Задолго до того, как колесницы добрались до Рима, новость уже прибыла туда и распространилась с невероятной скоростью. И у горожан не было сомнений, кто принес эту полную победу без всякого кровопролития. Удивленные священники оказались на плечах у крепких горожан, которые с триумфом несли их по улицам города. Повсюду с балконов свисали ковры. Отряд стражи с Палатина окружила уличная толпа и, к неудовольствию командира, стала закармливать лакомствами из ближайшего кабачка. Тысячи римлян столпились у северных ворот, дожидаясь прибытия папы. Тысячи других устремились за город, чтобы первыми принять его благословение. Рим нельзя удивить триумфальными шествиями, но тут все было особенным. Не было солдатни, горланящей непристойные песни, не было колесницы с триумфатором, наряженным Юпитером, с позолоченным лавровым венцом на челе, не

было пленников в цепях. Тут было возвращение домой отца. Повозку Льва тянули поющие юноши, за ней следовали выпряженные лошади, а также другие повозки.

Император распорядился устроить семидневный фестиваль. Он самолично появился в базилике Святого Петра, когда Лев должен был служить мессу в храме главного из апостолов.

Ходили разные слухи о том, как папа сумел заставить Аттилу убраться из Италии. Тригегия и Авиена встречали радостными рукоплесканиями, где бы они ни появлялись. Одна из комических трупп Рима заработала бурные овации, сообщив публике, что Тригегию с Авиеном, а не папе удалось убедить гуннов: они просто сообщили Аттиле, что сборщики налогов опустошили страну настолько, что поживиться им тут будет нечем.

Говорят, император спросил папу, чем наградить его.

— Прости все что хочешь, и я не откажу.

И говорят, что папа ответил:

— Живи по-христиански.

— Это невозможно, — ответил император.

— Аттиле тоже было невозможно отступить, — сказал папа.

Однако достоверно известно, что Лев попросил перелить колоссальную статую Юпитера Капитолийского в статую Святого Петра, и император пообещал выполнить его желание¹.

Под оглушительный рев сотен тысяч голо-

¹ Таково, по мнению исследователей, происхождение гигантской статуи апостола, которая и поныне находится в соборе Святого Петра.

сов папа поднялся по ступеням базилики. Лик его был суров. Он знал, поняв это уже на обратном пути от гуннов, что это не последняя опасность, грозившая церкви и Риму даже при его жизни, и чувствовал усталость и изнеможение.

И когда он поднимался по ступеням храма, то вспомнил, если только это можно так назвать, голос своего первого учителя — незаметного доброго человека: «Быть священником означает быть движимым милосердием. Не действовать самому, а быть орудием в руках Господа — вот урок, который должен запомнить сильный человек».

Его лицо просветлело, на губах появилась улыбка, и с новой легкостью в сердце он вошел в базилику. Зазвучали серебряные трубы.

5

На празднестве в честь конской богини Аттила решил сесть во главе пиршественного стола, который устраивался после ритуальных церемоний, и даже отказался на этот раз от своего правила пить только воду, «чтобы не обидеть богиню», которая была весьма любимой у гуннов, особенно среди наиболее примитивных из их многочисленных племен.

Как правило, он держался в стороне от жутких забав, пьяного пения, хвастовства и бесконечного пересказа его побед официальными певцами в фантастических нарядах. Но тут он понял, что у подданных не все благополучно.

После внезапного ухода войска гуннов из Италии пять месяцев назад было много перешептываний и ворчания, но все это достаточно быстро затихло — он сам позаботился об этом. Еще хуже дело обстояло с германскими союзниками. Тевтонский вождь не мог поверить в стратегический смысл отвода войск и счел это за трусость. Они роптали. Разведчики доносили, что тюринги даже намеревались отказаться платить впредь дань.

Ну ладно, с тюрингами он разберется достаточно быстро. Но прежде всего ему необходимо было развеселить собственных подданных. В последние месяцы они слишком редко видели его. Он проводил почти все время на охоте в обширных лесах, протянувшихся к северу от Дуная. Медведи, волки и рыси, порой зубр были его добычей, хотя теперь они попадались все реже.

Его сила не уменьшилась. Но он перестал, как прежде, уделять внимание женщинам. Славянские княжны, дочери германских конунгов, черкешенки, славящиеся своей красотой, — никто не был ему мил, они не в состоянии были заменить ему Гонорию. Ни одна из них не могла родить ему наследника престола всего мира. Он сам убил своего единственного наследника. Странно, но до сих пор он видел его лицо, черные непокорные волосы, глубоко посаженные раскосые глаза, напоминавшие его собственные. И какое мужество было у этого мальчишки! И как же он тогда не почувал в нем свою кровь?

Опустошая все новые кубки вина, он гнал прочь от себя сжигающие душу мысли. Даже мысли шута не бывают такими пустыми и напрасными, как мысли мужчины, вновь и вновь думающего о том, чего уже не вернуть. Наследник был мертв, мертва и единственная из женщин, которая могла дать ему его. Эллак, Денгизих, прочие сыновья — им придется самим бороться за первенство.

Вино было хорошим — пожалуй, даже глупо, что он воздерживался от него все эти годы.

Онигисия он отправил шпионом в Восточную империю. Это занятие как раз для него. Ему не хотелось сейчас видеть его возле себя. Грек не стал бы задавать вопросов, конечно же, нет. Но само его присутствие было вопросом: «Что заставило тебя сделать это, великий Аттила? Почему ты отступил?» И он не смог бы понять правду. Правду. Это была ужасная вещь, эта правда. Онигисий не понял бы. Он никогда не был силен в этом. Но вот в шпионаже он будет хорош. Да и вообще, старик не говорил про Восточную империю. Ведь только если он решит вернуться в Италию, прольется его кровь.

Аттила засмеялся. Выпил еще немного вина. И вдруг вспомнил: тут где-то в «доме женщин» должна быть девушка — посланница Гонории. Он никак не мог вспомнить ее лица. Нет, вспомнил. Хрупкая, светловолосая, большеглазая. Он едва взглянул на нее, когда она протянула ему письмо. Просто кивнул старой

Питубай, чтобы та взяла ее под свою опеку. Тогда не имело смысла отправлять ее назад. Если она не заболела и не умерла, то находится в «доме женщин». Он скажет, чтобы ее привели к нему сегодня. Она могла бы поговорить с ним о Гонории. А если она красива — тем лучше. Он шепнул несколько слов слуге, который помчался исполнять его волю.

Красное вино намного лучше, чем белое. Больше похоже на расплавленный огонь. На расплавленное железное ядро в горе, там, на «крыше мира».

К нему подошел Пилзал, позвякивая золотыми цепями.

— Аттила, Маленький Отец, Господин Мира, могу я задать тебе вопрос?

Тяжелая голова склонилась в медленном кивке.

— Спрашивай, Пилзал, сынок.

— Когда же мы поскачем опять, Маленький Отец?

Аттила заколебался. Уголком глаза он увидел, что не только Пилзал ждет ответа. На него устремилось множество сверкающих нетерпением глаз.

— Теперь скоро, — сказал он, и в ответ раздался рев, похожий на рев хищников, почуявших добычу.

Он поднялся.

«Даже Пилзал спрашивает меня об этом», — подумал он, сурово кивнув некоторым из вождей — особая честь, которой жадно добивались. Они жаждали действия, его сынки. Настолько,

что подбили Пилзала нарушить все правила и открыто спросить — нет, даже подтолкнуть его к действию. И им все равно, будет это Запад или Восток. Все, что им нужно, это весело скакать по чужим пастбищам, разрушать города, насиловать, грабить, убивать — и привозить женам золото и другие драгоценности, как муравьи тащат добро в муравейник. Война — это их самоцель. Честолюбие, да — у многих оно было. Но это честолюбие собаки, которой хочется, чтобы ее похлопали по спине за ее старания. Все они — подобострастные и слюнвявые. Даже Пилзал. Даже Эллак...

Он дошел до двери своего дома — громадной деревянной постройки, битком набитой королевским добром. Но он не был дворцом, и его столица, столица громадной империи гуннов, вся состояла из простых деревянных хижин и шатров. И это хорошо — жизнь во дворце портит мужчину.

Никто не знал, в чем состоит его план: покорение мира людьми, находящимися в постоянном движении, людьми, которые служат кровотоком в теле человечества. Мужественными людьми, которые бы беспрекословно подчинялись ему, обладателю меча Пуру, Аттиле, а потом его наследнику. Пожалуй, даже тот ужасный старый жрец не догадывался об этом.

Но теперь у него нет наследника. Он, он один был империей гуннов.

После же него...

Мысли кололи его мозг, будто стрелы и кинжалы. Но вот боль ушла, и он мог спокойно

думать и смеяться над ними. Вино было хорошим. Пожалуй, оно было кровью богов. У христиан есть предание об этом, кажется.

В его спальне находилась женщина. Ах да, он сам велел привести ее. Это та, которую прислала Гонория. Ему хотелось поговорить с ней о Гонории. Но сейчас расхотелось.

Она была красива — белокожая, светловолосая, стройная.

Почему она не смотрит на него? Она должна была услышать, что он вошел. Но оставалась неподвижной, коленапреклоненной. Боится. Большинство из них боится поначалу.

Он усмехнулся. Подошел к ней.

— Встань.

Ответа не последовало.

Теперь он заметил что-то неестественное в ее позе. Наклонившись, он заглянул ей в лицо... и отпрянул. Потом заглянул вновь. Их лица находились друг от друга на расстоянии ладони, и он увидел нечто такое, чего не видел прежде. Увидел сияющее, безмятежное счастье в ее глазах. Ее глаза и были, и не были слепыми. Казалось, они видели нечто особенное, но этим особенным был не он, Аттила; это было нечто — или кто-то? — за ним, и она продолжала смотреть туда, хотя его лицо находилось прямо перед ней. Она смотрела *сквозь* него на то, что видела. Он повернул голову. Пустая стена.

Он встрепенулся. Даже подумал позвать Питубай, которая ведала всеми женщинами. Но тут же понял, что Питубай тут не поможет.

Этого она не смогла бы объяснить. Как не мог объяснить и он. Девушка не была больна. Никакая болезнь не делает человека таким счастливым.

Его язык пересох во рту, а руки стали влажными. По какой-то странной, необъяснимой причине он чувствовал, что существует некая связь между девушкой и старым священником, какой-то неведомый, таинственный союз, который полностью исключал его. Он сам просто не существовал. Это было оскорблением, более обидным и тяжким, чем та картина в Аквилее.

И он должен прекратить это. Он должен заставить ее закричать и попросить пощады в его руках. Он...

Однако он не мог заставить себя прикоснуться к ней. Он даже избегал смотреть ей в глаза. Словно вокруг нее был очерчен какой-то невидимый круг, в который ему не было доступа.

Его беспокойные пальцы коснулись рукоятки железного меча, и от этого его сердце забилося учащенно. Жрец — и девушка! Атила потерпел поражение. И причина его — в этом жреце и этой девушке. Он рассмеялся. Пора просыпаться и покончить со снами. Пора разрушить колдовство.

Он стремительно вышел из комнаты и остановился у входа в дом.

Вон там они пируют, его сынки. Свет сотни факелов затмил звезды на небе.

— Аги — сынки мои!

Как хорошо они знали его голос! Шум тут же оборвался.

— Завтра мы поскачем опять. На *Рим!*

Они заревели, завопили, заплясали.

— Аттила! Аттила! Аттила!

Медленно повернувшись, он пошел назад. Завтра. Пилзал разошлет гонцов в отдаленные племена. Они вернут Ардарика и Баламера. Чем меньше те будут знать заранее, тем лучше.

Теперь девушка.

Он запер за собой дверь и приблизился к ней. Она все еще стояла на коленях в той же неестественной позе, что и раньше. Он рассмеялся. И внезапно почувствовал острую боль в затылке. Казалось, кровь закипела у него в голове, яростно застучала в висках. Два шага, потом третий. В глазах почернело, потом вдруг комната наполнилась острыми лучами света, закружилась, поплыла. На него обрушилась громадная красная тьма, утопив все вокруг в море крови.

На следующий день солнце поднялось уже высоко, когда Цигур осмелился постучать в дверь спальни. Ответа не последовало. Он продолжал стучать. Потом поднял тревогу. Дверь взломали, и во главе десятка верных воинов Цигур ворвался в комнату.

Они нашли Аттилу лежащим навзничь поперек кровати, голова его свисала вниз, почти касаясь пола. Он был мертв.

В комнате находилась девушка, и один из людей Цигура, не раздумывая, пронзил ее

мечом. Она умерла мгновенно. Но к смерти великого Атилы она была непричастна: он умер от внутреннего кровоизлияния.

И распалась великая империя гуннов. Эллак, Денгизих и Ирна погибли в сражениях с данниками отца. Без вождя племена рассеялись во мраке пространства и времени.

Так пришел конец первому великому нашествию Азии на Запад.

И мир вздохнул с облегчением.

СОДЕРЖАНИЕ

Книга первая.	
ПИЛИГРИМ	5
Книга вторая.	
ОСВОБОДИТЕЛЬ ПРИДЕТ С МОРЯ	96
Книга третья.	
ДЖУЛИЯ	235
Книга четвертая.	
ПИРИ-РЕИС И ПРИНЦ ДЖЕХАНГИР	309

Литературно-художественное издание

Луи де Вол

АТТИЛА

Роман

Редактор *Т. С. Сартакова*
Художественный редактор *С. В. Курбатов*
Технические редакторы *Е. С. Барабанова, О. В. Дружкова*
Корректор *В. Л. Авдеева*

Качество печати соответствует диапозитивам,
предоставленным издательством.

ЛР № 061309 от 17.06.92.

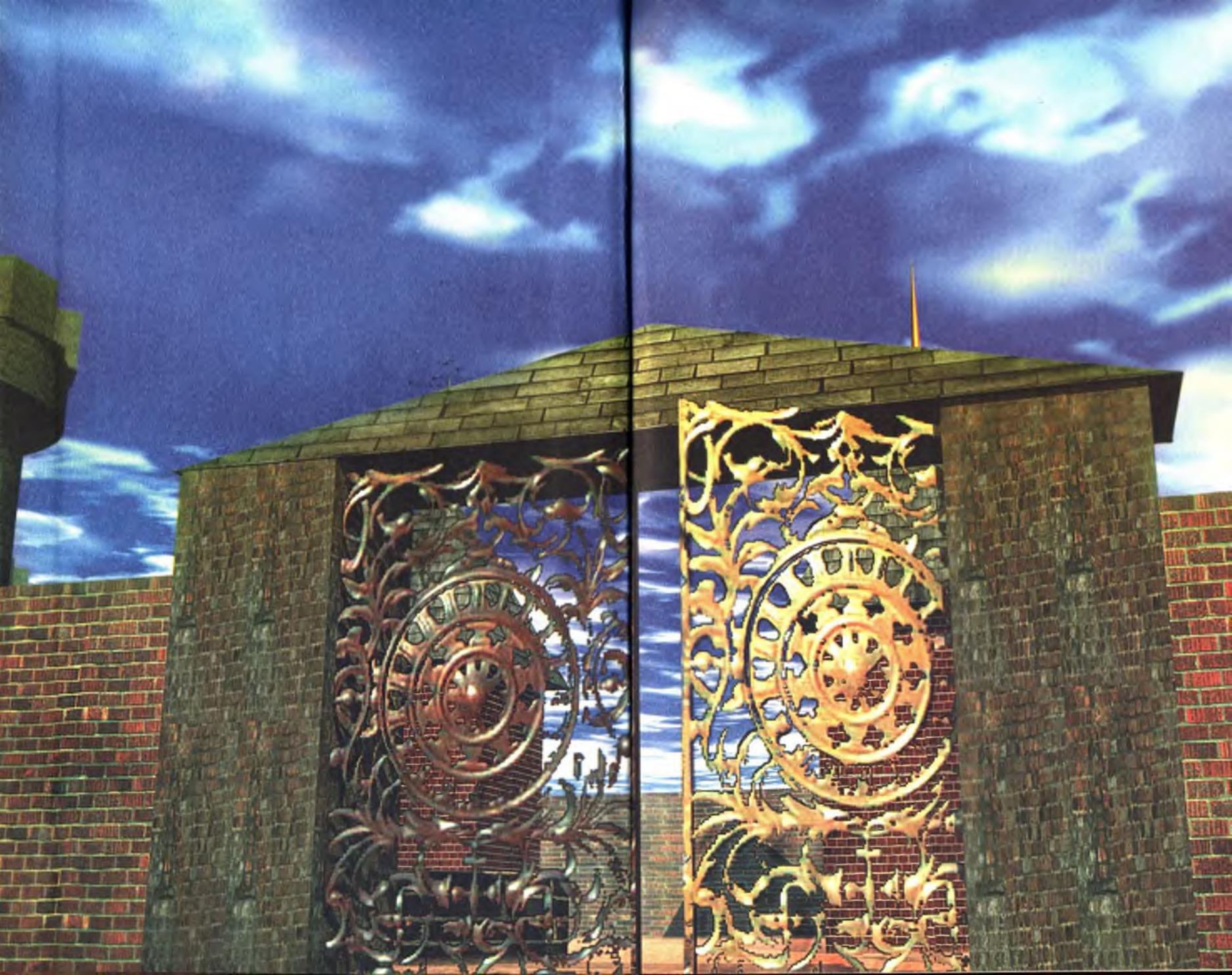
Подписано в печать с готовых диапозитивов 25.03.96.
Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 14,3. Тираж 15000 экз.
Зак. № 1826. С 094.

АОЗТ издательство «ЭКСМО»,
123298, Москва, ул. Народного Ополчения, 38.

Тверской ордена Трудового Красного Знамени поли-
графкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР
Комитета Российской Федерации по печати. 170040,
Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.

OCR - Давид Титиевский, февраль 2017 г., Хайфа







ЛУИ ДЕ ВОЛ

Аттила, могущественный предводитель гуннов, IV век нашей эры... Одно имя его приводило в трепет народы Европы! Жестокие кочевники в звериных шкурах с золотыми цепями на шеях — конница Аттилы — черным ураганом проносились по земле, сметая все на своем пути, уничтожая деревни, города, целые государства.

